

Славянский Альманах



1996



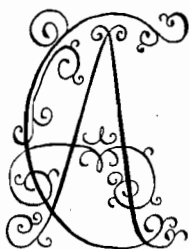
Министерство культуры Российской Федерации

Российская академия наук

Институт славяноведения и балканистики

СЛАВЯНСКИЙ АЛЬМАНАХ

1996



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 1997

Редколлегия:

Т. И. Вендина, доктор филологических наук

В. К. Волков, директор Института славяноведения и балканистики РАН

Епископ *Евгений*, ректор Московской Духовной академии

Н. М. Рассадин, ректор Костромского государственного педагогического университета им. Н. А. Некрасова

М. А. Робинсон, кандидат исторических наук

В. А. Хорев, доктор филологических наук (отв. редактор)



Содержание

Доклады пленарного заседания

В. К. Волков. Славянский мир: время тревог и надежд	5
Ю. В. Лебедев. О духовных основах русского языка и классической русской литературы	13
Архимандрит Макарий, Митрополит Макарий — выдающийся книжник Древней Руси (Традиции и особенности)	23
Б. Н. Флоря. У истоков конфессионального раскола славянского мира (Древняя Русь и ее западные соседи в XIII веке)	37
Н. С. Ганцовская. Русский литературный язык в его соотношении с другими формами национального языка: костромской региолект	47
В. Д. Юдин. Брестская Уния в русской историографии XIX—XX веков	56

История

В. Я. Петрухин. «Из варяг в греки»: начало исторического пути России	63
Л. В. Кузьмичева. Русско-турецкая война 1877—1878 годов и Сербия	68
Г. Ю. Волков. «Поможем нашим братьям славянам!» (По материалам костромской печати времен Первой мировой войны)	87
М. А. Робинсон. В. И. Ламанский и его историкофилософский трактат «Три мира Азийско-Европейского материка»	90
М. Ю. Досталь. Славянская комиссия Академии наук СССР (1942—1946)	107
Е. П. Аксенова. Восприятие в СССР науки русского зарубежья в 20-е — 30-е годы	130

История культуры

Л. Н. Виноградова. Мифология календарного времени в фольклоре и верованиях славян	143
Л. А. Софронова. Романтический автопортрет славянина в «Лекциях по славянской литературе» А. Мицкевича	156
А. В. Липатов. Эпоха Просвещения: светские и духовные начала	169
Л. Н. Пушкарев. Юрий Крижанич — певец славянского единства	174
Л. В. Горина. Марин Дринов и Москва	177
М. Г. Смольянинова. Любен Каравелов в Москве	190
А. Н. Горяинов. Академик В. И. Вернадский о «славянской идее», славянском научном сотрудничестве и культурном единстве	201

Языкознание

Т. И. Вендина. Общеславянский лингвистический атлас и сравнительно-историческое языкознание	209
Кр. Илиевска. Единство староцерковнославянского языка в диалектном многообразии	223

Хроника	230
---------------	-----

От редколлегии

Уже много лет в России ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Начиная с 1991 г. этот день является национальным праздником Российской Федерации. Наряду со многими другими мероприятиями к этой дате приурочено проведение ежегодной научной конференции «Славянский мир: единство и многообразие» и сопутствующих ей Круглых столов по актуальным проблемам славяноведения.

В 1996 г. основные мероприятия праздника прошли в Костроме. Там же состоялась и научная конференция, организованная Институтом славяноведения и балканистики Российской академии наук, Московской патриархией, Костромским государственным педагогическим университетом имени Н. А. Некрасова. Основные материалы этой конференции, а также Круглых столов, проведенных в Костроме и в Москве, предлагают вниманию читателей в настоящей книге.

Альманах открывается разделом, в котором помещены доклады, прозвучавшие на пленарном заседании Костромской конференции. Материалы других конференций, симпозиумов и Круглых столов, проведенных в дни праздников, публикуются в соответствующих тематических разделах.

Разнохарактерность статей первого номера «Славянского альманаха» отражает широту и многогранность темы «Славянский мир: единство и многообразие», уровень исследования тех или иных ее аспектов, разные задачи (исследовательские и популяризаторские), которые ставили перед собой авторы. Тем не менее, мы надеемся, что сборник будет полезен для дальнейшего изучения славянского мира и представит интерес для широкого круга читателей.

Мы предполагаем, что «Славянский альманах» превратится в традиционное издание, станет ежегодным и будет способствовать распространению научных знаний о славянских народах и их культуре.

В. К. Волков
(Москва)

Славянский мир: время тревог и надежд

День сегодняшний всегда корнями в прошлом. И события конца века не будут поняты без обращения к его началу, без восстановления связи времен.

XX век подходит к концу. Он по праву войдет в будущие летописи как один из самых насыщенных событиями за всю историю человечества. Пожалуй, впервые история стала поистине глобальной, но при этом главным театром действий все же продолжал оставаться Европейский континент, а в эпицентре событий неизменно находились славянские народы. Мы можем смело утверждать, что роль их в мировой истории XX в. была гораздо выше того удельного веса, который славяне имеют в глобальном народонаселении (с учетом демографических сдвигов в мире он колебался от 7 до 5%, имея тенденцию к понижению).

Что же принесла славянским народам такая политическая активность или, говоря словами Льва Гумилева, пассионарность? Среди историков бытует выражение: счастливые народы имеют скучную историю. Конкретизируя эту мысль, можно констатировать: история славянских народов в XX в. была исключительно интересной. Каждый из них имел свои проблемы, переживал свои кризисы, и все же можно выделить три тектонических сдвига, которые потрясли до основания человечество. При этом два первых носили общий характер, а третий был творением рук самих славян, хотя и подготовленный всем ходом их предшествовавшего развития. Такими сдвигами в славянском мире стали Первая и Вторая мировые войны, а также события 1989–1991 гг., приковавшие к себе всеобщее внимание. Особое значение в истории славян имел послевоенный период (1945–1989), который внес судьбоносные перемены в жизнь всех славянских народов. Во всех славянских странах установился коммунистический режим. Возник «социалистический лагерь». Советский Союз — главная славянская страна — приобрел статус мировой державы. Все славянские народы, включая лужицких сербов, более четырех десятилетий (в Советском Союзе —

более 70 лет) жили при социализме, что стало для них эпохой экспериментов. Это наложило печать на каждый из них, хотя часто и по-разному, на их культуру, менталитет, социальную структуру и в значительной мере предопределило их последующее развитие.

Утопическое общественное устройство не могло быть долговечным. Оно создало условия для застоя, отставания и гниения. В результате социалистический строй стал загнивать и сгнил на корню, как «старый режим» во Франции XVIII в. Попытки преобразований показали лишь его неспособность к реформам. Последовали новые взрывы, приведшие к революциям 1989 г. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и к распаду Советского Союза в 1991 г. Заметим, что история еще не определила подлинную цену этих перемен. Не исключено, что полная цена за них еще не уплачена, и платить придется не только нам, но и нашим потомкам.

Что же мы наблюдаем сегодня в посткоммунистическом мире? Что характерно для жизни славянских народов? Всех волнуют социальные проблемы: экономические реформы, состояние народного хозяйства, обнищание населения и т. д. Но не менее важны и проблемы национальные. Отношения же внутри славянского мира характеризуются пока что центробежными процессами, которые приобрели достаточно устойчивый характер. Об этих процессах можно говорить как об энтропии славянского мира — своеобразной болезни посткоммунистической эпохи.

Термин «энтропия» означает разбегание звезд, рассеяние энергии, т. е. примерно то, что мы наблюдаем сейчас во всем славянском мире, а именно — разбегание славян по национальным квартирам. Формы такого обособления очень разные. Мы были свидетелями и «бракоразводного процесса» в цивилизованных формах между чехами и словаками. Мы наблюдали распад многонациональных государственных образований — Югославии и Советского Союза. Оба эти государства были построены на одних и тех же принципах, на базе так называемой марксистско-ленинской теории национального вопроса. Точнее даже будет сказать, что Югославия была построена по образу и подобию Советского Союза. Неудивительно поэтому, что оба эти эксперимента завершились с одинаковым результатом.

Ретроспективный взгляд на историю формирования и развития так называемой марксистско-ленинской теории национального вопроса показывает, что она складывалась изначально как инструмент дезинтеграции старой государственной власти и общественного строя, как орудие борьбы за власть, как проект последующего переустройства общества. Этот инструментальный характер всех теоретических выкладок в данной области изначально вполне сознатель-

но подогревал сепаратизм и национализм, несмотря на словесные отмежевания от таких явлений.

Переходя от теории в область практических действий, можно отметить, что коммунистическая практика, особенно в многонациональных государствах, какими были Советский Союз и Югославия, выродилась в поощрение и проповедь утонченного национализма. Национальные республики на деле признавали права наций только титульных, тогда как представители нетитульных находились на положении граждан второго сорта. Многие из того, что делалось, например, долготелая и фактически никогда не прерывавшаяся политическая практика, которая на коммунистическом новоязе называлась «коренизация аппарата», фактически привела к созданию этнократических партийно-бюрократических элит в каждой из национальных республик, составлявших эти коммунистические федерации. Это социально-политическое наследие, отразившееся на структуре общества, привело к появлению нового общественно-политического слоя — этнократии. Этот слой вобрал в себя значительную часть прежней партократии, бюрократию управленческих структур, теневой экономики и националистической интеллигенции. В момент крушения коммунистических режимов этнократия пришла к власти, отбросила старые коммунистические теории как износившееся платье, взяла на вооружение националистические постулаты и мифологемы как свое истинное идейное знамя и разодрала многонациональные государства по тем швам, которые были прошиты ещё старым коммунистическим режимом.

Подобная участь, пусть в несколько иных формах и с некоторым опережением, постигла и то геополитическое образование, которое мы прежде называли «социалистическое содружество» или «социалистический лагерь». Тенденции, взявшие верх во всей Восточной Европе за последние 5–7 лет, развивались в противоположном направлении по сравнению с преобладающими в мире интеграционными процессами. Этот контраст особенно разителен по сравнению с Западной Европой. Видимо, в историческом плане мы имеем дело с явлением, когда, руководствуясь желанием все сделать по-другому, поскорее перечеркнуть прошлое, зафиксировать его отрицание, вместе с грязной водой выплеснули и ребенка.

Невольно возникает вопрос, исчерпана ли идея славянской взаимности, зародившаяся примерно два века тому назад. Она сыграла весьма позитивную роль в XIX в., когда развернулась борьба славянских народов за национальное освобождение, культурное развитие, за место на Земном шаре. Адепты идей славянской взаимности были у всех славянских народов. Можно даже сказать, что эта

идея породила славяноведение как науку, дала первый импульс для ее развития. Она знала приливы и отливы, у нее были не только друзья, но и противники. Последние особенно оживились в наши дни.

Крайне отрицательными являются очаги вражды, которые образовались в самом славянском мире. Наиболее драматическую картину дает югославский кризис. Вспышки национализма, наблюдаемые повсеместно, стали печальным следствием коммунистических режимов. Однако эти вспышки — не безадресны. Они имеют четкую направленность и подогреваются не столько эмоциями, сколько политическими расчетами определенных сил. Часто такие проявления заранее планируются и просчитываются. Они имеют особое значение для России, ибо часто бывают направлены против нее. Общественность страны должна об этом знать, тем более что эта сторона дела не находит освещения в нашей прессе, а если в редких случаях освещается на страницах печати, то отличается односторонностью.

Речь идет о том, что во многих славянских странах (и не только в них) позиция по отношению к России используется как орудие внутриполитической борьбы. Такая борьба нередко служит питательной почвой для распространения русофобии, представляющей собой фактически раковую опухоль на теле славянства. Что же это за явление, когда оно возникло и что представляет собой сейчас?

Русофобия — это одно из частных проявлений ксенофобии, которая привлекает к себе в наши дни всеобщее внимание. Но для славянского мира она имеет особое значение, ибо на деле касается всех. Корни русофобии следует искать в конце XVIII — начале XIX в. Тогда она носила, условно говоря, теоретический характер и коренилась в сфере отношений западных держав с Россией.

Развитие русофобии в Западной Европе, где она и зародилась, отличалось тем своеобразием, что ее эпицентр перемещался из одной страны в другую, как правило, в ту, которая наиболее остро выступала против России на международной арене. Из Франции она быстро переметнулась в Англию, где цвела до середины XIX в., достигнув апогея в период Крымской войны, но с конца 30–40-х гг. все более распространяется в Германии, где она пустила глубокие корни. Здесь со временем была создана обширная литература, в первую очередь пангерманского толка. В течение долгих десятилетий пангерманизм ковал «образ врага» в лице России. Именно здесь возник термин «панславизм», в котором слилось воедино отрицательное отношение к национальным движениям славянских народов и идее славянской взаимности. Он вобрал в себя все элементы русофобии, ставшей ядром пангерманских теорий. С самого начала спекулятивный и одиозный, этот термин превратился в боевой лозунг

антирусской и антиславянской империалистической политики, вошедшей в историю под названием политики «Дранг нах Остен».

После Первой, а особенно после Второй мировой войны, в годы «холодной войны» русофобия как бы отошла на задний план. Идеологическая борьба породила тогда целую школу антикоммунизма и плеяду борцов с ним. После окончания «холодной войны» и событий 1989–1991 гг. антикоммунизм как течение потерял свою актуальность. Однако бывшие антикоммунисты не исчезли со сцены. Они переквалифицировались и стали русофобами. В значительной степени их усилиями (либо при их участии) в средствах массовой информации на Западе одна за другой прокатываются волны антироссийской пропаганды. Вместо «империи зла», как изображали прежде Советский Союз, ныне Россию выставляют страной, угрожающей мировому сообществу ядерным шантажом, говорят о ней как о центре мирового терроризма и мафиозных структур и т. д.

Классический пример гармоничного превращения антикоммуниста в русофоба являет собой ветеран «холодной войны», бывший советник по делам национальной безопасности США Збигнев Бжезинский. Он особенно интересен тем, что в своей «большой стратегии» идет по стопам пангерманских идеологов начала XX в. Для него распад СССР подарок судьбы, и он призывает США и НАТО побыстрее заполнить политический «вакуум». Необходимо, считает он, добиваться «консолидации геополитического плюрализма», т. е. поддержания политической, экономической и иной раздробленности на территории бывшего Советского Союза:

О близости, скорее даже о тождественности идей З. Бжезинского с планами пангерманцев, можно судить по трактовке желательных, с его точки зрения, отношений между Россией и Украиной. Он призывает всех оказывать Украине всевозможную поддержку в ее стремлении к независимости от России.

Тождество взглядов З. Бжезинского и теорий пангерманцев — не случайное совпадение. Они имеют общий базис в виде феномена русофобии. Возрождение, точнее даже — реанимация этого феномена в новой обстановке, после окончания «холодной войны», само по себе представляет явление, заслуживающее специального внимания. Новое в развитии этого феномена то, что теперь его основной центр переместился на Восток. Его новыми очагами стали страны Балтии. Но главное, он свил гнезда и в самой славянской среде. Носителями русофобии оказались националистические элементы на Украине и в Белоруссии (типа Черновила, Хмары, Поздняка и др.), оживились аналогичные течения в Польше и даже в Болгарии. Многие в этих явлениях для российских обществоведов — неизвестные стра-

ницы. Формы проявления русофобии и социальные функции как выборочной и целенаправленной ксенофобии удивительно напоминают феномен антисемитизма. Это — однотипные, однопорядковые проявления национальной нетерпимости и создания «образа врага». Но для нас история этого феномена, особенно в самом славянском мире, можно сказать, просто «белое пятно». Без досконального и тщательного изучения русофобии как политической проблемы трудно представить развитие не только славяноведения, но и самого славянства в XXI в.

Так что же ждет нас в будущем?

Наблюдение за сегодняшним политическим развитием славянских народов невольно побуждает к размышлениям над их завтрашними судьбами:

Пока можно уверенно прогнозировать, что их удельный вес в мировом народонаселении будет уменьшаться: демографические сдвиги дают полное основание для такого вывода. Общая тенденция мирового развития говорит о мощных интеграционных течениях, ускорившихся после наступления эпохи информационной революции. Возникают новые глобальные проблемы (например, экологические), требующие также объединения усилий. Где будет место славянских народов в этом процессе?

Несмотря на технологическую нивелировку мировой экономики, этот процесс не сопровождается созданием некоей универсальной мировой цивилизации (последняя остается абстракцией). Напротив, происходит довольно заметная консолидация народов и государств в общности определенного культурно-исторического типа, именуемые цивилизациями. Вполне возможно, что мы находимся в начале длительного исторического периода, который предстоит пройти всему человечеству. Американский ученый С. Хантингтон поторопился нарисовать картину будущего в виде столкновения цивилизаций. Она обоснованно вызвала много нареканий. Но сама идея плюрализма цивилизаций не встретила возражений и была воспринята как рабочая гипотеза и объективная данность. И это подводит к вопросу о судьбах славянских народов.

Культурно-исторические (цивилизационные) общности существовали всегда. Чертой последнего времени является их самоосознание, структурирование, превращение в субъекты глобального развития. Весьма показательны в этом отношении складывание мира исламских государств, несмотря на существование между отдельными его странами серьезных противоречий. Западная модель отнюдь не универсальна. Больше того, следование ей показало неэффективность таких усилий, игнорирующих традиции и ценно-

сти национальной культуры. Напротив, наиболее успешные процессы модернизации, как показал японский опыт, протекали там, где они опирались на национальные традиции и не были продуктом слепого заимствования. Тем же путем идут сейчас Китай, «азиатские» и многие другие страны. Не случайно центр экономики смещается ныне из атлантического региона в тихоокеанский.

Вопрос о взаимоотношении процессов модернизации и развития национальных культур чрезвычайно актуален для всех славянских народов. В посткоммунистическую эпоху понятие «модернизация» наполнилось для них новым смыслом и содержанием. Упор на технико-экономические преобразования заставляет по-новому поставить проблемы их духовного и культурного обеспечения и поддержки.

Пока что во многих странах Центральной и Юго-Восточной Европы основное внимание сосредоточено на осуществлении краткосрочных интересов. В значительной их части преобладают настроения «возвращения в Европу». При этом бросается в глаза отсутствие духовной перспективы. Значительная часть этих стран озабочена вступлением в Европейский Союз, некоторые стремятся в НАТО, что осложняет их отношения с Россией.

В этой связи уместно поставить вопрос, а существует ли вообще какая-либо славянская цивилизация? Или, может быть, лучше говорить о круте духовно близких народов? Последний определяется как сфера поствизантийского культурного пространства, куда входят не только славянские, но и другие народы православного ареала (греки, грузины, армяне). Именно так пытался определить «российскую» или «православную» цивилизацию С. Хантингтон, разрезав славянский мир на две части по конфессиональному принципу. Вряд ли стоит серьезно опровергать такую конструкцию. Ее искусственность очевидна. Другое дело, если вести речь о европейской христианской цивилизации в целом. Славянский мир, естественно, относится к этой цивилизации, он является ее субрегионом, сохраняя внутри нее свою самостоятельность, обладая определенной культурно-национальной автономией.

Славянский мир на протяжении своей длительной истории никогда не был особенно дружной семьей. Идея славянской взаимности принадлежит двум последним столетиям. Она была порождена жизненными потребностями самих славянских народов, нередко подвергалась эксплуатации с разных сторон, равно как ей сопутствовали попытки противников исказить ее суть. И все же она реально определяла политическую жизнь, особенно в критические моменты истории славянских народов.

В наше время такая взаимность — это скорее осознанная необходимость. В основе этой необходимости лежат стимулы, которые побуждают создавать любой «Клуб по интересам». Для современности одним из стимулов является стремление пройти эпоху модернизаций без утраты «национального лица». Эта сторона проблемы особенно остра для малых славянских народов. Нынешние тенденции их развития могут поставить их в такое положение, при котором они окажутся перед угрозой потери национальной самобытности, или, как сейчас говорят, идентичности. В таком понимании славянской взаимности нет призыва к национальному изоляционизму. Это нацеленность на устойчивое цивилизованное развитие, которое будет тем успешнее, чем в большей мере оно будет использовать ценности традиционной культуры и искать собственные формы.

Встречают ли такие идеи общественную поддержку? Приходится констатировать наличие разных тенденций в разных странах. С одной стороны, широкое распространение в последние годы получило празднование Дня славянской письменности и культуры. Интересным явлением стало создание Славянских университетов в ряде стран. Их нацеленность на подготовку молодых специалистов не только в области культуры, но и экономики, юриспруденции, менеджмента и т. д. свидетельствует о желании внести соответствующий вклад в процессы модернизации в своих странах.

К сожалению, имеются и факты противоположного свойства. Если оставить в стороне прямые антиславянские выпады отдельных политических сил, сюда относится создание барьеров (в ряде случаев — искусственных) на пути свободного обмена информацией. Так, существовавший ранее обмен программами ТВ, а также газетами, журналами и прочими средствами массовой информации был разрушен, взамен же ничего нового создано не было. И если распад прежних экономических связей уже осознается как неоправданная потеря, наносящая ущерб всем странам, то последствия нарушений в области культурного обмена уяснены еще не всеми.

Сказанное выше прямо касается перспектив межславянских отношений. Новые потребности заставят славянские страны обратиться к проблемам культурного наследия и цивилизационных особенностей своих народов. И это обстоятельство дает основания для умеренного оптимизма и для надежд, что идеи славянской взаимности и политика сотрудничества в культурной области (в дополнение к другим формам сотрудничества) еще сослужат свою службу.

Ю. В. Лебедев
(Кострома)

О духовных основах русского языка и классической русской литературы

Преамбула: Обычно роль св. Кирилла и Мефодия сводится к тому, что солунские братья дали России алфавит и положили начало славянской письменности. Но вместе с письменностью на Русь пришло уникальное духовное наследие Византии, оказавшее влияние на душу русского языка и определившее во многом национальное своеобразие русской литературы.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»¹.

Эти выстраданные слова И. С. Тургенев произнес после перво-мартовской катастрофы 1881 г., когда народовольцы убили Александра II. Но горькое сознание глубочайшего общенационального кризиса не лишило Тургенева надежды и веры. Эту веру и надежду давал ему русский язык. В одном из писем Тургенев сказал о нем так: «...Для выражения многих и лучших мыслей — он удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе. Странное дело! Этих четырех качеств — честности, простоты, свободы и силы — нет в народе, а в языке они есть...». И, подумав, с уверенностью добавил: «Значит будут и в народе»². Сомневающимся в будущем России современникам Тургенев неоднократно заявлял: «И я бы, может быть, сомневался... — но язык? Куда денут скептики наш гибкий, чарующий, волшебный язык? Поверьте, господа, народ, у которого такой язык, — народ великий»³.

Судьбы народа определяются не только сиюминутным состоянием народной жизни, которая порой повергает в уныние многих современников, но и духом языка, на котором говорит народ. А дух языка несет в себе спасительную энергию благодатной исторической памяти. Несколько лет мне довелось выступать с лекциями по русской литературе перед болгарскими учителями. Запомнился один эпизод, связанный с характерными особенностями

русского языка. Читаю стихотворение А. С. Пушкина «Арион», иду интонационно по нарастающей до заключительных строк его, звучащих по-русски с особой торжественностью и силой:

И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

И вдруг замечаю, что мои благодарные слушатели, «братушки», не к месту и не ко времени улыбаются. Почему? Что смешного нашли они в этих трагически-возвышенных строках финала? Выясняется, что виноват не я и не Пушкин, а дух русского языка, пока недоступный их восприятию. Им показалась комичной та торжественность, с которой я прочел слова: «И ризу влажную мою...». Ведь по-болгарски *риза* — рубашка, а точнее, по-болгарски всё *риза*: и одежда иерея, возвышающегося во время литургии до ангельского чина, и рубашка, производство которой поставлено на поток с использованием современных технологий, и нательная майка с пошловатой наклейкой на американский манер на груди. По-болгарски всё *врата*: и царские врата в алтарное святилище церкви, и дверь в дом, и калитка во двор, и дверца автомашины. По-болгарски всё *древо* (*дърво*): и древо жизни, и бревно, и жердь, и кол, и полено...

И тут начинаешь ясно осознавать сказочное богатство русского языка и — главное! — развитое в нем чувство ранга, щедрый стилистический диапазон от «ризы» до «майки», от «врат» до «калитки», от «древа» до «пня». Утонченная и сложная иерархия ценностей, организующая национальный язык, является показателем его высокой культуры, в которой запечатлелась отечественная история:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?...⁴

Высокий стиль этих бессмертных гражданских стихов К. Ф. Рылеева прямо связан с церковнославянским языком — языком русских богослужебных книг и православной литургии. Ведь с момента принятия христианства на Руси при святом Владимире и вплоть до наших дней богослужение в русских храмах ведется на сравнительно доступном и понятном каждому церковнославянском (а точнее, древнеболгарском) языке, дарованном нам солунскими братьями св. Кириллом и Мефодием. Вместе с этим языком пришла на Русь духовная культура Византии, Священное Писание и святоотеческое Предание, богатейшее христианское наследие.

«Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива, — сказал А. С. Пушкин. — В XI в. древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавив таким образом от медленных усовершенствований времени»⁵.

Но главное — русский язык органично принял в себя высокую духоносную первооснову. Православной по сути стала природа нашего языка — его высокая ценностная шкала, по отношению к которой выстраиваются в нем все другие слова и стоящие за ними понятия. Русское словесно-художественное творчество настолько глубоко уходит своими корнями в религиозную стихию, что даже течения, порвавшие с религией внешне, все равно оказываются внутренне с нею связанными. Вот почему А. С. Пушкин утверждал: «...Греческое вероисповедание, отдельно от всех прочих, дает нам особенный национальный характер... Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением»⁶. «Поймите же, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада»⁷.

В чем же заключается формула русской истории, связанная с христианством в его восточном, православном качестве и существовании? Как отразилась эта «формула» в русской классической литературе, определив ее неповторимые национальные особенности? Русское своеобразие в какой-то мере проясняет спор, который возник в XIV в. между ревнителями православной духовности и «гуманистами». На позициях православия твердо стоял тогда один из духовных отцов нашей церкви, св. Григорий Палама, а его оппонентами были калабрийские монахи Варлаам и Анкидин, мировоззрение которых уже предвосхищало дух западноевропейской культуры эпохи Возрождения. Спор касался сути важнейшего события в земной жизни Иисуса Христа, когда незадолго до Своих крестных мук Он взял с Собою наиболее преданных учеников и поднялся с ними на гору Фавор, где «просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет».

Что представлял из себя этот свет, исходивший от Христа, какова была его природа? Гуманисты полагали, что Божественная сущность недоступна для человека, а потому Фаворский свет — тварный, открытый земному зрению любого человека, лишь сим-

волизирующий величие и славу Христа. Григорий Палама, напротив, утверждал, что это свет Божественный, открывающийся далеко не всякому. Христос в момент Преображения отверз очи Своим ученикам, и они узрели нетварную, неизреченную Божию славу и красоту. А это значит, что человек путем очищения ума и сердца может сподобиться «освящения несозданным Божественным светом» и вступить в реальное общение с Богом. «Это единение, сотрудничество, синергия человека с Богом предполагает сохранение человека во всем его духовно-душевно-телесном составе: человек в полноте своей природы неразделим и весь участвует в освящении и преображении». «Учение, полученное нами, — писал св. Григорий Палама, — говорит, что бесстрашие состоит не в умерщвлении страстной части, а в ее переводе от зла к добру». Плоть «мы получили не для того, чтобы убить себя, умерщвляя всякую деятельность тела и всякую силу души, но чтобы отбросить всякое низкое желание и действие... У бесстрастных людей страстная часть души постоянно живет и действует ко благу, и они ее не умерщвляют. Другими словами, в приобщении к божественной благодати страстные силы души не убиваются, а преобразуются, освящаются»⁸. Именно это качество православной духовности давало право Достоевскому говорить о сердечном знании Христа, присущем русскому народу. Православно верующий человек, стремясь приблизиться к Богу в молитвенном предстоянии, добивался такого внутреннего очищения, которое открывало его духовному взору спасительный Божественный свет. «Душа, — говорил преп. Макарий Египетский, — не имеющая в себе Божия света (т. е. жизни самосущей), но сотворенная по Божию образу, не из собственного своего естества, но от Божества Его; от собственного света Его восприимлет духовную пищу и духовное питание, и небесные одеяния, что и составляет истинную жизнь души. Поэтому предоставленный самому себе человек обречен на безысходное противоречие и на вечное страдание»⁹.

Отличие православного мировосприятия от «гуманистического» наиболее ярко проявилось в русской иконописи и литературе, с одной стороны, и в искусстве западноевропейского Возрождения, с другой. Русский иконописец считал, что выразить в красках светоносную энергию Горнего мира можно только внутренним, духовным зрением. Материальный мир на его иконе преобразуется. Иконопись — это «умозрение в красках»; это акт сверхъестественного познания. В нашей поэзии его зримо представил Ф. И. Тютчев в исключительно русских стихах:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплемennyй,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя¹⁰.

По скудным материальным следам постигается неземной сверхматериальный и сверхприродный Свет. Он только и зажигается в «смиренной наготе» мира материального, физического — чем тоньше его оболочка, чем она прозрачнее, тем она открытее для Божиих лучей. И наоборот, чем грубее и весомее земность, чем тучнее плоть, тем недоступнее Царство Духа. «Вечная жизнь не заключает в своем существе ничего такого, что бы препятствовало ее открытию здесь, на земле». Она постепенно растет, вызревает в человеке, и «кто приобрел высокий образ мыслей, тот еще здесь предвкушает царство небесное»¹¹.

Иначе думали и поступали гуманисты эпохи Возрождения, предпочитавшие изображать то, что видимо лишь земными очами. Именно такое, непреработанное зрение человек ренессансной эпохи довел до изощренного совершенства. Он и Горний мир свел с небес на землю, он и к Божественному приложил земную мерку. И не только на религиозную жизнь распространялось это различие. Оно коснулось коренных основ жизнечувствования и жизнестроительства, энергия которого устремилась к приумножению земных, материальных благ и предопределила тот экологический тупик, в который неумолимо заходит к концу XX в. современная цивилизация.

Православный человек, устремляясь к принятию Фаворского света, добивался, напротив, духовного очищения и просветления. Он много работал над собой, долго чистил себя изнутри «умной молитвой», прежде чем обретал необходимую «прозрачность» для его восприятия. Русские святители Андрей Рублев, Сергей Радонежский, Нил Сорский всю духовную энергию свою сосредоточивали на внутреннем совершенствовании человеческой души.

Если гуманист направлял волю к изменению внешних обстоятельств, стремился приумножить земные блага и «жить лучше», то православный человек видел свое призвание в том, чтобы «быть лучше», совершеннее, ближе к Богу. Взыскуя Духа Святого, он прежде всего освобождался от мирских соблазнов, от тяжести греховных помыслов и земных страстей. Материальные же блага он принимал как Божий дар, считая, что они принадлежат Богу. Он старался ими по-божески распорядиться: накормить голодного, призреть убогого. Святитель Тихон Задонский учил: «Ежели богатство имеешь, берегись к нему: сердце свое прилагать, берегись на прихоти и на роскоши расточать Божие добро: дано оно тебе от Бога не ради тебя одного, но и ради прочих бедных людей. Помни, что ты строитель, а не господин добра. Будь же верным строителем Господа твоего, а не расточителем имения Господня: и сам умеренно довольствуйся, и благодари Творца, и убогих людей снабжай»¹².

Русский человек был убежден, что любое жизнестроительство нужно начинать с себя, а не с окружения своего. Человек с убогой душой, отягощенной первородным грехом, не в состоянии изменить жизнь к лучшему, несмотря на все свои усилия. Только освобождая себя, совершенствуя себя с помощью Божией, можно надеяться на благодатные внешние перемены. А. С. Пушкин, который в нашей литературе нового времени является «началом всех начал», говорил: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества»¹³. Именно этим святоотеческим и пушкинским заветам и оставалась верна русская классическая литература XIX в. в магистральном ее русле. И Гончаров, и Толстой, и Достоевский видели прогресс не в материальном, а в нравственном самоусовершенствовании человека. И мы можем с полной уверенностью утверждать, что именно русская литература сохраняла верность первоосновам православного христианского наследия. Не случайно немецкий классик Томас Манн назвал ее «святой».

Христос звал человека к внутреннему совершенствованию. Но Он знал, что по мере духовного созревания человека будут изменяться и отношения между людьми. Мир не нужно переделывать, перекраивать, перестраивать и перетряхивать специально. Совершенствование общественной жизни зависит от совершенствования человека. Все изменится как бы само собою, если человек будет стремиться к цели, поставленной ему Иисусом Христом. Это понимала классическая русская литература, ибо это утверждала

наша святоотеческая традиция. Св. Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи душ спасутся».

Достоевский называл православную церковь «нашим русским социализмом». Что он имел здесь в виду? Его идеал был основан на возвышении всех до нравственного уровня церкви как духовного братства. Христианство, по Достоевскому, должно войти в повседневную жизнь человека. Его лучами должно быть пронизано все: и политика, и наука, и искусство, и хозяйствование человека на земле. «Всемирная гармония», о которой говорил Достоевский в своих романах, бесконечно далека от утилитарного идеала материального благополучия слабых и смертных людей на грешной земле, который утверждали социалисты. Достоевский никогда не считал возможным достижение Царства Божия усилиями современного, поврежденного грехом человечества. Его «мировая гармония» предполагала благодатное перерождение и этой земли, и этого человечества, вместившего в себя божественное «Я» Христа и перешедшего за пределы земной истории в сферы вечного Богочеловеческого совершенства. Именно духовный союз русской литературы с православием позволяет нам говорить о ней как об искусстве постренессансного, постгуманистического периода.

Впервые на эту особенность русской классической литературы обратил внимание молодой друг Достоевского, русский религиозный философ В. С. Соловьев. В работе «Три речи в память Достоевского» он разделил развитие европейской литературы на три стадии: а) средневековую, когда «религиозная идея владела поэзией»; б) нового времени, когда литература «обособилась и отделилась от религии»; в) будущего времени, когда отделившаяся от религии и впавшая в кризис литература опять вступит с нею «в новую свободную связь». «Искусство будущего, которое само после долгих испытаний вернется к религии, будет, — по словам В. С. Соловьева, — совсем не то первобытное искусство, которое еще не выдилось из религии». «Художники и поэты опять должны стать жрецами и пророками, но уже в другом, еще более весомом и возвышающем смысле: не только религиозная идея будет владеть ими, но и они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями»¹⁴.

Человек, начиная с эпохи Возрождения, был провозглашен совершеннейшим творением природы, «венцом всего живущего», «мерой всех вещей». Русская классическая литература как раз и ощутила тревогу за судьбы человечества на том этапе его истории, когда стали обнаруживаться катастрофические последствия такого самообожествления, когда на попрании великих христианских

истин возникла фанатическая вера в науку, в абсолютную ее безупречность, когда радикально настроенным мыслителям революционно-просветительского толка показалось, что силою «раскрепощенного» атеистического разума можно разом устранить царящее на земле общественное неравенство, несовершенство и зло. Всеми силами наша классическая литература стремилась удержать этот назревавший, необузданный, искусительный порыв. И Толстой, и Гончаров, и Достоевский остро почувствовали исчерпанность тех форм исторического развития, в зерне которых лежала идея самообожествления человека, основанная на антихристианской идеализации его природы, на соблазне — «и будем, как боги». Ключевым в романе Гончарова «Обрыв» потому и оказался мотив искушения и грехопадения Веры, прояснявший взгляд писателя на перспективы нравственного развития человечества. Гончаров вместе с Гоголем и другими русскими классиками был решительным противником того понимания прогресса, которое утверждала радикально настроенная нигилистическая молодежь. Прогресс в науке, заявляла она, состоит в постоянном расширении круга познания, в открытии новых научных данных, ставящих под сомнение, а то и вообще отрицающих знания предыдущие. То же самое происходит и в нравственной сфере. Молодое поколение вправе ставить под сомнение и отрицать те нравственные идеалы, которыми вдохновляются «отцы».

Гончаров же считал вслед за Гоголем, что христианин у Бога вечный ученик, что в «нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания»¹⁵.

В изучении русского классического наследия нам нужно отказаться от распространенного заблуждения, согласно которому наша литература якобы готовила революцию в тех ее формах, в каких она осуществилась в 1917 г. Все было как раз наоборот. Настаивая на необходимости духовного, нравственного усовершенствования человека в согласии с тысячелетней православно-христианской традицией, русские классики вступали в решительный спор с революционными социалистами.

Социалисты, по мнению Достоевского, взяли у христианства идею братского единения, но решили достигнуть ее слишком легким и поверхностным путем. Они поставили нравственный рост общества в прямую зависимость от его экономического строя. Тем самым низшую экономическую область они превратили в высшую и господствующую. А потому социалисты не смогли

подняться над ограниченным буржуазно-мещанским мироисповеданием. «Экономическая сила никогда не свяжет, — говорил Достоевский, — свяжет сила нравственная... На экономической идее, на претворении камней в хлебы ничего не основывается».

Главный грех современных социалистических учений Достоевский и Толстой видели в том, что в области высших духовных интересов они требуют от человека слишком малого. В их теориях совершенно обходится, не берется в расчет противоречивая, поврежденная первородным грехом, «недовоплощенная» натура человека. С человека ими снимается бремя тяжелого повседневного труда нравственного роста, духовного совершенствования. Социалисты не берут в расчет, что образ человеческий держится Силой более высокой, чем сам человек. Предоставленный же самому себе, обожествивший свои собственные силы и возможности, человек оказывается пленником своей противоречивой природы и обрекает себя на полное самоуничтожение. Трагедию такого нравственного самозаконотательства обнажил Достоевский в судьбе Родиона Раскольникова, в метаниях «подпольного человека», в карамазовском распаде и в смердяковском попрании всех национальных святынь. Подобно Раскольникову, социалисты, по Достоевскому, «хотят с одной логикой через натуру перескочить», не замечая, что зло в человеке таится глубже, чем они предполагают, а добро — выше тех границ, которые их учениями определяются.

Русские писатели, выступая против самообожествления человека, никогда не впадали и в крайность обожествления народа. Они отличали народ как целостное единство людей, одухотворенное высшим светом христианской истины, от человеческой толпы, охваченной зоологическими, животными инстинктами. «Мысль народная» в «Войне и мире» Толстого неотделима от православного идеала соборности. Поэтому Провидение направляет свою энергию не на гениальных одиночек, мнимо творящих историю, а на верующий народ. А величие исторической личности заключается в обостренной чуткости ее к собирательной воле народа, ведомой Божественной силой к благой цели. Поэтому за мыслью народной стоит у Толстого мысль христианская в православном ее существе и качестве. Ключевую роль в романе играет сцена молебна Кутузова вместе с народом перед чудотворной иконой Смоленской Божией Матери накануне Бородинского сражения. Равно как патриотическому поступку Наташи Ростовской в момент отъезда из Москвы предшествует русская, из глубины верующего сердца исходящая молитва ее в домовую церковь Разумовских. Для нас, русских людей, «с данной нам Христом мерою хорошего и дурно-

го, нет неизмеримого, — заключает Толстой. — И нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

К сожалению, при изучении русской классической литературы в советский период эти глубокие духовно-нравственные проблемы сознательно обходились или умышленно упрощались. Акцент делался на обличительном, а не на духовно-созидательном пафосе русской классики. Даже в определении художественного метода ее — «критический реализм!» — сказалась эта односторонность. Сегодня нам нужно вернуться к более пристальному и глубокому осмыслению того «плодотворного зерна», которое было посеяно на русскую почву великими славянскими просветителями свв. Кириллом и Мефодием и дало свои всходы во всех областях отечественной культуры.

Примечания

- ¹ И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. В 30-ти томах. Сочинения. М.; Л., 1967, т. 13; с. 198.
- ² Там же. Письма, т. 3, с. 386.
- ³ Русский вестник, 1890, № 7; с. 12–13.
- ⁴ К. Ф. Рылеев. Полн. собр. стих. Л., 1971, с. 97.
- ⁵ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. В 10-ти томах. М., 1964, т. 7, с. 27.
- ⁶ Там же, т. 8, с. 130.
- ⁷ Там же, т. 7, с. 144.
- ⁸ Л. А. Успенский. Богословие иконы православной церкви. М., 1994, с. 193–194.
- ⁹ Архиепископ Сергей Страгородский. Православное учение о спасении. М., 1991, с. 104.
- ¹⁰ Ф. И. Тютчев. Лирика. В 2-х томах. М., 1966, т. 1, с. 161.
- ¹¹ Архиепископ Сергей Страгородский. Православное учение..., с. 113–114.
- ¹² Св. Тихон Задонский. Наставление о собственных всякого христианина должностях. М., 1865, с. 226–227.
- ¹³ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч..., т. 7, с. 144.
- ¹⁴ В. С. Соловьев. Сочинения. В 2-х томах. М., 1988, т. 2, с. 292–293.
- ¹⁵ И. А. Гончаров. Собр. соч. В 6-ти томах. М., 1972, т. 6, с. 509.

Архимандрит **Макарий**
(Москва)

Митрополит Макарий — выдающийся книжник Древней Руси (Традиции и особенности)

В докладе митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима об издательской деятельности Русской Православной Церкви на Соборе по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси была дана высокая оценка книжной деятельности Всероссийского митрополита Макария, который известен прежде всего собиранием духовных сокровищ. Великие макарьевские Четы-Минеи, собрание всех «чтомых» на Руси книг, по его мысли, «сродни идее другого великого книголюба Средневековья — Константинопольского Патриарха Фотия, создавшего «Мириобиблион» (тысячекнижник) — аннотированный каталог греческой литературы предшествовавших веков, а по реализации, пожалуй, превосходит его, так как здесь был создан не только каталог, но и сама библиотека, включавшая почти всю известную в то время на Руси литературу»¹.

Прежде чем коснуться вопроса сопоставления эпохи Патриарха Фотия в Византии и митрополита Макария в России, приведем еще одну мысль. Характеризуя IX в. Византии как подъем культуры, протоиерей Игорь Экономцев пишет: «Просветительская деятельность солунских братьев и их учеников полностью укладывается в идейном направлении так называемого Фотиевского ренессанса, смысл которого заключается прежде всего в систематизации традиции. Отсюда стремление к созданию обширных энциклопедий (богословских, литературных, естественнонаучных), хрестоматий, компилятивных сборников, различных толкований, справочных пособий, словарей. Век просветительства — это век учителей (и солунские братья — в первую очередь учителя), это век учреждаемых школ и академических центров, век педагогики. В эпоху Фотия проявляется в целом необычный для византийского общества интерес к другим языкам, что стимулирует лингвистические исследования. Особенность деятельности Кирилла и Мефодия заключается в том, что она носит миссионерский характер, однако и это не только полностью соответствовало политическим устремлениям Фотия, но и отвечало самому духу эпохи просветительства»².

Выдающимися подвижниками и ревнителями духовного просвещения были святые равноапостольные солунские братья Кирилл († 869; пам. 11 мая) и Мефодий († 885; пам. 11 мая), которые положили начало славянской христианской культуре и переводам с греческого языка Священного Писания, богослужебных и патриотических текстов на язык, понятный народам, проживавшим на Балканах и в Восточной Европе. Приняв ранее христианскую веру, Болгарское царство способствовало впоследствии скорейшему усвоению Православия в Киевской Руси, благодаря уже имевшейся духовной литературе на доступном и понятном языке. На просветительском поприще в Болгарии потрудились такие писатели и богословы, как святители Климент Охридский, Константин Преславский, Йоанн Экзархи др.

Около полутысячелетия спустя после славянских Первоучителей в Болгарии наблюдается новое культурно-просветительное явление, называемое по месту действия — Тырновская, или по имени ее славного представителя — Евфимиевская школа. Эта школа проделала большую работу над духовным наследием предшествующего времени. Ее огромное влияние отразилось и в других странах. Московская Русь, невзирая на продолжавшееся тяжелое монголо-татарское иго оказалась способной воспринять это движение. Это было время духовного расцвета в православном мире, время «Православного Возрождения»³. Деятельность и значение Тырновской школы и Патриарха Евфимия (XIV в.; пам. 20 янв.), в частности, в последние годы является предметом интенсивного и всестороннего изучения. Справедливо наблюдение С. Лазарова: «Едва ли найдется другой книжный деятель болгарского Средневековья, с чьим именем как автора или редактора было бы связано так много памятников, как с Патриархом Евфимием»⁴.

Главным представителем Тырновской школы в Великой Руси был сподвижник Патриарха Евфимия — митрополит Киприан († 1406 г.; пам. 16 сент.), известный своей большой книжной деятельностью в Москве, организацией летописного дела, большой почитатель Московского Первосвятителя Петра и автор жития, похвального слова и службы ему, борец за единство Русской митрополии. Особое отношение к тексту, к его гармонии и благозвучию, характерное для того времени, получило название «плетение словес». Инок Троице-Сергиева монастыря Елифаний получил прозвание «Премудрый» за словесное совершенство житий преподобного Сергия Радонежского († 1392; пам. 25 сент.) и святителя-миссионера Стефана Пермского († 1396; пам. 26 апр.).

Рассмотрение культурных явлений, бывших в Московской Руси в середине XVI в., т. е. на шестом столетии после Крещения Руси

при князе Владимире, позволяет выявить много общего с тем подъемом, который наблюдается в Великом Търнове в XIV в.⁵ На Руси середину XVI в. можно назвать эпохой митрополита Макария († 1563; пам. 30 дек.)⁶.

Чаще это время называют эпохой Иоанна Грозного. Однако, понятие «эпоха» предполагает в себе целостность, единство в динамике своего развития. Между тем, если сравнивать первые годы правления еще малолетнего Иоанна IV, зрелые годы первого Русского царя, венчанного на царство митрополитом Макарием, и, наконец, опричные и последующие годы, то они не отвечают требованиям понятия эпохи в силу своей противоречивости и неоднородности.

Святитель Макарий был постриженником монастыря преподобного Пафнутия Боровского († 1477; пам. 1 мая), в котором воспитывались такие русские подвижники и затем основатели монастырей, как преподобные Иосиф († 1515; пам. 9 сент.) и Левкий (XVI в.; пам. 17 июля) Волоколамские, Кассиан, Босой, Давид Серпуховский († 1520; пам. 18 окт.), Даниил Переяславский († 1540; пам. 7 апр.) и др. После непродолжительного настоятельства в Можайском мужском монастыре (1523–1526) святитель Макарий проходил архиерейское служение на старейшей архиерейской кафедре в Великом Новгороде. Богатые новгородские духовные традиции были глубоко восприняты святителем Макарием и получили дальнейшее развитие и продолжение в его деятельности. Если архиепископ Новгородский Геннадий († 1505; пам. 4 дек.) впервые собрал в славянском мире полный свод библейских книг, то святитель Макарий поставил себе цель собрать воедино уже всю духовную литературу. Новгородские иерархи Евфимий († 1458; пам. 11 марта) и Иона († 1470; пам. 5 нояб.) прославляют местных святых, создают летописные своды, в которых освещаются события в новгородском масштабе. В деятельности святителя Макария названное начало получает уже Всероссийский или, можно сказать, «макарьевский» размах, особенно после того, как он в 1542 г. был возведен на Всероссийский митрополичий престол.

Выдающийся писатель XVI в. богослов-полемист и агиограф инок Зиновий Отенский писал новгородскому дьяку Я. Шишкину: «Государь, живешь ис божественна мужа и велика святителя и Божия книги на всяк час чтутся ту...»⁷. Он имеет в виду святителя Макария. Позднее, когда святитель стал Всероссийским митрополитом, другой автор в послании называет его — «...презельный старый Филадельф, книголюбец завидливый»⁸. Автор жития болгарского мученика Георгия Нового († 1515; пам. 26 мая), написан-

ного по благословию святителя Макария, сравнивает его книжно-собираТЕЛЬскую деятельность с трудолюбием пчелы: «В то время любимым трудом его было, как пчеле — мед, отовсюду приносить и воедино собирать жития древних святых, прославившихся воздержанием, и повествования о подвигах мучеников...»⁹.

Этим «божественным мужем», «книголюбом завидловым», которого так единодушно воспевают писатели-современники, уподобляя его древнеегипетскому царю Птолемею Филадельфу, собирателю письменности, был выдающийся Первоиерарх Русской Церкви середины XVI в.: — митрополит Московский Макарий. Его деятельность как организатора, собирателя и систематизатора книжных духовных ценностей Древней Руси известна по источникам, начиная с новгородского периода жизни будущего митрополита.

Самый ранний известный труд, связанный с именем святителя Макария, это работа над исправлением текста Синайского Патерика, которую проделал инок Волоколамского монастыря Досифей «Осифитие»¹⁰. Инок Досифей был племянником преподобного Иосифа Волоцкого и братом бабушки святителя Макария¹¹. Забегая вперед, можно сказать, что школа преподобных Пафнутия Боровского и Иосифа Волоцкого дала в лице митрополита Макария выдающегося просветителя Древней Руси.

В послесловии к Патерику инок Досифей высказал важную мысль: «И. ныне оубо и в нашей земли такая (подвижники. — а. М.) много бывают, но нашим небрежением презираема и писанию не предаваема»¹². Волоколамский инок позднее «предал писанию» благочестивые предания своей обители, составив Волоколамский патерик. Митрополит же Макарий собрал и систематизировал всю русскую агиографическую, гомилетическую и святоотеческую письменность. В Новгороде по благословию Святителя было составлено Житие преподобного Михаила Клопского¹³. Акростих службы этому святому показывает, что она была написана также по благословию владыки Макария¹⁴. Одновременное составление Жития и службы святому позволяет говорить о его местной канонизации в Великом Новгороде при архиепископе Макарии. Прославление им русских святых в последующее время также было связано с написанием житий, т. е. развитием русской литературы. Таким образом, собирание письменных сокровищ и канонизация святого, а также создание новых житий и служб святым — это важнейшие аспекты в жизни и деятельности святителя Макария, тесно взаимосвязанные между собою.

Собранный им труд получил в истории именование — Великие маркарьевские Четьи-Минеи. Все материалы были систематизированы в

12-ти Четьих-Миней по традиционному календарно-месячному принципу. Святитель Макарий создал три редакции Миней: Софийский список (вложен в 1541 г. в Новгородский Софийский собор), Успенский (вложен в 1552 г. в Успенский кремлевский собор) и Царский (подарен митрополитом Макарием царю Иоанну Грозному).

Во вкладной записи Успенской Миней святитель подчеркивает просветительный характер книжных сокровищ — для великой душевной пользы читающим и слушающим, адресуя их всем клирикам, начиная от митрополита и кончая чтецами и певцами, а также всем православным христианам. Н. Попов замечает в связи с этим: «Мысль о собрании в центре тогдашней церковной и политической жизни — Москве Митрополичьей библиотеки, которая могла бы обслуживать всю Русь со всем ее чиномачалием, нигде не выражена с такой яркостью и краткостью и вместе с тем с простотой»¹⁵. Далее во вкладной записи Миней сообщается об истории их создания: «А писал есми сиа святыя великиа книги в Великом Новгороде как есми тамо был архиепископом, а писал есми и събирал и в едино место их совокуплял дванадесят лет многим имением и многими различными писари, не щадя сребра и всяческих почастей, но и паче ж многи труды и подвиги подъях»¹⁶.

За основу создания Миней святителем Макарием был взят Пролог. После проложных чтений на каждый день следуют минейные редакции житий святых, далее гомилетические произведения, патристические тексты и т. д. В дни памяти пророков, например, добавляются их пророческие книги. Материалы, которые нельзя было увязать со структурой Месяцеслова, помещались в конце Миней. Это были Патерики, Златоструй, Измарагд и другие сборники. Поскольку же поиск — процесс творческий; то каждая последующая редакция Миней вбирала в себя все новые и новые памятники древнерусской письменности.

Что же представляют из себя макарьевские Четьи-Миней? Это двенадцать больших рукописей до полутора тысяч страниц каждая, написанные в два столбца убористым полууставным почерком. Десять сохранившихся томов Царской редакции, имеющие более ранние переплеты, чем другие, в маргиналиях сохранили на своих полях имена более 50 писцов. Говоря о макарьевских Миней, Н. Н. Розов справедливо отмечает: «Кажется, что все было сделано на настоящей средневековой „мануфактуре“ — с привлечением большого числа исполнителей, с разделением труда, со специализацией каждого „производительного звена“»¹⁷.

Великие макарьевские Четьи-Миней вобрали в себя памятники духовной литературы, появившиеся в результате перевода на заре

существования славянской письменности, и первые оригинальные русские произведения. Самый древний представленный в них русский памятник — это «Слово о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона (XI в.). Последующие произведения русского происхождения принадлежат епископу туrowsкому Кириллу, афонскому иеромонаху Пахомию Сербу и т. д., вплоть до произведений, современных Минеям. Американский исследователь Д. В. Миллер так характеризует труд Московского святителя: «Обилие текстов Макарьевских сборников показывало, что Москва, которую часто именовали Русским царством, есть центр христианского мира, что это последнее из указанных Богом Царств»¹⁸.

Как показали текстологические исследования Миней, при работе над агиографическими творениями макарьевскими книжниками использовались, помимо древних славянских текстов, также и греческие оригиналы¹⁹. Эти наблюдения дают основания для последующих выводов. Созданием Миней руководил митрополит Макарий, с именем которого связан первый в истории Русской Церкви богословский, межконфессиональный, религиозный диспут со шведским епископом в 1557 г., ведшийся на греческом языке²⁰. Малоизученные и до сих пор до конца не изданные Великие макарьевские Миней Четии могли бы послужить также отправной базой и для всестороннего исследования оригинальных текстов памятников греческой агиографии, так как они представляют зачастую или более исправную редакцию жития²¹, или очень редкую²².

Святитель Макарий называет свой труд в Успенской вкладной записи так: «...святая великая книга Миней-Четья», «великия книги дванадесять Миней четьих». Это же наименование мы встречаем и в поминальной записи Успенского соборного Синодика — «дванадесять Миней четьих великих книг, писаны все в дестный лист»²³. При начале их издания в 1868 г. Археографическая комиссия назвала Миней за их объем Великими, а также Макарьевскими по имени их замечательного собирателя.

Макарьевские Четьи-Миней — это особая страница в истории Четьих-Миней на Руси. Четья книга, с таким благоговением читавшаяся нашими благочестивыми предками, достигает апогея своего развития в середине XVI в. Макарьевские Миней оказали влияние и на последующие четьи сборника. Почерковые особенности Великих Миней Четьих находят отражение в так называемых Чудовских Минеях, созданных в кремлевском Чудовском монастыре на рубеже XVI–XVII вв.²⁴ Принципы формирования макарьевских Миней соблюдаются в XVII в. при создании Тулуповских Миней²⁵. В середине XVII в. троицкий священник Иоанн

Милотин переписал годовой круг Минеи, в которых также наблюдается влияние макарьевского наследия²⁶. В конце XVII в. святитель Дмитрий, скончавшийся на Ростовской кафедре († 1709; пам. 28 окт.), активно использует макарьевские Минеи при составлении своих Четвх книг²⁷. И сейчас Великие макарьевские Четвх-Минеи являются ценным источником, к которому обращаются в связи с различными вопросами ученые разных специальностей. Сохраняя на своих страницах литературу предшествующего времени, Великие макарьевские Четвх-Минеи влияли на последующие Четвх сборники. Они описывались, публиковались и изучались различными учеными. Тем самым они свидетельствуют о тысячелетней традиции нашей письменной культуры²⁸.

Работа с книжным богатством и, в частности, с памятниками отечественной агиографии поставила перед святителем Макарием вопрос о повсеместном почитании всех русских святых и обработке существовавшего русского агиологического наследия. Эти вопросы решались на Московских Соборах 1547 и 1549 гг., справедливо называемых историками «макарьевскими»²⁹. Большая часть русских святых к тому времени уже почиталась местно, теперь же Собором русских архиереев во главе с митрополитом Макарием было предписано «праздновати новым чудотворцом в Росийския Земля, что их Господь Бог прославил, Своих угодников многими и различными чудесы и знаменми и не бе им до днесь соборнаго пения. Мы ж о Святем Дусе... уставихом праздновати Соборне по прежеуложеному Уставу святых Отец во царствующем граде Москве в соборней церкви, и по всем святым монастырем, и по всем святым церквам великого царства Росийскаго»³⁰.

Макарьевские Соборы вызвали большой духовный подъем в русском обществе, и это время справедливо может быть названо «эпохой новых чудотворцев». Так называли тогда новоканонизованных и вообще всех русских святых. По непосредственному благословию митрополита Макария или в связи с этими Соборами пишутся жития русским святым или создаются новые переработанные редакции, более отвечающие требованиям духовного и назидательного повествования для русского читателя. По мнению В. О. Ключевского, в истории русской агиографии именем «митрополита Макария можно обозначить целую эпоху»³¹. «В 20-летнее правление митрополита Макария было написано житий святых почти на одну треть более, чем во все предшествующее время от нашествия монголов, а если считать новые редакции прежних (и отчасти при нем самом написанных) житий, то почти в два раза более»³², — писал профессор Московской Духовной

академии Е. Е. Голубинский. В меньшей степени подобное утверждение справедливо и применительно к гимнографическому творчеству и наследию в русской письменности³³. Именно с того времени на Руси получают большое распространение иконы русских святых³⁴. «Вторая половина XVI в. была отмечена значительным ростом творческой активности в области церковного пения: Одним из стимулов для ее развития послужила канонизация русских святых на Соборе 1547 и 1549 гг. В честь святых, получивших общерусское признание, создавали новые службы и циклы песнопений»³⁵. Воздействие названных явлений на русское общество было очень глубоким, потому что в честь «новых чудотворцев» строились новые храмы, при Таинстве Крещения младенцам давались их имена. В это же время на Руси появляется типологически новая по содержанию русская книга, сверстница Великих Четых-Миней — Книга новых чудотворцев. В ней содержатся службы, жития, похвальные слова русским святым. Подобные сборники начиная с середины XVI в. получают широкое распространение в древнерусской книжности³⁶.

По благословию митрополита Макария была составлена распространенная в древнерусской книжности во множестве списков «Степенная книга». Непосредственным осуществителем этого замысла был сподвижник митрополита Макария, ставший впоследствии его преемником, митрополит Афанасий (1564–1566)³⁷. «Степенная книга» — это первый систематический труд по русской истории, где, в отличие от летописи, события излагаются не по годам, а по правлению великих князей русских и митрополитов, показывается преемственность государственной власти от Киевских к Владимирским, наконец, к Московским князьям. Академик Д. С. Лихачев так характеризует этот замечательный исторический труд: «„Степенная книга“ — это как бы путеводитель по современной Руси — святой и державной, но путеводитель, который сам является достопримечательностью и святыней. „Степенная книга“ — это как бы икона „всех святых“ Московского государства, икона, в которой временному придан вневременной смысл»³⁸. Д. В. Миллер замечает, что составители этого произведения «построили религиозно-национальную историю Московского Царства»³⁹.

С именем митрополита Макария связано начало церковного книгопечатания в Московской Руси. Памятник XVII в. «Сказание известно о воображении книг печатного дела» сообщает о начале печатания книг: «Вложи ему (т. е. царю Иоанну IV. — а. М.) Бог благую мысль во ум его царский, во еже бы ему что изряднее в Росиистей земли сотворити и вечная память по себе учинити: про-

известии бы ему повелети от письменных книг печатныя книги... И тогда убо пастырский жезл держашу над всею Росиею Макарию митрополиту всея Росии, возвещает же царь такоую мысль свою отцу богомольцу и святителю Макарию: Святитель же слышав сие слово, зело возрадовался и рече царю: „Яко от Бога извещение приял еси“»⁴⁰. Академик М. Н. Тихомиров справедливо замечает, что «Митрополит Макарий не только „удивлялся и радовался“, но и принимал участие в создании печатного дела»⁴¹. Вполне логично предположить, что диакон Иоанн Федоров, русский первопечатник, издавший в 1564 г. книгу Апостол, был посвящен митрополитом Макарием в диаконы в Кремлевский собор Николы Гостунского.

Вышедшие еще позже два издания Часовника напечатаны также по благословию митрополита Макария. Поскольку печатание книг имело церковно-правительственный характер, то можно предположить, что существовала программа печатания церковно-учительных книг, разработанная святителем Макарием. Сохранилось интересное сообщение архиепископа Тверского и Кашинского Саввы, как в 1864 г. был отмечен юбилей этого издания: «1-го марта, в сырное воскресенье, Московская Синодальная типография, основанная в 1564 г., праздновала трехсотлетие своего существования в древней столице России. По приглашению директора типографии Н. П. Гилярова-Платонова, мною соборне с ректором Московской Духовной академии, протоиереем А. В. Горским, синодальным ризничим архимандритом Феодосием и др. совершенно было в одной из зал типографского здания молебное пение с водоосвящением, за которым читан был Апостол по первопечатному здесь изданию 1564 г. После обычного многолетия, провозглашена была вечная память основателям печатного дела в Москве — царю Ивану Васильевичу и Всероссийскому митрополиту Макарию, первопечатникам нашим — Гостунского собора диакону Ивану Федорову и Петру Тимофееву»⁴². На открытом за два года до этого в 1862 г. памятнике 1000-летия России в Великом Новгороде святитель Макарий был помещен на горельефе памятника в разделе «Просветители» у печатного станка.

Академик А. С. Орлов отнес к числу обобщающих, культурных мероприятий Древней Руси макарьевские Четвы-Минеи, Соборы 1547 и 1549 гг. и книгопечатание. Собираение книжных и духовных церковных ценностей митрополитом Макарием было направлено на духовное единение Русского государства. Четвы-Минеи и Соборы 1547 и 1549 гг. — это аккумуляция письменности и одновременно толчок к ее последующему развитию; традиция и новации, это деятельная забота Первоиерарха Русской Церкви о просвещении Русской земли.

Поэтому в кондаке службы ему говорится: «Богомудрым учением и книжным списанием потщался еси, святителю Макарие, люди российский просветити». Жизнь и деятельность святителя Макария, выдающегося Первоиерарха Русской Церкви XVI в., обширна и многогранна, значителен его вклад в развитие русской книжной культуры.

Изучение истории развития христианской культуры в разных регионах выявляет элементы общности данного процесса. Кроме того, у общеславянского дела; основание которому положили святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, были знаменитые и ревностные продолжатели, что свидетельствует также об общности и взаимности судеб развития болгарской и русской культур. Выдающимся деятелем русского Просвещения в эпоху его расцвета, причем определившим этот расцвет, был Всероссийский митрополит Макарий. За свои просветительские труды, ревность и благочестивую жизнь на Поместном Соборе Русской Церкви, проходившем в Троице-Сергиевой Лавре и созданном в связи с 1000-летием Крещения Руси, сей чудный, по отзывам современников, святитель был причислен к лику святых. Его имя и его труды сейчас возвращаются к нам, становятся достоянием нашего общества.

Примечания

- ¹ Тысячелетие Крещения Руси. Поместный Собор Русской Православной Церкви. Троице-Сергиева Лавра 6–9 июня 1988 года. Материалы. Изд. Московской Патриархии, 1990, с. 322.
- ² И. Экономцев, прот. Православие. Византия. Россия. Сборник статей. Париж: ИМКА-Пресс, 1989, с. 43–44; См. также: ЖМП, 1988, № 2, с. 57. Д. М. Буланин хронологически несколько сдвигает подъем византийской культуры: «В истории византийской литературы X век называют веком энциклопедий» (Д. М. Буланин. Переводы и послания Максима Грека. Неизданные тексты. Л., 1984, с. 53). М. В. Бибииков отмечает: «Вторая половина IX–X в. — особая веха в историко-культурном развитии Византии. Эта эпоха, не случайно в научной литературе получившая название периода „византийского энциклопедизма“, была отмечена новым подъемом образования, культуры, литературного творчества, духовной жизни» (Культура Византии. Вторая половина VII–XII вв. М., 1989, с. 95). Оба автора связывают эпоху подъема византийской культуры с императором Порфириогенным.
- ³ Г. М. Прохоров. Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы // ТОДРЛ, т. 34: Куликовская битва и подъем национального самосознания. Л., 1979, с. 3–17.

- ⁴ С. Лазаров. Изпълнението на българските средновековни литургични текстове (във връзка с реформата на Евтимий Търновски) // Търновска книжовна школа: 1371–1971. София, 1974, с. 151.
- ⁵ Данные хронологические выкладки соизмеримы с болгарскими, учитывая тормозившее воздействие тяжелого и долгого татаро-монгольского ига на Руси.
- ⁶ О митрополите Макарии подробнее см.: А. Шишов. Всероссийский Митрополит Макарий и его заслуги для Русской Церкви. Странник, СПб., 1869. Декабрь, с. 75–106; Макарий, архиеп. Литовский и Виленский. Московский митрополит Макарий, как литературный деятель // Христианское чтение. СПб., 1873, апрель, с. 597–657; Н. Лебедев. Макарий, митрополит Всероссийский (1482–1563). М., 1877; К. Заусцинский. Макарий митрополит всея России // Журнал Министерства народного просвещения, 1881, октябрь, с. 209–259; ноябрь, с. 1–8; Г. З. Кунцевич. Сказание о последних днях жизни митрополита Макария (15 сентября—31 декабря 1563 г.) // Отчеты о заседаниях Имп. Общества любителей древней письменности в 1907–1910 году (ПДП № 176). СПб., 1911; Н. Попов. Автографы митрополита Макария собирателя Великих Миней. СПб., 1913; Ан(исимо)в. Митрополит Макарий // Известия Общества служащих в печатных заведениях, 1917, № 61–62, с. 752–756; Н. Андреев. Митрополит Макарий, как деятель религиозного искусства // *Seminarium Kondakovianum*; Praha, 1935, t. 7, s. 227–244; Н. Волнянский. Митрополит Макарий — светоч русской культуры XVI века // Журнал Московской Патриархии, 1947, № 6, с. 18–32; P. Pascal. Le metropolite Makaire et ses grandes entesprises Litteravares // *Russie et Chretiente*. 1949, № 1–2, p. 7–16; Leonid, Erzbischof von Jaroslaw und Rostow. Metropolit Makarij von Moskau und ganz Russland. Hierahh in entscheidungsveicher Zeit // *Stimmer der Orthodoxie*, 1963, № 12, S. 33–39; 1964, № 1, S. 29–36; D. B. Miller. Velikie Minei Chetii and the Stepenaia Kniga of Metropolitan Makarij and the origins of russian national consciouness. *Forchungen zur osteuropaischen Geschichte*. Berlin, 1979, Bd. 26, s. 263–382; П. Веретенников, свящ. Первосвятительская деятельность Макария, митрополита Московского и всея Руси († 1563) // Вестник Русского Западно-Европейского Экзархата. Париж, 1980–1981, № 105–108, с. 213–246; Макарий, игумен. Школа Всероссийского митрополита Макария // Богословские труды. Юбилейный сборник Московской Духовной Академии. М., 1986, с. 331–336; Макарий, архим. Автографы Всероссийского митрополита Макария. Из Древлехранилища Центрального государственного архива древних актов // БТ, М., 1992, сб. 31, с. 267–276; Makarij Veretennikov. Makarij, Metropolitn von ganz Russland. *Fragen der Hagiographie // Tausend Jahre Christentum in Russland. Zum Millenium der Kiever Rus*. Göttingen, 1989, S. 687–716.

- ⁷ А. Клибанов, В. Корецкий. Послание Зиновия Отенского Я. В. Шишкину // ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 220. Н. М. Золотухина так интерпретирует это место: «Я. В. Шишкин, кроме того, часто отвлекается на исполнение христианского долга, видимо, не работает в посты и праздники, много времени проводит в обществе митрополита Макария за чтением христианской литературы и душеспасительными беседами» (Н. М. Золотухина. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли. М., 1985, с. 136).
- ⁸ И. Шляпкин. Ермолай прегрешный, новый писатель эпохи Грозного // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911, с. 568. Издатель атрибутировал это послание известному писателю середины XVI в. Ермолаю-Еразму. В. Ф. Ржига позднее убедительно оспарит его авторство, доказывая, что послание написано иноком Герасимова монастыря Иосифом (В. В. Ржига. Литературная деятельность Ермолая-Еразма) // Летопись занятий Археографической Комиссии за 1923–1925 годы. Л., 1926. Вып. 33, с. 166–167. См. также: Р. П. Дмитриева. Иосиф (XVI в.) // ТОДРЛ, Л., 1985, т. 40, с. 111.
- ⁹ Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986, с. 531, 533.
- ¹⁰ Р. П. Дмитриева. Досифей Топорков // ТОДРЛ, Л., 1985, т. 39, с. 32.
- ¹¹ Некоторые соображения на эту тему см.: Макарий, архим. митрополит Макарий и преподобный Иосиф Волоцкий // Церковь и время, 1992, № 3, с. 66–71.
- ¹² Леонид, архим. (Кавелин). Систематическое описание славяно-русских рукописей графа А. С. Уварова. М., 1893, ч. 2, с. 278.
- ¹³ Полное собрание русских летописей. Л., 1929, т. 4, ч. I, вып. 3, с. 576; Повести о житии Михаила Клонского. Подготовка текстов Л. А. Дмитриева. М.; Л., 1958, с. 73–86, 141–167.
- ¹⁴ Ф. Г. Спасский. Русское литургическое творчество (По современным Минеям). Париж, 1951, с. 198–199.
- ¹⁵ Н. Н. Попов. О возникновении Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки // Сборник статей к сорокалетию деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, с. 34.
- ¹⁶ Иосиф, архим. Подробное оглавление Великих Четиих Миней Всероссийского митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриаршей (ныне Синодальной) библиотеке. М., 1892. Стб. 3; Т. Н. Протасьева. Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева). М., 1970, ч. I, с. 175; Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986, с. 481.
- ¹⁷ Н. Н. Розов. Русская рукописная книга. Этюды и характеристики. Л., 1971, с. 55.

- ¹⁸ D. B. Miller. The Velikie Minei Chetii and Stepenaia Kniga of Metropolitan Makarii and the origins national russian consciousness // Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. Berlin; Wiesbaden, 1979, Bd. 26, S. 270. Гомилетические произведения Макарьевских Миней были исследованы выпускником Киевской Духовной академии А. Гребенетским (1900). Правда, при публикации его работы он назван ошибочно выпускником Московской Духовной академии (А. Гребенетский. Слова и поучения в Великих Четвях-Минях митроп. Макария // Бт.М., 1992, вып. 31, с. 175.
- ¹⁹ В. П. Адрианова. Житие Алексия человека Божия в древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917, с. 99–107; Д. С. Лихачев. Текстология. На материале русской литературы X–XVII веков. Л., 1983, с. 428–430.
- ²⁰ См.: O. Dalin. Geschichte des Reiches Schweden. Aus dens schwedischen ubersetzt durch J. C. Dahnert. Rostock; Greifswald, 1763, Bd. 1, Teil 3, S. 361–363. Таким образом, скептицизм Н. Лебедева о знании святителем и его окружением греческого языка не имеет достаточных оснований. См.: Н. Лебедев. Макарий, митрополит Всероссийский (1482–1563). М., 1877, с. 19–20.
- ²¹ См.: Д. Шестаков. Заметки о греческих текстах и Макарьевских Минях Четвях // Богословский вестник, 1914, февраль, с. 369–382.
- ²² См.: В. Латышев. Житие преподобного Федора Студита в Мюнхенской рукописи № 467 // Византийский временник. М., 1915, т. 21, вып. 3–4, с. 222–257.
- ²³ ГИМ. Усп. 64, Синодик Успенского собора. в. Л. 295 об.
- ²⁴ Л. М. Костюхина. Книжное письмо в России XVII в. М., 1974, с. 27, 28, 29, 30.
- ²⁵ В. Н. Алексеев. Троицкий книгописец Герман Тулупов // Сибирское собрание М. Н. Тихомирова и проблемы археографии. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1981, с. 120–137.
- ²⁶ Д. Красин. Четии Миней священника Иоанна Милютина // Московские университетские известия. 1870, № 3, с. 775, 777.
- ²⁷ Д. Державин, прот. Четии-Миней святителя Димитрия, митрополита Ростовского, как церковноисторический и литературный памятник // Богословские труды. М., 1976, сб. 16, с. 87; Н. Муравьев. Митрополит Макарий как составитель Великих Четвях-Миней (к 400-летию составления Великих Четвях-Миней) // ВМП, 1953, № 5, с. 53.
- ²⁸ Библиографию изучения и издания макарьевских Четвях-Миней см.: Н. Ф. Дробленкова. Великие Миней Четвья // ТОДРЛ. Л., 1985, т. 39, с. 242–243; Л. Боева. Тырновская литературная школа и Великие Четвья-Миней митрополита Макария // Тырновская книжовна школа. Т. 4; Культурно развитие на българската държава краят на XII–XIV век. Со-

- фия, 1985, с. 64–75; *Н. И. Гаврюшин*. «Избирая сладость словесную». (Круг чтения древнерусского писателя) // Литературная учеба, 1987, № 6, с. 146–148; *Макарий*, игумен. Великие Макарьевские Четвы-Минеи — сокровище духовной письменности Древней Руси // ВТ. М., 1989, сб. 29, с. 106–126.
- ²⁹ *Е. Е. Голубинский*. История канонизации святых в Русской Церкви. Изд. 2. М., 1903, с. 92–109; *П. Веретенников*, диак. Московские Соборы 1547 и 1549 годов // ЖМП, 1979, № 12, с. 69–77.
- ³⁰ *П. Веретенников*, свящ. Первосвятительская деятельность Макария, Митрополита Московского и всея Руси († 1563) // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата, 1980–1981, № 105–108, с. 236–237. Прим. 64.
- ³¹ *В. О. Ключевский*. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, с. 221.
- ³² *Е. Е. Голубинский*. История Русской Церкви. М., 1911, т. 2, ч. 2, с. 181.
- ³³ См.: *Ф. Г. Спасский*. Русское литургическое творчество Макариевского периода // Православная мысль. Париж, 1951, вып. 8, с. 128–136.
- ³⁴ *И. Мысливец*. Иконографии русских святых // Byzantinoslavica. Praha, 1932, t. 40, № 2, с. 418–430.
- ³⁵ История русской музыки. Т. 1 Древняя Русь. XI–XVII века. М., 1983, с. 133.
- ³⁶ См., например: Описание славянских рукописей Московской Синадальной библиотеки. Отдел 3: Книги Богослужебные. М., 1917, ч. 2, с. 172 и сл.
- ³⁷ Подробнее о нем см.: *Макарий*, игумен (Веретенников). Всероссийский митрополит Афанасий (1564–1566) // М., 1984, сб. 25, с. 247–259.
- ³⁸ *Д. С. Лихачев*. Избранные труды в трех томах. Л., 1987, т. I, с. 568.
- ³⁹ *D. B. Miller*. The Velikie Minei Chetiv and the Stepenaia Kniga..., S. 317.
- ⁴⁰ Русское историческое повествование XVI–XVII веков. М., 1984, с. 99–100.
- ⁴¹ *М. Н. Тихомиров*. Начало книгопечатания в России // У истоков русского книгопечатания. М., 1959, с. 22.
- ⁴² *Савва*, архиеп. Тверский и Кашинский. Хроника моей жизни. Автобиографические записки (1851–1862). Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1899, т. 2, с. 128–129.

Б. Н. Флоря
(Москва)

У истоков конфессионального раскола славянского мира (Древняя Русь и ее западные соседи в XIII веке)

1054 год — дата раскола между главными христианскими церквями Средневековья — события, последствия которого наложили свой отпечаток и на многие стороны жизни общества, и на самые пути развития средневековой европейской цивилизации. Особо значительным по своим последствиям оказался этот раскол для Восточной Европы, так как (да и не только средневековой) именно по ее территории прошла одна из главных линий раздела, по обеим сторонам которой оказались, в частности, близкородственные, развивавшиеся в сходных исторических условиях народы.

Однако в 1054 г. произошел раскол между Римом и Константинополем, а не между Русью и ее западными соседями, которые разошлись гораздо позднее и в иных исторических условиях. Хотя в XI–XII вв. и на Руси, и в странах Центральной Европы была известна полемическая литература, появившаяся после разрыва церковного общения между Римом и Константинополем, и здесь в церковной среде возникали аналогичные памятники, между этими странами продолжали сохраняться разнообразные связи, в том числе, что следует особенно подчеркнуть, в сфере сакрального искусства. О наличии контактов в правящей светской среде говорят заключавшиеся вопреки предостережениям церковных иерархов многочисленные брачные союзы между представителями княжеских династий и отсутствие в исторических, более тесно связанных с интересами светской среды, памятниках специальных выпадов по адресу «иноверцев». Наоборот, например, в древнерусской Ипатьевской летописи можно обнаружить одобрительные высказывания и о немецких рыцарях — участниках III крестового похода, и о чудодейственной силе венгерского «креста св. Стефана»¹.

Положение изменилось в XIII в. Сразу следует отметить, что вплоть до 30-х гг. XIII в. в этих отношениях не произошло по-настоящему серьезных изменений. Не стал в них поворотной датой и 1204 г., когда Константинополь взяли крестоносцы «латиняне». Хотя на Руси было,

конечно, известно о насилиях «фрягов» в Цареграде², здесь их не ассоциировали с западными соседями, не принимавшими участия в событиях. Однако это событие все же имело важные последствия для изменений в отношениях между западными и восточными славянами. Именно после взятия Константинополя в политике папства усилилось стремление к распространению своей веры с помощью силового давления и тогда же, в раннем XIII в., создались благоприятные условия для воздействия папства в этом плане на политику центральноевропейских стран. Именно в это время сильно возрос идейный и политический вес церкви в польском, чешском и венгерском обществе и одновременно резко усилились связи местных церквей с Римом.

Последствия перемен сказались не сразу. Во многом это объясняется тем, что в раннем XIII в. внимание курии было прежде всего поглощено конфликтом, развернувшимся вокруг Константинополя в Средиземноморье, а Русь находилась на далекой периферии этого конфликта³. Папская курия стала серьезно интересоваться Русью лишь в 20-х гг. XIII в. в связи с событиями в Прибалтике, где находившийся под защитой курии Орден меченосцев вторгся в традиционную сферу влияния русских княжеств. Однако в борьбе за власть над язычниками восточной Прибалтики ни новгородская, ни, что важно отметить, первоначально и немецкая сторона не старалась обосновать свое право на господство в религиозных обвинениях в адрес другой стороны. Для немецкого хрониста Генриха Латвийского право немецких крестоносцев на власть обосновывались прежде всего тем, что «русская церковь» — «русская мать» не занималась обращением в христианство находившихся под властью Новгорода язычников⁴. Наряду с конфликтными ситуациями мы встречаемся и с проявлением заинтересованности обеих сторон в сотрудничестве против общего врага — литовцев⁵. Нельзя сказать, чтобы в раннем XIII в. лица, стоявшие во главе католического мира, император и папа, побуждали немецких крестоносцев к наступлению на Русь. Когда в 1220 г. епископ рижский Альберт посетил Рим, император Фридрих II «уговаривал (его) держаться мира и дружбы с датчанами и русскими» и епископ уехал, «не получив никакого утешения ни от верховного первосвященника, ни от императора»⁶. Немногие сохранившиеся папские буллы того времени, в которых речь идет о «Руси» или «русских», говорят об отсутствии у курии какой-либо определенной линии по отношению к Руси и ее слабом знании сложившейся в данном регионе ситуации⁷.

Положение изменилось в конце 20-х — начале 30-х гг. XIII в. Именно в это время в документах, направленных из Ватикана ка-

толическим соседям Новгорода, русские были названы «неверными», «врагами бога и католической веры»; ганзейским городам было предложено прервать торговлю с ним⁸. Так как подобные действия папского престола были, как видно из самого текста папских документов, ответом на поступавшие в Рим обращения с мест, очевидно, что западные соседи Новгорода стали стремиться придать своему с ним спору гораздо более выразительную чем ранее идейную окраску, изображая «русских» как угрожающих христианскому миру союзников язычников. В Риме, где именно тогда обозначился поворот к попыткам более решительного подчинения православной церкви в Средиземноморье, эти обращения попали на благодатную почву.

Отношений Руси с ее центральноевропейскими соседями это непосредственно не касалось, однако в 30-е гг. XIII в. папа Григорий IX адресует польскому духовенству ряд булл⁹. Целью этих актов было ограничить нежелательные контакты между православными и схизматиками (чему должен был служить, в частности, запрет браков между ними) и искоренить беспорядки в жизни колоний «латинян» на Руси. Последнее не было самоцелью. Искоренение беспорядков должно было способствовать превращению этих колоний в удобный инструмент распространения католицизма. Таким образом, с того момента, когда политика курии по отношению к Руси стала приобретать определенность, враждебность к «схизматической» стране в ней сочеталась с надеждами на ее «обращение». Для нашей темы существенно, что некоторые из этих булл были ответом на просьбы и предложения, исходившие от польских иерархов, в частности, от архиепископа гнезненского, а осуществление миссии на территории Руси было поручено польской провинции недавно возникшего «нищенствующего» ордена доминиканцев¹⁰. Как видим, на этой почве возникла достаточно далеко заходящая общность интересов между курией и польским духовенством. Это не может вызывать удивления, если учесть, что во главе польской церкви в то время стояли лица, именно благодаря поддержке Рима укрепившие свое влияние в стране. Деятельность польских доминиканцев привела к первым в отношениях между западными и восточными славянами межконфессиональным конфликтам, когда католических миссионеров изгнали из Киева¹¹.

В истории отношений между Древней Русью и ее католическими соседями традиционно большое место отводилось нападениям на Новгород в начале 40-х гг. XIII в. шведов и немецких крестоносцев, рассматриваемым в научной литературе как организо-

ванные курией крестовые походы на Русь¹². Такая оценка событий вызывает, однако, серьезные сомнения. Могла ли курия в конце 30-х гг. XIII в. объявить крестовый поход против православной страны? Да, могла. Так, в 1238 г. Григорий IX объявил крестовый поход против Болгарии. Такое решение сопровождалось рассылкой соответствующих посланий венгерскому королю Беле IV (ему передавалась во владение Болгария), примасу-архиепископу эстергомскому, венгерскому духовенству и, наконец, специально монахам нищенствующих орденов о проповеди крестового похода и отпущении грехов его участникам¹³. Никаких следов подобной документации по отношению к Руси в нашем распоряжении нет.

К этому следует добавить, что решение о походе против Болгарии специально мотивировалось тем, что Иван Асень II дал приют в своих землях «еретикам» — богомилам¹⁴. Это позволило использовать как прецедент решения Латеранского собора 1215 г. о крестовом походе против покровителя альбигойцев графа Раймунда тулузского¹⁵. Очевидно, еще в то время выступление против христианской страны требовало особой мотивации для преодоления психологических барьеров.

Поскольку крестовый поход против Руси в 1240 г. не был объявлен, то и захватнические действия шведов и крестоносцев не могли вызвать на Руси враждебной реакции против «латинского» мира в целом. Действительно, из записей Новгородской I летописи¹⁶ видно, что эти нападения воспринимались как очередное (может быть, особенно крупное по размерам) вражеское нашествие, но не как конфликт между сторонниками разных конфессий.

Новые черты в отношениях между папством, русскими княжествами и их западными соседями привнесли татарское нашествие и образование на территории Восточной Европы мощной кочевой державы — Золотой Орды.

Впервые со времен арабского нашествия в непосредственном соседстве с католической Европой оказалась мощная и враждебная внешняя сила, что не могло не наложить отпечаток на политику папства в Восточной Европе.

Возникшую опасность курия намеревалась парировать двумя различными способами. Прежде всего она пыталась вступить в контакт с язычниками — татарами и обратить их в свою веру, чтобы Золотая Орда стала союзником папства в борьбе с мусульманским миром¹⁷. Вместе с тем, поскольку рассчитывать на успех в этом деле прочных оснований не было, следовало одновремен-

но принимать меры к тому, чтобы поставить какой-то барьер на пути их продвижения в Европу. С этой точки зрения непосредственно соседствовавшие с Ордой русские княжества представляли большой интерес и как важный источник информации о намерениях татар, и как возможный союзник против них. Сближение с русскими княжествами на почве союза против татар одновременно могло создать благоприятные условия для подчинения русской церкви папскому престолу. В том, чтобы русские княжества стали преградой на пути татар, были заинтересованы и западные соседи Руси — и венгерский король, и польские князья активно содействовали установлению контактов между русскими землями и Римом. Наконец, и для русских князей, если они хотели получить помощь от государств католической Европы, было необходимо обеспечить себе поддержку папства, чье политическое влияние в XIII в. достигло своего апогея. Во второй половине 40-х гг. XIII в. в сношения с папой или его представителями вступали главные русские князья этого времени — Михаил Черниговский, Ярослав Всеволодович Суздальский и его сын Александр, Даниил Галицкий¹⁸.

Одним из главных результатов этих контактов стало признание (в 1247 г.) верховной власти папского престола Галицкой Русью, а затем присылка князю Даниилу королевской короны из Рима¹⁹. Во второй половине 40-х — начале 50-х гг. связи галицкого князя с западными соседями были скреплены новыми брачными союзами, а его сын стал претендентом на австрийский трон. Даниил Галицкий и польские князья совершили ряд совместных походов на язычников-ятвягов. С Тевтонским орденом был заключен договор о разделе ятвяжских земель²⁰.

Нет сомнений, что, вступая в контакты с Римом, Даниил стремился прежде всего получить помощь католической Европы против татар. Само подчинение галицкой церкви Риму ограничилось формальным актом, за которым не последовало каких-либо конкретных шагов. Некоторые записи Ипатьевской летописи²¹ позволяют полагать, что решение всех собственно церковных вопросов молчаливо откладывалось до общего соглашения между греческой и латинской церквями, переговоры о котором шли интенсивно между Римом и Никеей во второй половине 40-х — первой половине 50-х гг. XIII в. Неудача этих переговоров не могла остаться без последствий для взаимоотношений Галицкой Руси и Рима.

Еще более существенно, что несостоятельными оказались надежды на получение помощи против татар при содействии папского престола. Ближайшие соседи — Польша, где в XIII в. фео-

дальная раздробленность достигла высшей точки, Венгрия, постепенно вступающая в полосу тяжелого внутреннего кризиса, — были не в состоянии нанести поражение татарам. Более удаленные государства и вовсе не хотели нести какие-либо жертвы, не видя непосредственной опасности. Создавшееся положение реалистически оценил Александр Невский, порвав уже в конце 40-х гг. XIII в. контакты с Римом, через несколько лет это оказался вынужденным сделать и Даниил Галицкий.

Уже в период недолгого соглашения между Даниилом и папством в политике курии по отношению к русским землям, оказавшимся за рамками соглашения, наметился поворот к прежнему курсу 30-х гг., но уже в более обостренной форме. В булле, адресованной принявшему христианство литовскому правителю Миндовгу, папа Александр IV предоставил ему право занять пребывающие «в неверии» русские земли, поставив его владения под защиту папского престола²². Это первое свидетельство о попытках Рима распоряжаться землями схизматиков в Восточной Европе.

После разрыва между Галицкой Русью и Римом такие тенденции в политике папского престола усилились. Уже в 1257 г. папа Александр IV предписал проповедовать «крестовый поход против язычников „схизматиков“»²³. В 1260 г. Александр IV передал Тевтонскому ордену все земли на Руси, которые тот сумеет завоевать, поставив их под защиту папского престола²⁴. Орден принимал на себя обязательство ликвидировать на этих землях схизму. Указание в преамбуле документа, что он выдан по просьбе тевтонских рыцарей, говорит о единстве политики Рима и Ордена по отношению к древнерусским княжествам, направленной на идейную конфронтацию. В 1264 г. такое же право занять русские земли Урбан IV предоставил чешскому королю Пржемыслу II²⁵. В двух последних документах «русские» фигурировали в одном ряду с язычниками «литовцами» и «татарами» как враги христианского мира, землями которых в силу этого римский престол имеет право распоряжаться.

Позиция курии не могла не повлиять на отношения между Русью и ее западнославянскими соседями. Кроме того, с середины XIII в. стало проявляться действие новых факторов, которые могли придавать убедительность исходившим из Рима утверждениям. Первым таким фактором стало усиление литовских князей-язычников, расширение их власти на все новые «русские земли» и, как следствие, участие «русских» войск, т. е. христиан, в походах язычников-литовцев на соседние христианские земли, в частности на Польшу. Вторым фактором стало окончательное подчинение рус-

ских земель татарам и принудительное участие русских князей со своими войсками в походах ордынских правителей на Польшу и Венгрию. В главном памятнике польской анналистики того времени — Великопольской хронике сохранились рассказы о взятии Сандомира татарами в 1259/1260 гг. и о нападении русских и литовских войск на Мазовию в 1262 г.²⁶ Русские князья тогда уговорили жителей сдаться, и они были перебиты. Эти документы показывают, как остро реагировали в польском обществе на начавшееся участие русских в акциях такого рода. Перемене общественных настроений способствовали и действия правителей соседних с Русью государств. В раздорах между собой они апеллировали к поддержке папской курии и подчеркивали свою роль защитников христианской Европы от внешнего враждебного мира — мусульман, язычников, еретиков и схизматиков. частью этого враждебного «христианской общности» мира постоянно выступала Русь. Наибольшее развитие эта тема получила в корреспонденции чешского короля Пржемысла II. В своих посланиях он выступал то как защитник Польши от нападений схизматиков и литовцев, то как защитник всей христианской Европы от татар и их «слуг» схизматиков — русских, то как крестоносец, который вырвет земли Восточной Европы из рук неверных, связанных «проклятым союзом» с татарами²⁷. Формально предназначенные курии, эти послания неоднократно адресовались фактически европейскому общественному мнению, попадали на страницы хроник. Правители, достаточно хорошо знакомые с истинным положением дел, несомненно, часто сами не верили тому, что писали (тот же Пржемысл II, когда ему было нужно, умел отлично ладить с галицкими князьями), но рисовавшиеся в их посланиях образы проникали в общественное сознание, способствуя закреплению представления о Руси как части внешнего враждебного, нехристианского мира.

Автор так называемой чешской «Александрии», возникшей в конце XIII в. в среде местного рыцарства, выражал надежду, что в его стране появится правитель, подобный Александру, который заставит принять крест и отречься от заблуждений литовцев, татар, бесермен и русских²⁸.

Обращаясь к русским источникам второй половины XIII в., следует отметить, что в них не обнаруживается подобного обобщающего отрицательного образа «латинского» мира. Никаких выпадов против «латинян» нет ни в галицко-волынской части Ипатьевской летописи (наоборот, там можно найти одобрительные суждения о католических святых и католических храмах²⁹), ни в

записях Новгородской I летописи о событиях XIII в. Даже автор Жития Александра Невского, специально хваливший своего героя за то, что тот не принял «учение» от папы³⁰, был далек от общего осуждения всех представителей латинского мира³¹.

Подобный образ появляется лишь в текстах, созданных в следующем, XIV веке³². Такое хронологическое несовпадение позволяет предполагать, что отрицательный образ «латинского» мира возник как ответная реплика на негативный образ Руси.

Примечания

- ¹ Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). М., 1962, т. II, стб. 452–454, 667–668. Подробнее о взаимоотношениях Древней Руси и ее западных соседей в XI–XII вв. см.: А. И. Рогов. Отражение в идеологической жизни славян разделения церквей в 1054 г. (XI–XII вв.) // *Studia balcanica*. София, 1991, t. 20.
- ² См. рассказ о взятии Царьграда в Новгородской I летописи: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (далее — НПЛ). М.; Л., 1950, с. 46–49. Стоит отметить, что, по мнению летописца, крестоносцы действовали «цесарева веленья забывша и папина», так как папа и император Филипп Швабский послали их не завоевывать Константинополь, а воевать против мусульман.
- ³ В обширной переписке папы Иннокентия III (ум. в 1216 г.) можно отметить лишь один документ, касающийся Руси.
- ⁴ *Генрих Латвийский*. Хроника Ливонии. М.; Л., 1938, с. 225. Впрочем, подобные обвинения выдвигались им и по адресу датчан (с. 217–218). В этом сочинении русские не называются ни «еретиками», ни «схизматиками», хотя хронист знает о существовании различий между их верой и верой «латинян».
- ⁵ Так, в 1212 г. на встрече полоцкого князя Владимира с рижским епископом Альбертом был заключен «вечный мир против литовцев и других язычников». *Генрих Латвийский*, Хроника..., с. 141.
- ⁶ Там же, с. 199.
- ⁷ Так, например, в грамоте 1224 г., адресованной русским, папа Гонорий III просил их защитить окрещенных ливонскими епископами «неофитов» от нападений язычников, см.: Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым (далее — АИ). СПб., 1836, т. I, № 14, а в грамоте 1227 г. тот же папа выражал свою радость по поводу того, что русские якобы готовы принять католическую веру, см.: *Documenta Pontificum Romanorum* (далее — DPR) *historiam Ucrainae illustiantia*. Ed. A. G. Welykyj. Roma, 1953, t. I, № 4.

- ⁸ Об этих документах см. подробнее: *И. П. Шаскольский*. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л., 1978, с. 150–151.
- ⁹ *Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae genfiumque finitimarum historiam illustrantia* (далее — VMPL). Ed. A. Theiner. Romae, 1860, t. I, № 44–47; *Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej*. Lwów, 1878, t. VII, № 2; DPR, t. I, № 6.
- ¹⁰ О миссии доминиканцев см. также: *W. Abraham*. Powstaie organizacyi kosciola lacinskiego na Rusi. Lwów, 1904, t. 1, s. 77–80.
- ¹¹ *J. Dlugosz*. Annales seu cronicae incliti regni Poloniae. L. 5–6. Varsoviae, 1973, s. 266; DPR, t. I, № 9.
- ¹² См., например: *В. Т. Паушто*. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, с. 292–296.
- ¹³ Латински извори за българската история. София, 1981, т. IV, с. 51, 63–67, 74–77; *В. Н. Златарский*. История на българската държава през средните векове. София, 1972, т. III, с. 403–405.
- ¹⁴ Латински извори..., т. III, с. 6.
- ¹⁵ *J. Gill*. Byzantium and the paracy. 1198–1400. New Brunswick, 1979, p. 74.
- ¹⁶ НПЛ, с. 77–78.
- ¹⁷ О попытках миссионерской деятельности среди татар ярко говорят известные материалы миссий, отправлявшихся в Монголию в 40–50-х гг. XIII в. См.: *Джованни дель Плано Карпини*. История монголов *Гильом де Рубрук*. Путешествие в восточные страны. М., 1957. См. также: *В. Т. Паушто*. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950, с. 261 и сл.
- ¹⁸ О контактах Михаила черниговского с Римом см.: *С. Томашевский*. Предтеча Исидора Петро Акерович, незнаний митрополит руский (1271–1245) // *Analecta Ordinis sancti Basilii Magni*. Roma, 1927, t. 2, fasc. 3–4. О контактах с Римом Даниила Галицкого см.: *W. Abraham*. Powstanie..., s. 114–143; *М. Чубатий*. Західна Україна и Рим у XIII в. у своїх змаганнях церковної унії // *Записки наукового товариства ім. Шевченка*. Львів, 1917, т. 123–124; *В. Т. Паушто*. Очерки..., с. 251 и сл. О переговорах с Римом Александра Невского: *А. А. Горский*. Между Римом и Каракорумом // *Страницы отечественной истории*. М., 1993.
- ¹⁹ *В. Т. Паушто*. Очерки..., с. 255–256.
- ²⁰ *Preussisches Urkundenbuch*. Königsberg, 1882, t. I, H. 1, № 298.
- ²¹ ПСРЛ, т. II, стб. 827.
- ²² VMPL, t. I, № 123.
- ²³ *Preussisches Urkundenbuch*. Königsberg, 1909, t. I, H. 2, № 1–7.
- ²⁴ *Liv*, — *Est und Kurlandisches Urkundenbuch*. Reval, 1853, t. I, S. 440–441.
- ²⁵ VMPL, t. I, № 149.
- ²⁶ *Pomniki dziejowe Polski*. Warszawa, 1970, ser. II, t. VIII, s. 113–114, 116–117.

- ²⁷ Regwsta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Prahae, 1872, p. II, v. 1, № 71, 271. См. также послание его ближайшего советника Бруно, еп. оломоуцкого папе Григорию X — Regesta... Praage, 1873, p. II, v. 3, № 845.
- ²⁸ Alexandra. Vyd. V. Vazny. Praha, 1963, s. 117–118.
- ²⁹ См. в этом источнике о Елизавете Тюрингской, которая «много бе послужи Богови по муже своемь и святоу нарицают» (ПСРЛ, т. II, стб. 723), о католическом храме Троицы в Сандомире — «церкви бжше в городе том камена велика и предивна, сияюще красотою» (Там же, стб. 853).
- ³⁰ Ю. К. Бегунов. Памятник русской литературы XIII в. «Слово о погибели русской земли». М.; Л., 1965, с. 175–176.
- ³¹ См. рассказ того же источника о немецком рыцаре «Андреяше», посетившем Александра как некогда царица Савская Соломона (Ю. К. Бегунов. Памятник русской литературы..., с. 161–162).
- ³² См. в житии Довмонта о том, как Александр Невский и Довмонт ходили в походы, «побеждая страны поганья — Немець и Литву, Чюдь и Корелу» (В. И. Охотникова. Повесть о Довмонте. Л., 1985, с. 192), а также запись Новгородской Первой летописи о захвате польским королем Казимиром Вольни в 1349 г. — «и много зла крестианом сотвориша, а церкви святыя претвориша на латынское богумерзькое служение» (НПЛ, с. 361).

Н. С. Ганцовская
(Кострома)

Русский литературный язык в его соотношении с другими формами национального языка: Костромской региолект

Древнейшие памятники письменности русского языка строились на основе первого письменного языка славян — старославянского (иначе древнеболгаро-македонского, древнецерковнославянского) языка, который в результате непрерывавшегося употребления и развития на Руси пропитывался русскими, восточнославянскими элементами и в котором удельный вес церковнославянизмов неуклонно снижался. вследствие этого к концу XVII в. — началу Петровской эпохи — создались предпосылки для оформления собственно русского литературного языка на живой национальной основе¹. Эволюционное развитие русского литературного языка продолжалось и далее, и в первой половине XIX в., в пушкинскую эпоху, завершилось созданием современного русского литературного языка, в котором гармонично сочетаются книжно-литературная (старославянская) и народно-разговорная (русская) стихии. Это традиционная точка зрения многих выдающихся славистов, как русских, так и зарубежных, на происхождение и дальнейшую судьбу русского литературного языка. Однако в ней имеются определенные противоречия, касающиеся вопросов о роли, удельном весе и месте церковнославянизмов в донациональный и национальный периоды развития русского литературного языка².

Противоположную точку зрения высказывает А. Кречмер: «период с 988 г. по XVII в. является лишь предысторией русского литературного языка, а сама эта история начинается с XVIII в.»³. Это языковая «ничейная» полоса, после чего наступает эпоха влияния западноевропейских языков с их сложившимися моделями литературных языков в письменной и устной форме⁴.

Таким образом, на протяжении веков русский литературный язык складывался на основе взаимодействия старославянского языка и живых русских разговорных элементов, идущих от русской разговорно-диалектной базы (вначале Ростово-Суздальских, отчасти Новгородских земель, затем расширившейся за счет

включения южнорусских территорий). Академик В. В. Виноградов, говоря о достоинствах русского литературного языка, определил его своеобразие, которое заключается в том, что он «живет и эволюционирует в тесном взаимодействии с живыми народными говорами. Даже в те периоды исторического развития, особенно с XIII по XVI в., когда русский литературный язык опирался на книжно-славянскую речь как на базу высоких стилей, — и тогда его связи с устным „просторечием“ были достаточно крепкими». Именно многодиалектный состав национального русского литературного языка и творческое объединение в нем общеславянских и старославянских элементов с народными восточнославянскими «обусловили», по мысли В. В. Виноградова, «поразительное богатство общерусского словаря, необычайное разнообразие экспрессивных красок и стилистических оттенков русской литературной речи», а «взаимодействие всех областных разноречий (тут Виктор Владимирович цитирует А. С. Будиловича. — Н. Г.) в выработке нашего образованного языка составляет важное его преимущество перед другими языками, имеющими более узкую диалектную базу»⁵.

Из всего круга вопросов, касающихся определения специфики и границ русского литературного языка остановимся на определении места литературного языка в языковой ситуации одного региона, а именно в пределах современной Костромской области. Мы рассмотрим проблемы соотношения литературного и других форм национального языка: территориальных и социальных диалектов, в том числе арго, жаргонов, профессиональной лексики, просторечия и иноязычных влияний.

Данные вопросы были в центре внимания нескольких поколений исследователей и собирателей народной речи костромского края, в основном непрофессионалов, действовавших индивидуально или по заданию какой-либо организации, позднее академических научных учреждений: Общества любителей российской словесности, Второго отделения по языку и словесности Императорской академии наук, Костромской архивной комиссии и др. В записях костромских говоров, известных с начала XIX столетия, содержались слова, выражения, тексты различной протяженности, отражающие генофонд русской речи. Из дореволюционных источников наиболее полное собрание костромской диалектной лексики содержится в знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля, вобравшем в себя также данные «Опыта областного великорусского словаря» 1852 г.: всего 783 слова с пометами *кстр.*, *чухл.*, *нерехт.*, *кологр.* (из них только пя-

тая часть находится в Опыте). Часть лексики, характерной для говоров Костромской области, в Словаре В. Даля не имеет географической пометы или имеет пометы говоров соседних регионов, а также наречий северного и восточного.

Среди слов с пометой *кстр.* в Словаре В. Даля есть немало количество арготической лексики с пометами *жгонск.* или *офенск.* Это тайные профессиональные языки ремесленников-шерстобитов — «жгонов» (и сейчас этот язык частично сохранился в Макарьевском и Мантуровском районах Костромской области) и продавцов-разносчиков мелкого товара «офеней»-коробейников (язык их, сохранившийся в записях XIX в., уже исчез). Вот примеры «жгонского» языка из Словаря В. Даля (на кафедре русского языка Костромского педуниверситета в составе картотеки будущего Костромского областного словаря имеется собрание «жгонской» лексики, в основном совпадающей по составу, форме и значению с далевским): *бойка*, *боек* 'род колотушки, которой шерстобит бьет по струне смычка'; *еркнуть* 'стегнуть, хлестнуть, ударить'; *упаки* 'сапоги из белой кожи' (в картотеке КОС — 'валенки'); *сумарь* 'хлеб'; *зebritь* 'вглядываться, всматриваться' и др. Особенно широко представлена лексика по теме «Человек», есть названия животных, дворовых построек, грибов, термины ремесел и промыслов, прилагательные, глаголы, наречия: *хрушкий* 'крупный', наречия *олонясь*, *оновдысь*, *сиверно*, *опосля*, *третення*, *тамока*, *туточки*, глаголы *побывишиться* 'умереть', *косыриться* 'дуться'; названия грибов, ягод: *боровик*, *коровяк*, *фетюга* 'свинushка', *журавиха* 'клюква'; разнообразные названия брюквы: *бакланка*, *бушма*, *бухма*, *галанка*, *галаха*, *ландушка*, *ланда*; названия ватрушек и пирогов: *казулька*, *копытице*, *кулейка*, *кулички*, *кумянга*, *ишишуга* и др.⁶ Большой интерес к народному костромскому слову проявляли писатели, связанные с костромским краем. Они записывали и коллекционировали народную речь, а затем использовали ее как творческий материал для своих произведений. Так, А. Н. Островский в дневниковых записях, письмах, «Материалах для словаря русских народных говоров»⁷ запечатлел немало образцов костромской речи. В его рукописных «Материалах» их заключено более ста, причем с лексикографической обработкой. Сам писатель мыслил свою работу как дополнение к Словарю В. Даля. В пьесах Александра Николаевича также встречаются костромские слова и выражения (их «двойники»-оригиналы имеются в его личных записях диалектной речи). Таковы слова *подзаборник*, *гора*, *жалеть*, *тысячник* и др. В пьесе «Без вины виноватые» Кручинина спрашивает: «Что такое подзаборник?» Мужик отвечает:

«Ребенок подкинутый, брошенный к чужому крыльцу». Это толкование буквально совпадает с характеристикой слова в «Материалах» с пометой *бранное* и синонимом «подкидыш». В «Бесприданнице» слово *гора* обозначает «берег», в «Невольницах» *жалеть* употреблено в значении «любить», в «Последней жертве» *тысячник* имеет то же значение, что и в «Материалах»: «мужик, считающий свой капитал тысячами». Особенно много костромских областных слов в «Снегурочке»: *рядина, запон, коты, мокрехвостка, кучиться, повесть, овин, статочное дело, тишком, чу* и др.

Н. А. Некрасов, продолжая пушкинские традиции, вписывает народные слова и выражения во многие свои произведения, связанные с костромским краем. Так, в «Коробейниках», начиная с посвящения, почти в каждой строчке встречаем диалектные слова-костромизмы: *Как с тобою я похаживал по болотинам вдвоем, Ты меня по часту спрашивал, Что строчишь карандашом?; Выди, выди в рожь высокую! Вот и пала ночь туманная, Ждет удалый молодец. Чу, идет! — Пришла желанная* и др.

Во второй половине XIX — начале XX вв. особенно широко велся сбор этнографических и фольклорных материалов, усовершенствовались методы изучения диалектов. В 1895/96 г. при Отделении русского языка и словесности РАН был создан диалектологический центр, составлены Программы для собирания особенностей народных говоров, а в 1903 г. по инициативе А. А. Шахматова была образована Московская диалектологическая комиссия (МДК). В Трудах МДК помещались исследования и о костромских говорах. Так, в 1917 г. была опубликована статья видного деятеля МДК Н. Н. Соколова «Акающие говоры костромской губернии»⁸, где было охарактеризовано это уникальное явление и определено его место в диалектном членении русского языка. Автор располагал многочисленными анкетными материалами, трудами костромских краеведов, в частности Ф. Покровского, сам выезжал для обследования чухломских говоров. Загадке акающего костромского острова, охватывающего территорию нескольких уездов (теперь районов Чухломского, Солигаличского, отчасти Галичского и Буйского), было посвящено также исследование активного деятеля Костромского научного общества Н. Н. Виноградова «Причина и время возникновения аканья в Чухломском крае» (Петроград, 1918). При разработке и поныне дискуссионного вопроса, вынесенного в заглавие статьи, точка зрения костромского краеведа занимает не последнее место. Свою лингвистическую деятельность Н. Н. Виноградов, уроженец села Шунги, что в семи километрах от Костромы, сын священника, сельский учитель, че-

ловек многогранных способностей и увлечений, начинал с благоговения А. А. Шахматова. В 1904 г. он издал работу «О народном говоре Шунгенской волости Костромского уезда»⁹, редкий и чрезвычайно ценный пример монографического описания системы говора селений, расположенных на месте бывшего мерянского стана. Многие из описанных краеведом явлений уже исчезли, другие сохранились лишь в наиболее удаленных от Костромы архаических северо-восточных говорах. Вот небольшие цитаты — образцы народной речи из работы Н. Н. Виноградова, дающие представление об особенностях говора Шунги: *В городе, брат, не то, што в дереуне, што шаг ступил, то и из кармана; Зиму-то зимьскую всю за станом просидишь, а летом — то картофей, то синокос, то жнива, так век жиучи и не побываеш не де; Дуню братья унимали, Дуне вуоли не давали: «Полно, Дунюшка, уймиса. С гороцким ты не водиса; Гороцки — воры такие, Надают славы худые!» — «Худой слаушки достану, Гороцкова любить стану!»*. Социальным диалектам посвящена его статья «Галивонские алеманы. Условный язык галичан» (Петроград, 1915). Его широко известное среди фольклористов и этнографов исследование «Народная свадьба в Костромском уезде» (Кострома, 1917) представляет большой интерес и со стороны отраженных в ней устно-поэтических и диалектных особенностей языка. В многочисленных трудах других деятелей КНО (В. Смирнова, Китициной, М. Виноградова, Розепина, Казариновых, Антифеева и др.) также содержится немало ценного материала, характеризующего народно-разговорную речь разных регионов костромского края.

Говоры на территории Костромской области, расположенной в основном на землях бывшего Ростово-Суздальского княжества, в целом едины, основные их особенности как части севернорусского наречия оформились уже к XIV–XV вв.: это говоры центрального типа, здесь складывались основные черты литературного языка. Только северо-восточные говоры Костромской области, некогда исторически связанные с новгородскими говорами, имеют черты периферийных говоров: цоканье, [л] европейское, [у] неслоговое на месте [л] на конце слова и перед согласным, мягкое [ц] и др. Как уже упоминалось, выделяются говоры междуречья Костромы и Унжи (акающий остров), которые в основном по особенностям фонетики признаются среднерусскими. Обследование костромских говоров во второй половине XIX — начале XX вв. создает достаточно определенное представление о народных говорах костромского региона, позволяет судить о месте их в диалектном членении русского языка, их ареальных связях, ближних и

дальних, в том числе и с другими языками, о их взаимоотношениях с литературным языком и внелитературными образованиями.

Данные о пользовании языком в различных языковых ситуациях, в разных социальных слоях и группах важны для определения вопросов этногенеза и особенностей функционирования национального языка, а в синхронном плане, пропущенные через призму сознания, они дают представление и о типах этноса и народного самосознания в том или ином регионе.

В широком смысле слова можно говорить о наличии костромского региолекта в Костромской области как части российского северо-восточного региона, относительно малоудаленного от Москвы. Этот региолект включает в себя литературный язык и внелитературные образования: территориальные диалекты, просторечие, жаргоны, профессиональную речь в плане народной терминологии. Костромской региолект может быть противопоставлен, например, соседним с ним региолектам: северному (к северу от Твери, Ярославля, Череповца) и северо-западному (Тверская, Псковская, Новгородская, Ленинградская, Мурманская области)¹⁰. Доминирующую роль в региолекте играют севернорусские диалекты. Костромские территориальные диалекты, несмотря на многочисленные социальные потрясения последних десятилетий, изменение демографического облика села и другие явления, живы, многообразны и в большой степени сохранили свои традиционные черты¹¹. Причем с перемещением масс населения из деревни в город, костромская городская речь (областного и районных центров и др.) стала представлять собой цветистый калейдоскоп разнообразных речевых средств, где территориальные вкрапления разного рода, ассимилированные в большей или меньшей степени, играют главную роль. Устная форма литературной речи уроженцев Костромской области характеризуется заметной диалектной окраской: сохранение оканья, еканье, рубленный слог, своеобразная северная интонация фразы и слова, утрата интервокального йота (*делаэт, большаа*), губно-губное произношение междугласного *в* (*большоо, Петроу-Уоткин*) и другие, не только фонетические черты: *ложить, красивее, без пять десять, скоко время? сапогоф-то* и т. д. Вот некоторые наблюдения над костромским региолектом — извлечения из программ Костромского государственного радио, прозвучавших 29 ноября 1996 г. (оставляем в стороне типично костромские интонации в беседе корреспондента радио и профсоюзного деятеля областного масштаба): *мноф (вновь) прошли выборы, жизненно уромня, стабільну деятельность, бюджетно сферы, анэргореасурсы, веарнуть деньги;* —

*Што претпринято ф последние время?; соглаэние, правоое обеспе-
ченные, роботники проой службы. 1 февраля 1996 г. — выступление
по радио видного общественного деятеля, бывшего редактора об-
ластной газеты, теперь председателя Союза ветеранов: дерзось, са-
мотверэньсь, Героеф Советка Союза, сталинградско фронта; тогда
же — из речи (в основном литературно выдержанной) обществен-
ного деятеля из г. Кологрива: более глужже понимать, более лучше.*

Активное владение литературным языком в Костромской об-
ласти свойственно большинству населения, но, как видим, с опре-
деленными издержками. Сельские жители между собой говорят
на местном диалекте, а с «городскими» разговаривают несколько
иначе, но билингвами их назвать трудно: чаще всего они пользует-
ся усредненным-культурным диалектом (или региолектом, ин-
тердиалектом; полудиалектом по В. М. Жирмунскому). Вряд ли
сейчас можно найти в Костромской области «чистый диалект», в
то же время настоящим «правильным» языком владеют немно-
гие. Для данной речевой ситуации сегодня вполне применимы
слова В. М. Жирмунского о соотношении диалектов и литератур-
ной речи в довоенной Германии: «...настоящий „неиспорчен-
ный“ диалект... на самом деле давно уже представляет научную
фикцию»¹².

На фоне дихотомии литературный язык — территориальные
диалекты остальные составные части костромского региолекта
маргинальны. Почти исчезли тайные профессиональные языки: в
наше время можно говорить лишь об остатках арго шерстобит-
тов-жгонов в немногих районах: относительно хорошо, но в пас-
сивном запасе говоров, сохранилась народная лексика льнопря-
дения и ткачества (повсюду), рыболовства, уникального ювелир-
ного промысла в Красносельском районе.

В последнее время язык разных возрастных групп все более
дифференцируется по степени проницаемости для территори-
альных и социальных диалектов, иноязычных влияний. В речи
молодежи все менее ощутима костромская диалектная окраска,
все более активизируется англизированный слэнг. Впрочем, и в
официальной городской костромской речи: рекламе, вывесках,
торговых ценниках — бросается в глаза обилие иностранных слов
и непонятных образований: Центрум, Пале, Элитар, Эридан, Эк-
ми-люкс, Экспо и др. Однако, как кажется, у последних, особенно
в провинции, нет большого будущего.

Наиболее устойчивыми диалектными чертами, характеризую-
щими костромской региолект как часть определенной истори-
ко-культурной зоны¹³, оказались те вторичные диалектные при-

знаки, которые формируются на стыке севернорусских и среднерусских говоров, так как границы последних неуклонно расширяются в направлении с юга на север. Близки к среднерусским владимирско-поволжским говорам говоры западных костромских территорий, в особенности Красносельского и Нерехтского районов: они заселены выходцами из ростово-суздальских земель. Не раскрыта еще история заселения междуречья Костромы и Унжи, этногенез его жителей — носителей аканья, но, бесспорно, разгадка этнической истории Солигаличско-Чухломского края связана с особенностями его языкового комплекса. Как сказал А. С. Герд, во многих случаях понятие территориального диалекта как самой мелкой ареальной разновидности языка может быть коррелятом микроэтнического узла¹⁴. Таков, например, шунгенский говор вблизи Костромы, оригинальные черты которого во многом субстратного происхождения: Шунга расположена на месте бывшего мярянского стана.

Таким образом, комплекс языковых черт на территории Костромской области можно признать относительно единым цельным образованием, в котором доминирующую роль играет литературный язык, но позиции территориальных диалектов еще сильны. Они поддерживают основные общерусские тенденции развития русского языка, усиливают и укрепляют демократическую базу русского литературного языка.

Примечания

- ¹ В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1965, с. 30.
- ² См.: А. А. Шахматов. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941; А. И. Соболевский. История русского литературного языка. Л., 1980; С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946; В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения, образования и развития древнерусского литературного языка // IV Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1958; Б. О. Унбегаун. Русский литературный язык: Проблемы и задачи его изучения // Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971 и др.
- ³ А. Кречмер. Актуальные вопросы истории русского литературного языка // Вопросы языкознания. 1995, № 6, с. 96.
- ⁴ А. В. Исаченко. Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов? // Вопросы языкознания. 1958, № 3; Б. А. Успен-

- ский. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983, с. 15.
- ⁵ В. В. Виноградов. Русский язык в современном мире // Будущее науки. М., 1970, с. 366.
- ⁶ В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978, т. 1–4.
- ⁷ А. Н. Островский. Материалы для словаря русского народного языка // А. Н. Островский. Полн. собр. соч., т. 13.
- ⁸ Н. Н. Соколова. Акающие говоры Костромской губернии: Труды МДК // Русский филологический вестник. Пг., 1917, т. 77.
- ⁹ Н. Н. Виноградов. О народном говоре Шунгенской волости Костромского уезда. СПб., 1904, ч. I. Фонетика.
- ¹⁰ О культурно-исторических зонах, типах региолектов см.: А. С. Гердт. Введение в этнолингвистику. СПб., 1995, с. 13.
- ¹¹ Н. С. Ганцовская. Особенности говоров Костромской области. Кострома, 1992.
- ¹² В. М. Жирмунский. Немецкая диалектология. М., 1956, с. 574.
- ¹³ А. С. Гердт. Введение в этнолингвистику...
- ¹⁴ Там же.

В. Д. Юдин
(Московская Духовная академия)

Брестская Уния в русской историографии XIX–XX веков

Как заметил историк данной Унии М. О. Коялович, она «всегда была спорным предметом как в жизни, так и в науке». Спорна и ее номинация. Мы привыкли называть ее Брестской Унией. Так ее именуют учебники и популярные издания. Однако имеются и другие названия.

Николай Бантыш-Каменский, первый исследователь проблемы Унии в XIX в. в русской историографии, в 1805 г. издал в Москве книгу «Историческое известие о возникшей в Польше Унии» (за которую получил, между прочим, от государя бриллиантовый перстень). М. О. Коялович назвал свой двухтомный труд «Литовская церковная Уния (1859–1862)». В 40-х гг. XIX в. была опубликована магистерская диссертация Н. И. Костомарова «Уния в Западной России», а в магистерской диссертации В. З. Завитневича («Палинодия Захария Копыстенского...», 1883 г.) Уния была названа Литовской церковной Унией. Точно так же называет ее и протоиерей Константин Зноско в известной книге, изданной в Варшаве в 1933 г. Историки С. М. Соловьев, митрополит Макарий (Булгаков), протоиерей Георгий Флоровский, А. Карташев именуют это событие просто Унией.

Как нам представляется, терминология, номинация носит принципиальный характер. Называющие Унию просто Брестской Унией считают ее более или менее единовременной акцией, совершенной в Бресте в 1596 г. или около этого года. Другие, именующие ее Литовской церковной Унией, как, например, В. З. Завитневич, полагают, что «...такое крупное и такое сложное историческое явление, каким, бесспорно, была Литовская церковная Уния, не могло совершиться за один, так сказать, прием: сложный план Унии не мог сразу реализоваться в одном каком-нибудь акте; а, напротив, реализация его должна была совершиться посредством множества последовательно выступавших отдельных актов»¹.

Итак, мы полагаем, что название Унии связано с проблемой ее происхождения. Разные мнения о происхождении Унии сводятся, в основном, к двум версиям. По одной версии, это событие неожиданное, случайное, антиисторическое, результат личных расче-

тов и произвольных действий иерархии. Как писал Д. Зубрицкий, преподаватель Казанской Духовной академии, в предшествовавшей Унии «почве было гораздо более зародышей для явлений, совершенно противоположных тому, каково было торжество... латинства». К примеру, «Унии предшествовало одно очень замечательное событие на юге России, показывавшее, как далек был народ православный от самого благовидного служения латинству, — а именно: борьба православных с попытками Латинского правительства и духовенства ввести в Русскую Церковь новый календарь. Причины возникновения Унии, — продолжает автор, — скрывались не столько в повременном ходе событий, с исторической необходимостью приводящих всегда к определенным последствиям, сколько в ткани явлений местных и временных», к которым он относит: во-первых, «расстройство церковного управления, в силу произвола светской власти и суда над православным духовенством», т. е. автор имеет в виду пресловутые права патроната и подавания, когда, к примеру, «ротмистр» в награду за военные подвиги получил кафедру Полоцкую в 1588 г. (речь идет о Нафанаиле Селицком), во-вторых, «упадок образования» и, в-третьих, «повреждение общественной нравственности, прежде всего иерархии, затем — клира и, наконец, прихожан»².

По другой версии, Уния — явление исторически обусловленное всем ходом прежнего бытия Православной Церкви в Литве со времен династической Унии Литвы и Польши в конце XIV в. Основоположником такой теории явился профессор Духовной академии Санкт-Петербурга второй половины прошлого века М. О. Коялович (1828—1891), автор названного выше двухтомного труда. «Польша, — пишет он, — с первых дней своего соединения с Литвою поставила себе как бы задачею всей своей исторической настойчивостью преследовать эту цель во все последующие времена. Преследовала двумя средствами: Униями гражданскими и Церковной Унией. При чем последняя должна вести народ к латинству, т. е. постоянно видоизменяться — удаляться от православия и приближаться к латинству»³.

Ягайло в грамоте, данной Виленскому латинскому епископу, писал: «Мы рассудили, постановили, обещали, обязались и по принятии святых тайн дали клятву — всех людей народа литовского обоего пола, в каком бы они ни были звании, состоянии и чине, к вере католической и святому послушанию Римской Церкви привести, притянуть и всеми способами присоединить, какой бы секты и различия они ни были»⁴.

Поэтому, по Кояловичу, данная Уния не была продолжением Флорентийской Унии, она возникла раньше, независимо от папы, имеет домашние, внутренние корни и подчинена была национальным, польским интересам. Недостаточно объяснять успехи Унии одной или несколькими ближайшими причинами, скажем, лукавством иезуитов, нравственной распущенностью иерархии или недовольством и предубеждением против Патриарха Иеремии II.

Ведь и Сигизмунд II (1548–1572) в речи на закрытии Люблинского съезда в 1569 г. торжественно заявил: «Теперь... хочу я подумать о восстановлении и единстве веры, единства религиозного, т. е. господства единой Римской Церкви»⁵.

Историк XX в. протоирей Константин Зноско, вслед за Кояловичем, повторяет, что «еще до Флорентийской Унии в Литовско-Польском государстве выдвигалась идея единения Западно-русской Церкви с Римом. Однако идея эта пока не могла быть осуществимой по той причине, что Западно-русская Церковь была подчинена московским митрополитам»⁶.

Протоирей Зноско, как и Коялович, полагает, что униональное значение Брестского Собора весьма незначительно. Все было решено до Собора, на Соборе Уния не была заключена, а лишь объявлена Папская Грамота об утверждении Унии. Другими словами, Синодальный Собор 1596 года был лишь прорывом той злокачественной опухоли, вирус которой был занесен еще в 1386 г. союзом Ягайлы с Ядвигагой.

Вернемся, однако, в XIX век. В 1864 г. вышла работа Н. И. Костомарова в трех очерках «Подготовка Церковной Унии. Бунт Косинского и Наливаика. Уния». К этому времени уже был опубликован двухтомник Кояловича. Несмотря на это, труд Костомарова самостоятелен и, вероятно, монография его предшественника была ему неизвестна (так, у Костомарова неверна дата смерти митрополита Рагозы: 1600 г., вместо 1599 г.; не точна дата смерти кн. К. К. Острожского: 1606 г., вместо 1608 г.). Костомаров, независимо от Кояловича, пришел к такому же выводу, что Уния была стратегической целью Польши, начиная с Городельского сейма (1418), «где завершился первый акт соединения обеих стран» и было «заявлено, что разноверие признается вредным для цельности и безопасности Государства»⁸.

По Костомарову, Уния — событие тоже не случайное, а обусловленное, если употребить термин XX в., т. н. вестернизацией Литвы в XV–XVI вв. «Воспитываемые иностранцами... русские привыкли скоро видеть во всем, что составляло сущность их ста-

рой умственной жизни, противоположность просвещению. Покинуты были родные обычаи, русский образ домашней жизни; изменялся и забывался родной язык. Оставлялась затем своя русская православная вера. По стечению обстоятельств, и она не сильна была устоять против рокового напора чужой цивилизации, ломавшей все русское, особенно если на нее покусятся какая-нибудь из Западных вер — будь то католичество или протестанство»⁹. Примечательно то, что в момент выхода сочинения Кояловича оба западноросса — Костомаров и Коялович — жили и творили в Санкт-Петербурге. Коялович был бакалавром кафедры Русской церковной и гражданской истории в Духовной академии, а Костомаров блистал на кафедре русской истории в Университете (1859–1862), лекции которого оканчивались овацией, а его самого выносили на руках. Оба были славянофилами, но разных оттенков. Если основной мыслью Кояловича была необходимость теснейшего внутреннего объединения западных окраин с русским центром под знаменем святых Кирилла и Мефодия (по Пушкину: «Славянские ль ручьи сольются в русском море»), то Костомаров стоял за федерализм славянских земель с сохранением национальных автономий и звался «сепаратистом». Поэтому молодого бакалавра Кояловича мы не видим в кругу единомышленников шумно популярного профессора Костомарова. Вернемся, однако, к нашей теме.

Еще раньше до своей трилогии Костомаров обращался к Унии. В «Автобиографии» он вспоминает, что в 1842 г. подготовил в Харьковском университете магистерскую диссертацию «О причинах и характере Унии в Западной России», которая, на основании рецензии профессора Петербургского университета академика Н. Г. Устрялова, министром народного просвещения С. С. Уваровым была приговорена к сожжению. Мы не смогли ознакомиться с этой казенной работой (она, по мнению комментатора «Автобиографии», сохранилась только в трех экземплярах). Но сам автор диссертации назвал три причины, на которые указал правящий архиерей знаменитый проповедник Иннокентий (Борисов), почему труд Костомарова не может быть допущен к защите: во-первых, соискатель указал на властолюбие и тяжелые поборы, которые брал с русских Константинопольский Патриарх; во-вторых, «напомнил о безнравственности духовенства в Западной Руси пред Унией»; в-третьих, «Уния принесла отрицательную пользу» православию именно потому, что возбудила против себя оппозицию, которая произвела Петра Могилу и всю преобразовательную реформу¹⁰.

Классик русской церковной историографии, митрополит Макарий (Булгаков) в целом поддерживает версию Кояловича и др. Он пишет, что «Уния есть событие, которое можно назвать результатом всей предшествующей жизни западно-русской митрополии, а именно — результатом всех действий латино-польского правительства против этой Церкви, всех усилий литовских иезуитов и др. ревнителей папства...» Чрез право патронатства и подавляя литовско-польские государи «привели иерархию и всю паству к совершенному нравственному изнеможению и расстройству». Архипастыри считались таковыми «только по имени и одежде, а в жизни не были такими владыками и способны были лишь жертвовать во имя веры не всем, самую — верою»¹¹.

В отличие от Костомарова и др., подготовку Унии Макарий начинает с 1458 г., с отделения Киевской митрополии от Московской. Главными действующими лицами называет Константинопольских патриархов, польских королей, русское и латинское духовенство и особенно иезуитов Литвы и Польши.

Патриархи, во-первых, не радели о Западно-русской церкви и допустили ее до внутреннего расстройств, и, во-вторых, своим корыстолюбием отталкивали от себя епископат и мирян и «заставили их искать себе другого верховного архипастыря. Короли же так злоупотребляли своим правом верховного патронатства над православной церковью, что архипастырей паства не признавала за своих пастырей, соблазнялась их поведением и жизнью и иногда называла даже... не святителями, а сквернителями»¹². Сигизмунд III (1567–1632) всех превзошел: он «был самым главным, если не главным виновником Унии»¹³, — писал Макарий. Весьма преуспели в своей деятельности иезуиты — не только проповедями, диспутами, сочинениями, но еще более — своими советами и внушениями королю (духовником короля был Скарга). «Иезуиты, — считал Макарий, — и во главе их знаменитый Скарга, должны быть названы главными виновниками церковной Унии в Литве». Макарий называет Унию «насильственным и самым горьким плодом тех горьких условий, среди которых протекала жизнь западно-русских митрополий»¹⁴.

Но, может быть, прав историк Василенко, утверждавший, что Макарий «не вполне отрешился от, так сказать, волонтаристского объяснения Унии», ибо «у него личный элемент в деятельности отдельных представителей Унии занимает видное место»¹⁵.

С. Н. Соловьев причину Унии видит в стремлении правителей Польши присоединить Литву — чрез преодоление «неудобства, вследствие различия исповеданий»¹⁶, иначе говоря, он разделяет

мнение Кояловича о долговременных политических, национальных мотивах Унии. Церковная Уния, дескать, скрепит Унию государственную, но при одном условии, «если бы эта Уния совершалась спокойно, без насилия»¹⁷.

Иезуиты же указали на Унию и насильственные средства к ней, а именно на лишение выгод за упорство в отцовской вере.

Соловьев писал: «Совершилась Уния, или, лучше сказать, разделение Западно-русской церкви на Православную и Униатскую»¹⁸. Так Уния обратилась в свою противоположность. Соловьеву вторил о. Георгий Флоровский: «Уния в действительности была и оказалась расколом. Она расколола Западно-русскую церковь, разъединила иерархию и народ. Это было, прежде всего, клерикальное движение. Уния была делом епископов...»¹⁹. Так же писал и церковный историк А. В. Карташев: «Уния стала хронической болезнью иерархии Западно-русской церкви по мотивам политического удобства и всяких выгод». Епископат помог правительству отделить Киевскую митрополию от Москвы, что составляло идею Унии²⁰. То есть в вопросе времени зарождения Унии он следует за Макарием, который указывал на 1458 г.

Идея Унии, по Карташеву, то замирала, то вновь воскресала, пока не явились иезуиты. По мнению некоторых историков, Уния для Польши была чревата трагическими последствиями. Если она, по мнению Соловьева, разделила Церковь, а, по Флоровскому, расколола иерархию и народ, то, как указывал протоиерей Константин Зноско, «Уния — одна из причин падения Польши»²¹. А С. М. Соловьев еще раньше говорил, что «Уния ускорила падение Польши». Эти слова великого историка звучат предостережением нашим соседям.

Примечания

- ¹ В. З. Завитневич. Палинодия Захария Копыстенского и ее место в истории западно-русской полемики XVI и XVII вв. Варшава, 1888, с. 3.
- ² Д. Зубрицкий. Начало Унии в Юго-Западной России // Православный собеседник, 1858, май, с. 56.
- ³ М. О. Коялович. Литовская церковная уния. СПб., 1859, ч. 1, с. 3.
- ⁴ Там же, с. 3.
- ⁵ М. Малышевский. Западная Русь в борьбе за веру и народность. М., 1903, с. 150.
- ⁶ Прот. Константин Зноско. Исторический очерк Церковной Унии. М., 1993, с. 74.

- 7 *Н. И. Костомаров*. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. СПб., 1903, кн. 1, т. 1–3, с. 693.
- 8 Там же, с. 620–621.
- 9 Там же, с. 633.
- 10 *Н. И. Костомаров*. Автобиография. Киев, 1992, с. 111.
- 11 Митрополит *Макарий* (Булгаков). История Русской Церкви. СПб., 1879, т. 9, с. 478.
- 12 Там же, с. 682–683.
- 13 Там же, с. 685.
- 14 Там же, с. 689.
- 15 Уния // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб., 1902, т. 34а.
- 16 *С. Н. Соловьев*. Сочинения. Кн. 5. История России с древнейших времен. М., 1990, т. 10, с. 358.
- 17 Там же, с. 360.
- 18 Там же, с. 396.
- 19 Прот. *Георгий Флоровский*. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991, с. 38.
- 20 *А. В. Карташев*. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1991, т. 1, с. 610.
- 21 Прот. *Константин Зноско*. Исторический очерк..., с. 72.

В. Я. Петрухин
(Москва)

«Из варяг в греки»: начало исторического пути России

В начале древнейшей русской летописи — «Повести временных лет» говорится: «Был путь из варяг в греки и из грек по Днепру, и верховьях Днепра волок по Ловати, и по Ловати можно войти в Ильмень озеро великое, из того же озера потечет Волхов, и втече в Озеро великое Нево, и устье того озера вниидет в море Варяжское. И потому морю идти до рима, а от Рима придти по тому же морю ко Царюгороду, а от Царюгорода придти в Понт море, в него же втекает Днепр река». «Путь из варяг в греки», из Скандинавии до столицы Византии Константинополя (Царьграда русской летописи), и вокруг Европейского континента до Рима описан Нестором-летописцем в начале XII в. Это описание предвляло рассказ о начале русской истории. По летописному преданию, сам апостол Андрей Первозванный, несший проповедь христианства к северным народам, был первопроходцем на этом пути: из Константинополя он пошел по Днепру, предсказав грядущую славу Киева, и подивился обычаям новгородских славян на Волхове; далее он отправился по Варяжскому (Балтийскому) морю на запад, в Рим.

Такова церковная легенда. История свидетельствует о том, что главные, судьбоносные для начальной Руси события действительно происходили на пути из варяг в греки. Нестор рассказывает под 859 г. о том, как славяне изгнали варягов, бравших с них дань, стали управлять сами, но погрязли в племенных усобицах. Тогда в 862 г. они отправили послов за море, к варягам, чтобы призвать к себе князя, который правил бы, «судил и рядил» в соответствии с их славянскими обычаями, по договору, «ряду». Третьей судья из-за моря нужен был славянам для того, чтобы избежать бесконечных племенных распрей. На княжение согласился пойти Рюрик со своими братьями Синеусом и Трувором: они взяли с собой дружину, именуемую русью, и сели в славянских городах; старший брат Рюрик получил Ладогу, затем Новгород на Волхове, город

ильменских словен, Синеус — Беозеро в земле финского племени весь, Трувор — Изборск у славянского племени кривичей.

Это летописное повествование считалось наивным и лишенным реальных исторических корней. Сама летописная дата призвания князей была неточной — ведь Нестор описал первый поход руси на Царьград-Константинополь под 866 г., а на самом деле русь впервые осаждала столицу империи в 860 г., до призвания князей... Однако новые изыскания заставляют с большим доверием относиться к летописному преданию. Люди, называвшие себя русью, действительно стали известны уже в IX в. тем, что на своих легких судах совершали набеги на города Византии и стремились дальше, к богатствам Востока, к Багдаду. Грабежом или торговлей они получали часть своих богатств, и восточные серебряные монеты стали обычными находками в кладах на реках Восточной Европы и в Скандинавии. По данным нумизматики приток этих монет в Скандинавию усилился именно в 60-е годы IX в., когда, по летописи, варяжские князья обосновались в восточнославянских городах. Здесь дружины руси могли кормиться зимой, собирать дань и готовиться к летним походам. Недаром сами скандинавы уже в X в. называли земли Руси «Гардами» — «городами».

Своим собственным именем Русь обязана речным путям Восточной Европы. Первоначально это имя, которое носили дружины скандинавов, означало гребцов, участников походов на гребных судах. На реках Восточной Европы с их порогами и волоками непригодны были длинные корабли викингов, главной движущей силой были весла. На этих весельных судах русь и двинулась на Царьград в надежде взять город «на копье» или получить откуп «на уключину» — на каждого гребца.

В этом предприятии у руси были надежные союзники. Уже наследник Рюрика, Вещий Олег, перенесший свою столицу и имя «русь» из Новгорода в Киев, собрал для похода на Византию все подвластные ему племена славян. Для того чтобы ежегодно осуществлять такое грандиозное предприятие, в котором была задействована в той или иной мере вся Восточная Европа, необходим был устойчивый механизм как внешних, так и внутренних отношений руси — отношений с византийским миром и миром славян. Византийский император Константин Багрянородный в середине X в. описывает этот механизм: походу руси вовне, в Византию, предшествует зимнее полюдь, кормление княжеской дружины среди подвластных руси славян — древлян, дреговичей, кривичей, северян и пр. Эти славяне живут по рекам, впадающим в Днепр. Именно они весной сплавливают по этим рекам лод-

ки-однодеревки и продают их руси. Значит, между славянами и русью были установлены не просто даннические, но договорные, взаимовыгодные отношения. У славян русь получает в виде дани те товары, которые она везет в Константинополь.

Очевидно, что не только стремление к созданию «правового государства» питало новгородскую вечевую традицию — призывать князя по договору: славяне, как и варяги, стремились к богатствам Византии. После легендарного похода Олега, описанного в летописи под 907 г., русь в 911 г. заключила выгодный торговый договор с греками. Русские купцы могли 6 месяцев в году жить и кормиться в Царьграде, без ограничения покупать драгоценные товары. Не удивительно, что все три главных города на пути из варяг в греки — Новгород, Киев и Царьград-Константинополь получили у скандинавов наименование, включающее слово «град» — «город», место, где могла кормиться дружина: Новгород варяги звали Хольмгардом, Киев — Кэнугардом, Царьград — Миклагардом (Великим городом).

После победы Олега каждые 30 лет, по истечении срока договора, русь во главе славянского воинства ходила в поход на Византию. Конечно, она не обходилась и без дополнительных воинских контингентов из-за моря: скандинавские наемники получили название варягов (т. е. давших клятву верности), которое отличало их от собственно руси — варягами в древнерусской традиции стали называть всех жителей Скандинавии. Имя же «Русь» распространилось не только на славяно-русское войско, но и на все территории Восточной Европы, подвластные русским князьям.

Конечно, и Византия была заинтересована в нормальных договорных и даже союзнических отношениях с русью и варягами. Уже в X в. греки использовали этих опытных воинов в борьбе с врагами империи. В XI в. русь и варяги составили наиболее привилегированный контингент византийской армии — варяжскую гвардию, охранявшую самого императора.

Ежегодные торговые экспедиции, многочисленные походы на греков и на Восток, опыт побед и поражений, а главное — договорных отношений с Византией приближали Русь (а с ней и Скандинавию) к миру цивилизации. Княгиня Ольга первая из русских правителей совершила мирную поездку в Царьград и приняла крещение, чтобы добиться равноправных отношений Русского государства и империи. Греки, однако, не спешили признавать равноправными партнерами тех, кого они считали (и не без оснований с их стороны) «северными варварами». Уже князю Владимиру пришлось завоевывать руку византийской принцессы, за-

хватив греческий город Херсонес в Крыму. Последовавшее в 988 г. крещение открыло для Руси путь к византийской культуре. На глазах Нестора-летописца сбывалось пророчество, которое церковная легенда приписывала апостолу Андрею: в Киеве и других русских городах греческие мастера возводили прекрасные церковные здания, а в середине XI в. была построена Киевская София, собор, соперничавший по красоте со Святой Софией в самом Царьграде.

Ныне тысячелетние традиции воссоздаются — восстанавливается единство цивилизованного мира. Не случайно одним из первых мероприятий оживающего после бесконечного ремонта Государственного Исторического музея стала выставка «Путь из варяг в греки», открывшаяся 27 мая в палатах Ирины Годуновой в Новодевичьем монастыре. Естественно и то, что выставка и научная конференция, посвященная той же проблеме, проводилась при поддержке посольств Греции и Швеции (особенно хотелось бы отметить роль Шведского института в организации конференции). Экспонаты выставки отражают все разнообразие этнокультурных контактов на пути из варяг в греки — от заклепок, которыми крепились борта ладей, и варяжского оружия до монет и рукописных книг, греческих и древнерусских.

Почти одновременно, 29 мая, в Кремле, в колокольне Ивана Великого открылась выставка «Наследие варягов. Диалог культур», организованная Государственным музеем-заповедником «Московский Кремль». Обе выставки удачно дополняют друг друга. Если первая характеризует, прежде всего, саму деятельность наших предков на пути из варяг в греки, то вторая посвящена в основном высшим достижениям средневекового мастерства, традиции которого складывались на тех же международных путях, связующих Скандинавию, Русь и Византию. Драгоценные изделия в кладах, найденных по преимуществу на острове Готланд на Балтийском море, и в большом кладе, найденном в Московском Кремле, выполнены в одной технике филиграни — украшены мельчайшими шариками (зернью) и напаянными проволочками (скань). Надо признать, что и «наследие варягов» и русский клад в целом относятся к одному культурному кругу — воспроизводят византийские художественные традиции. «Диалог культур», судя по находкам в Скандинавии и на Руси, продолжался и в XI, и в XII вв., и позднее, когда на смену «пути из варяг в греки» пришли другие магистрали.

Обе выставки, в частности обилие на них археологических экспонатов, преследуют, помимо целей знакомства широкой публики

с достижениями средневековой культуры и возрождения музейной работы, еще одну цель: интенсификацию археологических исследований. Именно сейчас, при слабости законодательства по охране памятников истории и культуры и неясности земельного законодательства, под угрозой оказываются памятники археологии. Если в городах, в том числе в Москве, Новгороде и Киеве, есть некоторые возможности для постоянного наблюдения за состоянием археологических объектов, то за пределами городов эти объекты оказываются практически «бесхозными». Беспокойство вызывает судьба Гнездова — крупнейшего поселения на пути из варяг в греки, расположенного как раз между Киевом и Новгородом, под Смоленском на Верхнем Днепре. Большая часть археологических экспонатов выставки, посвященной пути из варяг в греки, происходит из этого поселения и расположенных вокруг многочисленных курганов: один из них содержал и древнейшую русскую надпись, сделанную в начале X в. кириллицей на амфоре, привезенной из Херсонеса. Большая часть гнездовских курганов и поселения еще не исследованы. Если удастся сберечь и исследовать наши памятники, удастся сберечь и тысячелетнюю культуру.

Л. В. Кузьмичева
(Москва)

Русско-турецкая война 1877–1878 годов и Сербия

В цепи событий Восточного кризиса 1873–1878 гг., включающих в себя серию восстаний и войн на Балканах, особое место принадлежит русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Война, а особенно ее итоговые документы — Сан-Стефанский и Берлинский мирные договоры, имела решающее значение для изменения политической ситуации не только самих балканских народов и Османской Турции, но и международной ситуации в целом. Известно, что Берлинский конгресс продемонстрировал изменения в расстановке политических сил «великих держав», знаменуя собой крушение старых и становление новых военно-политических блоков и союзов. Не случайно поэтому историография русско-турецкой войны насчитывает сотни томов источников и многие тысячи специальных исторических исследований. Настоящая статья посвящена сравнительно мало изученному сюжету Восточного кризиса — взаимоотношениям России и Сербии на завершающем этапе войны, когда русское командование призвало сербское правительство присоединиться к боевым действиям русской армии. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что маленькое вассальное по отношению к Турции Сербское княжество в июне 1876 г. отважно и решительно объявило войну своему сюзерену — Османской Турции. Эта отчаянная и кровопролитная война продолжалась всего четыре месяца и закончилась 18 октября 1876 г. сокрушительным поражением Сербии. Только ультиматум, предъявленный Россией турецкому правительству, предотвратил занятие турками всей территории княжества и захвата Белграда. Поражение Сербии в войне было вполне предсказуемым, если бы она не получила союзнической поддержки. Единственным союзником Сербского княжества в этой так называемой «первой сербо-турецкой войне» была Черногория. Греция и Румыния не поддержали Сербию, несмотря на предварительные договоренности. Не оправдала сербских надежд и официальная Россия, оказавшая княжеству в 1876 г. только дипломатическую, а не военную поддержку. Правда, общественное движение в России было необыкновенно активным, и в помощь борющимся сербам со-

бирались пожертвования. Около 5 тыс. русских добровольцев отправились в Сербию, чтобы непосредственно участвовать там в боевых действиях¹. В конце 1876 г. Россией была оказана и финансовая поддержка Сербии, выразившаяся в предоставлении значительного денежного займа. В конце 1876 — начале 1877 г. международная ситуация, связанная с продолжением балканского кризиса, обострилась настолько, что русское правительство пошло на крайнюю меру, решив объявить войну Османской Турции. Война началась 12 апреля 1877 г. и закончилась подписанием перемирия в Адрианополе 19 января 1878 г. Военные действия велись на двух театрах — Балканском и Кавказском. Союзниками Российской империи на протяжении всей войны были только два крошечных княжества — Черногория и Румыния. Вполне естественно было бы предположить, что с началом русско-турецкого военного конфликта к России немедленно присоединится и инициатор боевых действий 1876 г. — Сербия. Однако она не только не спешила вступить в войну, выжидая коренного перелома в русско-турецком противостоянии, но и игнорировала прямые призывы русского командования и русского императора.

Чем была вызвана такая странная сдержанность? Только ли тем, что страна была в 1876 г. обескровлена и не готова вновь вести боевые действия? Попробуем ответить на эти вопросы, опираясь на свидетельства современников и архивные материалы дипломатического характера.

В начале июня 1877 г. в ставке командования Дунайской армии русский император Александр II принял сербского князя Милана Обреновича и главу либерального кабинета, премьер-министра и министра иностранных дел, выдающегося политического деятеля Сербии Йована Ристича. Подводя итоги встречи, Ристич говорил, что хотя русские официально не заявляют об этом, но они, в особенности царь и великий князь Николай Николаевич, желают, чтобы Сербия вступила в войну, Горчаков же при этом настаивает, чтобы военные действия княжества не выглядели инспирированными Россией². Неофициально руководству Сербии советовалось присоединиться к России после того, как русская армия перейдет Дунай³. В ходе встречи князь Милан и Ристич сообщили о тяжелом положении княжества и просили денежной субсидии⁴. По выражению великого князя Николая Николаевича, князь Милан «что-то уж очень сильно напирал на затруднительное положение страны»⁵.

Ристич считал поездку успешной, ибо, с одной стороны, Россия не отвернулась от его страны, а с другой, поскольку офици-

альных обязательств нет, Сербии, возможно, удастся избежать участия в войне. От вступления в новую войну предостерегал Ристича и его друг и родственник, посланник Сербского княжества в Константинополе Ф. Христич в письме от 8 июля 1877 г., полагая, что нужны твердые русские гарантии о будущих территориальных приобретениях Сербии. «Ты скажешь, что нам обещано, что интересы Сербии не будут забыты, — писал он. — Да, мы получим Малый Зворник (деревушка на реке Дрина, на границе Сербии и Боснии. — Л. К.), а Болгария станет великой и самостоятельной, и это будет основным итогом войны...»⁶. Далее, еще больше сгущая краски, Христич писал, что эта новая Болгария поглотит Сербию.

Вернувшись из Плоешта 11 июня 1877 г., князь Милан и Ристич на следующий день на заседании Совета министров сообщили о результатах переговоров с Александром II и Горчаковым и о рекомендациях оставаться в обороне, пока российская армия не перейдет Дунай. 16 июня русские войска форсировали Дунай, но сербское правительство, совершенно удовлетворенное тем, что Россия не настаивала на участии в войне, не предпринимало никаких шагов к военным приготовлениям. Правительство было занято внутренними проблемами, связанными с проходившим в июне-июле 1877 г. в Крагуевце заседанием сербского представительного органа — Народной скупщины, в ходе работы которой проявились острые противоречия между либеральным большинством и оппозицией. Протестуя против политики правительства, поддержанной большинством членов скупщины, 26 депутатов оппозиции подали в отставку⁷ и покинули заседание, «рассчитывая этим заставить министерство удалиться или распустить скупщину»⁸. Тем не менее, после дополнительных выборов работа скупщины возобновилась, и так называемая «патриотическая скупщина» приняла предложенные правительством проекты: о продолжении чрезвычайного положения, о бюджете на 1877–1878 гг., об уплате принудительного займа, о новых налогах и пошлинах и др.

В разгар работы скупщины в Крагуевец 2 июля прибыл от главнокомандующего Дунайской армией князя Николая Николаевича полковник Катараджи, представлявший Сербию в ставке. На заседании Совета министров 4 июля 1877 г. было заслушано его сообщение о том, что главнокомандующий, посоветовавшись с императором, предлагает Сербии (в связи с тем, что русские войска перешли Дунай) двинуть свою армию к границе, объявить войну Турции и провозгласить независимость. Сообщение это произвело тяжелое впечатление на князя и правительство, которое, несмотря на

сделанные в Плоеште заявления, отнюдь не собиралось воевать. Но отказываться прямо значило потерять русское доверие и поддержку, поэтому было принято решение — направить в ставку главнокомандующего полковника Катарджи со следующими письменными инструкциями: 1) для приготовления к вступлению в войну Сербии требуется 5–6 недель (от призыва до вступления); 2) чтобы Сербия могла завершить перевооружение, ей нужен миллион рублей; 3) на военные расходы в ходе войны Сербии необходима ежемесячная субсидия в 1 млн. рублей на все время военных действий⁹. Полковнику Катарджи, отъезжающему с этими инструкциями 5 июля, было приказано настаивать на вышеперечисленном.

С 4 июля начался период почти пятимесячного активного сопротивления кабинета Ристича призывам России вступить в войну. Не пять–шесть недель, а пять месяцев понадобилось Сербии, чтобы отважиться присоединиться к России.

На протяжении этого времени русское командование не менее восьми раз обращалось к Сербии с призывом выполнить свои обещания и начать войну, в том числе сам император Александр II четырежды обращался по этому поводу к сербскому князю. Ристич же, рискуя навлечь на страну высочайший гнев, любыми способами старался оттянуть момент вступления Сербии в войну. Предлоги изобретались самые разнообразные: когда иссякла, ввиду получения русской материальной помощи, возможность ссылаться на отсутствие денег, выдвигался тезис о противодействии западных держав, затем о росте антивоенных настроений в народе и так далее. Донесения русских дипломатов, а также русских военных представителей А. Н. Церетелева и Г. И. Бобрикова из Сербии свидетельствуют, что Ристич явно погрешил против истины, заявляя в своей книге «Дипломатическая история сербских войн за освобождение и независимость», что причиной того, что страна в июле–августе 1877 г. не вступила в войну, были-де сдерживающие указания России¹⁰.

На самом деле Россия в это время не только не сдерживала Сербию, но, напротив, настаивала на ее вступлении в войну. Так, уже 14 и 15 июля прибывший в русскую главную квартиру Катарджи телеграфировал князю, что Александр II приказал министру финансов выдать Сербии миллион рублей и настаивает на том, чтобы уже через 12 дней Сербия начала боевые действия, прибавив при этом, что если это будет выполнено, то и он в будущем будет отстаивать сербские интересы¹¹.

Великий князь Николай Николаевич и генерал Игнатьев советовали Милану непременно выполнить желание царя, причем

Игнатьев добавлял, что будущность Сербии будет скомпрометирована, если она еще 12 дней останется в бездействии. Но призывы царя были восприняты с ледяным спокойствием. Было решено миллион взять, но, поскольку в депешах ничего не говорилось о ежемесячных субсидиях, а также не учитывалось заявление Сербии, что она может выступить лишь через пять-шесть недель, ничего не предпринимать до приезда Катарджи¹².

Приехавший 23 июля Катарджи еще раз изложил перед советом министров Сербии русские предложения, а также представил составленный генералом Непокойчицким план кампании, предусматривающий движение сербской армии в сторону Старой Сербии. Но сдержанному настроению министров способствовала и изменившаяся не в пользу России картина боевых действий на Балканском театре войны. К этому времени русской армией были предприняты два неудачных кровопролитных штурма Плевны (8 и 18 июля), и сербское правительство не без оснований полагало, что война будет не столь молниеносной, как ожидалось. Между тем, тянуть с ответом было опасно, так как можно было лишиться и обещанного миллиона. Поэтому 1 августа Ристич передал через русского дипломатического представителя Ладыженского, что «мобилизации еще нет, но Сербия пойдет, как только будет дан знак из нашей главной квартиры»¹².

Отмечая с удовольствием в своем дневнике 2 августа 1877 г., что «Сербия, получив от нас миллион, обещала начать наступательные действия», военный министр России Д. А. Милютин упоминает здесь же о том, что в княжество направляется генерал Ростислав Фадеев, которому разрешено отправиться «совершенно частным лицом»¹³. Перед отъездом генерал встретился с военным министром и главнокомандующим. О том, что Фадеев уезжает и что «государь не противится поездке его в Сербию, но с условием, чтобы он туда отправился совершенно частным лицом и без всякого поручения со стороны правительства»¹⁴, русское министерство иностранных дел предупредило Ладыженского, чтобы он передал об этом князю Милану. В апреле 1877 г., когда русское правительство России решительно заявило, что ничего не знает о миссии Фадеева, князь Милан, тем не менее, принял его тепло и «при прощании вручил ему Таково I степени (высший сербский орден. — Л. К.)»¹⁵. Казалось бы, теперь сербский князь должен был принять Фадеева доброжелательно. Но накануне приезда Фадеева, 6 августа 1877 г., Милан попросил Ладыженского телеграфировать в Россию, что «он желает иметь дело с официальными лицами нашего правительства, и приезд Фадеева был бы ему весьма не-

приятен»¹⁶ Это заявление князя — еще одно свидетельство нежелания Сербии торопиться с выступлением. Фадеев пробыл в Сербском княжестве всего неделю и был отозван по требованию сербского правительства¹⁷. Истинная же причина нежелания иметь дело с Фадеевым раскрывается в письме Й. Ристича Ф. Христичу от 16 августа 1877 г.: «Фадеев стремился ни больше, ни меньше как поступить к нам на военную службу, но ему было сразу и решительно отказано»¹⁸. Ристич пояснял при этом, что кандидатура Фадеева неприятна Австрии.

Итак, даже получив твердые гарантии от русского правительства, что можно не опасаться в случае военных действий австрийского противодействия, Милан уже в августе 1877 г. старался все же угодить Австрии, не обострять с ней отношения.

Для России двойственность позиции Сербии не была тайной, так как было известно, что Ристич 1 августа, отправляя телеграмму о готовности его страны выступить, одновременно в беседе с греческим представителем заявлял, что «Сербия воевать пока не намерена, а при случае займет Старую Сербию»¹⁹.

Тем не менее обещанный миллион князь желал получить как можно быстрее. Русское военное министерство решило выдать эту сумму в два срока, и первые 500 тыс. рублей были доставлены А. Н. Церетелевым в Белград уже 13 августа. На следующий день Церетелев передал князю Милану телеграмму главнокомандующего Дунайской армией о том, что «он желает знать наверняка, когда выступят сербы, которые, по утверждению Катарджи, могли начать действия две недели по его возвращении». Но и на этот раз особого рвения проявлено не было. Лишь 18 августа был передан на подпись князю планируемый «проект расходов на предстоящие военные приготовления» полученных из России денег²⁰.

За время двухнедельного пребывания в Сербии А. Н. Церетелев убедился, что никаких приготовлений к войне не делается; что «Ристич, кажется, желает, заручась средствами, выждать, когда всякая опасность минует и мечтает о конвенции»²². Несмотря на заверения князя Милана, Церетелев покидал 27 августа княжество с уверенностью, что «правительство ни в коем случае не решится на объявление Турции войны ранее марта»²³. Это известие с неудовольствием было принято Александром II²⁴.

Неготовность Сербии к войне, откровенные попытки ее правительства оттянуть момент вступления в боевые действия вызывали у части русского руководства сомнения в целесообразности военной кооперации. Так, управляющий дипломатической канцелярией при Главном штабе Дунайской армии А. И. Нелидов

18 августа 1877 г. составил докладную записку великому князю Николаю Николаевичу, в которой доказывал, что от Сербии ожидать серьезной помощи нельзя, и «если даже ей удастся организовать и двинуть свои войска, то турки их наверное разобьют, а мы даже не в состоянии вовремя ей помочь»²⁵. Главнокомандующий и сам опасался, что, вовлекая Сербию, Россия может «навязать себе такого слабого союзника, которого бы мы сами принуждены были в конце концов спасать от гибели»²⁶.

Почему же все-таки царское правительство и сам император продолжали призывать Сербию к военным действиям? В литературе прочно утвердилось мнение, что после первых неудач под Плевной русское командование рассчитывало, что вступление Сербии оттянет часть турецких войск и будет способствовать продвижению русских. Действительно, подобные расчеты существовали, но, на наш взгляд, они не были определяющими, так как надежда на успехи Сербии, как было указано выше, была невелика. Скорее всего, во всех русских призывах содержится стремление привлечь княжество к боевым операциям с тем, чтобы закрепить при заключении мирного договора его права на территориальное расширение. Это подтверждается и тем, что Александр II и главнокомандующий предложили сербскому князю начать военные операции задолго до плевенских неудач, сразу же после форсирования Дуная. Понимая, что только действительное участие Сербии в войне даст впоследствии возможность, несмотря на сопротивление Австро-Венгрии, выговорить для нее присоединение новых территорий, русское правительство торопило сербского князя. В свою очередь Австро-Венгрия, Великобритания и другие западноевропейские державы, имея в виду соображения о формальном праве Сербии на расширение в случае успешных боевых действий, старались не допустить ее участия в войне. С этой целью английский посол в Константинополе Лайард «дружески» сообщал Христичу, что даже в случае успешного исхода войны Сербия ничего не получит. Великобритания и прямо угрожала Сербии. Так, 15 августа Ладыженский телеграфировал из Белграда: «Английский агент именем лорда Дерби объявил Ристичу, что вступление Сербии в действие будет вероломством, после чего она не должна рассчитывать на добрые услуги Англии при заключении мира»²⁷. 9 сентября итальянский представитель в Белграде сообщил Ристичу, что «по справкам, наведенным его правительством, великие державы считают, что даже успехи Сербии, если бы она вступила в действие, не могут предрешать территориальных изменений в ее пользу при заключении мира»²⁸. Резюмируя

впоследствии причины «замедления со стороны княжеского правительства», Горчаков писал, что они «помимо безденежья объяснялись также и тем, что представители иностранных государств в Белграде старались всеми мерами отклонить Сербию от войны и внушить князю, что даже в случае успеха сербского оружия не гарантируют княжеству расширения его территории при заключении мира»²⁹.

Конечно, не только тяжелое экономическое положение Сербии и угрозы великих держав заставляли Ристича тянуть с выступлением, ведь все эти факторы существовали и накануне первой сербо-турецкой войны, включая и предупреждения о том, что территория Сербии не увеличится даже в случае ее успехов. Теперь, когда Россия была вовлечена в войну и защита сербских интересов была ею гарантирована встречей в Плоеште и русскими субсидиями, Ристич не хотел рисковать и заявлял, что «если русские войска будут иметь успех, Сербия войдет в действие даже неготовая, — если нет, Сербия отложит свое действие до весны»³⁰.

Для выяснения реальной ситуации с военными приготовлениями в Сербии и для помощи в организации координации действий в ее столицу 21 августа 1877 г. был направлен полковник Генерального штаба Г. И. Бобриков. 30 августа он телеграфировал из Белграда, что Сербия к войне не готова, но «правительство боится опоздать быть участником в великой войне и поэтому готово переступить пределы благоразумия»³¹. Однако в ходе бесед с Ристичем, сразу же заявившим, что Сербия не может выступить раньше марта³², Бобриков убедился, что и для того, чтобы подготовить сербскую армию к ноябрю, понадобятся значительные усилия. Получив от Совета министров княжества проект бюджета на военные расходы, Бобриков совместно с военным министром Сербии начал разработку плана подготовительных работ. Военный министр Сава Груич сначала полагал, что Сербии стоит вступить в войну, лишь когда русские разобьют Осман-пашу и между русскими войсками и Сербией не останется ни одного турка³³. И только после того, как Бобриков передал ему письмо главнокомандующего Дунайской армией, в котором говорилось, что «кооперация сербской армии была бы особенно полезна в настоящий момент», согласился ускорить военные приготовления. Он представил 7 сентября 1877 г. Бобрикову смету военных расходов, из которой следовало, что в случае начала военных действий Сербии потребуется ежемесячная дотация в миллион рублей³⁴. Конкретного ответа на это требование сербское правительство не получало почти три месяца, и лишь 18 ноября на его очередной запрос

пришло сообщение из русского Министерства иностранных дел, что если события покажут, что Сербии действительно нужны деньги, то Россия ее без денежной субсидии не оставит³⁵. Действительно, после вступления Сербии в войну был решен вопрос о ежемесячной субсидии для нее, правда, не в тех размерах, на которые рассчитывало сербское правительство. Следует заметить, что на протяжении сентября-ноября 1877 г. вопрос о русской денежной помощи был главным в ходе сербо-русских переговоров. Настойчивость сербского князя в желании получить сначала вторую половину обещанного миллиона, а также твердых гарантий субсидий в ходе войны приводила Бобрикова к мысли, что «князь Милан, очевидно, рассчитывал совершить новую войну и исправить запущенное материальное положение своих войск на наш счет. Не надеясь на свои собственные средства для самостоятельных военных операций, он поджидал еще большего ослабления сил турок, чтобы явиться на театр войны победителем без выстрела и принять участие в предъявлении мирных условий побежденному врагу»³⁶. Для того, чтобы гарантировать выступление сербов, русская сторона соглашалась на передачу полумиллиона, а затем субсидий лишь в случае выполнения сербским правительством определенных обязательств. Так, после того, как от Бобрикова в начале сентября были получены известия, что сербская армия может быть готова к выступлению не раньше, чем через месяц, русское командование 11 сентября предложило, «чтобы Сербия, воздерживаясь пока от объявления войны Турции и открытых враждебных действий, выставила возможно скорее обсервационных регулярных войск на своей юго-восточной границе»³⁷. Только после этого требования в Сербию будет прислан второй полумиллион. Сербский князь пытался ограничить число этих обсервационных войск четырьмя тысячами постоянной сербской армии, но русское командование настаивало на 25–30 тыс. человек.

Прибывший в Белград новый русский генеральный консул А. И. Персиани передал 21 сентября совет русского правительства: «Сербии не следует избегать участия в нынешней войне, что свидетельствовало бы об отречении от своего прошлого, своей прошлой годней войны, своих традиционных связей с Россией и своего будущего, ибо, воздерживаясь от выступления, Сербия не способствует русским победам в своей собственной будущности»³⁸. На следующий день Персиани докладывал о том, что князь Милан согласился выставить на границе 25 тыс. войска к 26 сентября и попросил доставить в Кладово второй полумиллион. Деньги были переданы сербскому представителю Богичевичу 13 октября 1877 г.

Бобриков продолжал совместно с сербским военным министерством готовить армию княжества к боевым действиям, используя полученные из России деньги для закупки оружия и провианта. В Сербии была проведена мобилизация под видом предусмотренных законом 25-дневных сборов народной армии. К середине октября Г. И. Бобриков оценивал состояние армии княжества в целом как удовлетворительное, а уровень подготовки сербских офицеров, «которые могли бы сделать честь армии любой из великих держав»³⁹, как достаточно высокий.

В связи с явными военными приготовлениями Сербии Христич сообщил из Константинополя о требованиях Порты представить на этот счет разъяснения. Сообщая правительству России об этом, князь Милан еще раз заявил, что если произойдет разрыв отношений с Турцией и начнутся наступательные операции, то Сербии для ведения войны необходимы будут денежные субсидии⁴⁰. Ристич же, инструктируя Христича о том, как надо объяснить Порте сосредоточение на южных границах сербской армии, уже не решался заявлять, что удастся избежать войны. Он писал 27 сентября Христичу: «...мы не провозглашаем нейтралитет, не связываем себе руки, мы только говорим, что у нас нет намерения перейти границу, мы лишь охраняем свой дом»⁴¹. Все же Ристич делал все возможное, чтобы дольше оставаться в наблюдательной позиции, и категорически выступил против плана Бобрикова отправить отряды волонтеров в Старую Сербию, не желая вызывать неудовольствие Турции.

Русские победы начала октября на Кавказском театре военных действий, сжимающееся кольцо вокруг Плевны и перспектива ее скорого падения вызывали воодушевление сербского народа. «Победы наши одобряет народ и правительство, — сообщал Персиани. — Полковник Катарджи, предвидя возможность требования с нашей стороны наступательных действий Сербии, советует князю быть наготове». В течение второй половины октября — начала ноября русское командование неоднократно призывало Сербию готовиться к скорому выступлению. Так, отвечая 16 октября на поздравления по случаю русских успехов, Александр II телеграфировал князю Милану, «что желал бы, чтобы и армия князя приняла участие в войне». В конце октября в Белград из русской ставки прибыл Катарджи, заявивший Ристичу и князю, что будущность Сербии зависит непосредственно от содействия, которое она окажет России, и что если она не тронется, то не сможет рассчитывать на какое-либо вознаграждение⁴².

31 октября и 2 ноября великий князь Николай Николаевич предупредил сербское правительство о необходимости пригото-

виться «к выступлению по первому нашему призыву», а 10 ноября из русской главной квартиры поступило распоряжение князю Милану «немедленно принять меры для перехода сербскими войсками границы в возможно скорейшем времени»⁴³.

В этой связи вновь сербской стороной был поднят вопрос о денежных субсидиях и для разъяснения его к великому князю Николаю Николаевичу был направлен 20 ноября 1877 г. Милосав Протич. О том, что русское командование до последней минуты не было уверено в сербском выступлении, свидетельствуют те условия, на которых Россия согласилась выплачивать испрашиваемые сербским князем деньги. «Было определено выдавать сербскому правительству по полтараста рублей в день на каждую тысячу человек, действующих вне пределов княжества, если только число перешедших границу не будет менее двадцати пяти тысяч, и уплату субсидий начать через две недели по переходе границы»⁴⁴. Таким образом, предусматривалось все: и продолжительность военных действий, и число выставляемых Сербией воинов, и, наконец, непереносимый переход границы в ближайшее время. Сербское правительство было крайне недовольно такими условиями, но ему удалось добиться только того, чтобы расчет русской помощи шел на 60000 человек сербской армии, благодаря включению в общее число перешедших границу и вспомогательного персонала, и штабных.

18 ноября 1877 г. на заседании Совета министров Сербии было оглашено решение князя Милана начать военные действия. Характерно при этом, что князь не предлагал призвать народ к новой войне с Турцией (термин «вторая сербо-турецкая война» родился не сразу), а подчеркнул союзнический характер сербского выступления, предложив «для освобождения братьев в Турции и для освобождения и независимости сербского народа принять участие в войне России против Турции»⁴⁵. На этом же заседании было поручено Ристичу подготовить проект прокламации о начале войны, а также составить текст ноты, которую Христич должен будет передать Порте. Несмотря на то, что тексты были подготовлены и все уже было решено, сербское правительство тянуло с началом выступления до тех пор, пока 28 ноября 1877 г. не пала Плевна. Это было настолько очевидно, что, отвечая на поздравления князя Милана по поводу блестящей победы русского оружия — взятия Плевны и пленения Осман-паши — русский царь писал, что не может скрыть сожаления, что сербская армия не последовала примеру румын, которые вместе с русскими проливали кровь под Плевной.

Прокламация о войне была опубликована в газетах 2 декабря. В ней, в частности, говорилось: «Хотя доблестная русская армия может и без нашего содействия восторжествовать в святом деле, которое император Александр принял под свое могущественное покровительство, тем не менее ничто на свете не может нас освободить от выполнения долга, падающего и на сербскую нацию»⁴⁶. В этот же день Ф. Христич передал Порте сербскую ноту, в которой объявление войны мотивировалось нарушением Турцией 2-й статьи протокола о мире между Сербией и Турцией от 16 февраля 1877 г., не предусматривавшей полную амнистию беженцев-сербов, вернувшихся на оттоманскую территорию, и угрозой Порты вредить Сербии, даже не прибегая к войне. Христич выехал из Константинополя, а князь Милан телеграфировал в русскую главную квартиру армии, «что он вынужден снова поднять оружие против турок и становится лично во главе своей армии»⁴⁷. Сербская армия начала военные действия 3 декабря 1877 г.

Изложенный выше ход русско-сербских взаимоотношений по вопросу о вступлении Сербского княжества в войну опровергает заявление Ристича, что начало Сербией военных действий лишь после падения Плевны объяснялось требованиями России⁴⁸. Но нашей целью не является разоблачение необъективности Ристича, важно другое — приведенные факты свидетельствуют, что желание привлечь княжество к войне было вызвано вовсе не замыслом русского командования прикрыть правый фланг своей армии (во всяком случае, этот фактор не был определяющим). Не настолько надежным союзником была Сербия, чтобы так настойчиво добиваться ее союзного выступления, да еще и за русские деньги. Будущность Сербского княжества — вот что волновало русское правительство. Помочь ему в последующей дипломатической борьбе за эту «будущность» мог только факт непосредственного участия Сербии в войне с Турцией. Об этом красноречиво свидетельствуют и призывы царя и главнокомандующего, об этом же говорили и «друзья сербов» (по выражению Е. Груича) при русском главном штабе — М. А. Хитрово и др.

В югославянской историографии справедливо отмечается, что вступление Сербского княжества в войну лишь после падения Плевны значительно уменьшило моральный эффект всей второй сербо-турецкой войны⁴⁹. Пытаясь объяснить это запаздывание, ученые выдвигали разные версии. И мнение С. Скоко о том, что вступление Сербии в войну позднее определенного срока объясняется восстанием в Тополе 25–29 ноября 1877 г.⁵⁰, существенно не меняет общей картины начала военных действий. Документы

же убедительно свидетельствуют, что и до Тополы сербское правительство не собиралось начинать войну. Большого внимания заслуживает позиция высококвалифицированного специалиста в области сербской истории Ч. Попова. Ученый полагает, что опоздание Сербии со вступлением во вторую войну существенно не отражалось на исходе войны, так как все уже было заранее решено в договорах «двух мощных внешних факторов балканского кризиса — России и Австро-Венгрии — в июле 1876 и январе 1877 г.», что Балканы этими переговорами были окончательно разделены на сферы влияния⁵¹. Этот возврат к точке зрения историков межвоенной Югославии (и прежде всего Слободана Йовановича) представляется нам правомерным. Ряд международных договоров России, заключенных накануне войны, и прежде всего Будапештская конвенция 1877 г., до определенной степени решали вопрос о судьбе Боснии и Герцеговины (что, правда, не помещало России при заключении Сан-Стефанского договора нарушить соответствующие статьи этой конвенции). Восточные и южные границы будущей Сербии, а также ситуация в санджаке во многом зависели от масштабов участия Сербии в войне с Турцией. Об этом же свидетельствует и сербский военный план, который обсуждался сербскими и русскими представителями. Ристич также постоянно вел консультации с Австрией о возможных территориальных претензиях Сербии.

Ход так называемой второй сербо-турецкой войны достаточно хорошо изучен, в литературе нашли отражение основные события этой удачной для Сербии полуторамесячной кампании⁵². Представляется важным исследование сербского и русского планов, касающихся наступления сербской армии. Именно такое сравнение выявляет истинные цели сербского правительства, вырисовывая контуры его последующих претензий и политических демаршей.

Координируя свой военный план с русским, сербское правительство прежде всего думало о как можно более глубоком продвижении на юг, юго-восток с тем, чтобы на эти территории впоследствии можно было предъявить претензии. Князь Милан, по словам Г. И. Бобрикова, «хорошо понимая, что на размер территориального вознаграждения княжества при заключении мира будет влиять величина занятой сербскими войсками неприятельской страны, упорно настаивал на развитии активных действий по всему пространству границы, несмотря на то, что это влекло к разброске сил и невыгодно отражалось на успехе главного предприятия»⁵³. Этому принципа сербское правительство придержи-

валось с самого начала военных действий, при этом Ристич не оставял надежды на приобретения в сторону Боснии, несмотря на то, что и с русской, и с австрийской стороны был предупрежден о необходимости «воздержаться как от вторжения в Боснию и Герцеговину, так и от поддержки там восстания»⁵⁴. Тем не менее, получив одобрение Совета министров, Ристич 3–5 декабря 1877 г. попытался через сербского представителя в Вене Цукича выяснить, как отнесется Австрия к возможным боевым действиям Сербии на Дрине. Цукич сообщил о категорическом протесте Вены против сербских претензий на Боснию. 13 декабря австрийский представитель в Белграде Вреде официально заявил, что если Сербия начнет наступление в сторону Боснии или поднимет там восстание, то Австро-Венгрия будет рассматривать это как угрозу своим интересам и «примет меры»⁵⁵.

Перспектива австро-сербского конфликта из-за Боснии заставила правительство России телеграфировать в Белград 13 декабря 1877 г. о том, что «князю Милану должно быть небезызвестно, что австрийское правительство не будет препятствовать военным действиям сербов вне их границ, но с тем условием, чтобы они не входили ни в Боснию, ни в Герцеговину, и не приближаясь к австрийской территории»⁵⁶. Под давлением австрийских угроз и русских рекомендаций Ристич обещал не предпринимать наступательных действий в этом направлении, но «прибавил во избежание недоразумений, что Сербия не может отказаться от операций в пашалыке Нового Базара, который по турецкому разграничению принадлежит Косовскому вилайету»⁵⁷. Итак, Ристичу было ясно, что продвигаться можно лишь на юг и юго-восток, тем более, что такое продвижение сербской армии совпадало с планами русского командования.

По единодушным отзывам русских военных, сербы выполнили поставленные перед ними задачи полностью и вовремя. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич сообщал императору в Петербург: «Сербы превзошли все мои ожидания. Перейдя 3 и 4 декабря границу, они в продолжение двух недель достигли весьма серьезных результатов»⁵⁸. Перечисляя далее взятые сербами в ходе боев пункты: проход св. Николая, Бабину Главу, Мрамор, Аллие, Куршумлие, Ак-Паланку и занятый после кровопролитной битвы 16 декабря Пирот, главнокомандующий выражал уверенность, что «теперь сербы могут выполнить задачу, данную им мною в начале войны: оставив отряд для наблюдения за Нишем, идти на Софию на соединение с нашими войсками»⁵⁹. Бобриков подчеркивал, что сербы, сражаясь у Ак-Паланки и под

Пиротом, оказали несомненное и немаловажное содействие отряду генерала Гурко, оттянув на себя сначала часть армии Мехмед-паши, а затем связав своим наступлением турецкий резерв. «Долг справедливости требует признать за сербами, — писал он, — ту заслугу, что они не выжидали перехода Балкан нашими войсками, но, напротив, добровольно шли сами вперед, без задней мысли, стараясь быть полезными союзниками, насколько могли»⁶⁰. 29 декабря капитулировал осажденный сербскими войсками Ниш. Овладение этим городом имело важное значение для хода сербских военных операций, оно позволило армии закрепить достигнутые успехи, после чего она устремилась на юг, в сторону легендарного Косово поля. 17–18 января с боями было взято Вранье. Успешные боевые действия русской армии давали основания полагать, что со дня на день будет заключено перемирие, о котором просили турки. Поэтому сербское командование стремилось до заключения перемирия занять как можно большую территорию. Вот как об этих устремлениях писал 18 января 1878 г. из Ниша Г. И. Бобриков сербскому военному министру С. Груичу: «Вам, конечно, хорошо известно, что в непродолжительном времени легко может случиться приостановка военных действий. Вот эта возможность финала и вызывает такие военные действия, которые не вытекают из чисто военной обстановки. Именно, вместо сосредоточенного наступления в одном направлении производится захват возможно большего пространства территории. Хотя и трудно ожидать, чтобы противник воспользовался таким отступлением от воинского плана и произвел бы сам сосредоточенный удар в одну точку, тем не менее нельзя доводить риск до крайности и не принимать мер обеспечения»⁶¹. Это письмо свидетельствует о том, что русское командование не сдерживало сербского продвижения, и лишь предостерегало сербов от излишнего риска.

19 января 1878 г. в Адрианополе между Россией и Турцией было заключено перемирие, а через несколько дней, 22 января, по приказу русского главнокомандующего Сербия также прекратила боевые действия. К этому моменту сербской армией была очищена от турецких войск значительная территория, что давало возможность сербскому правительству рассчитывать на значительные территориальные приобретения, причем претензии его распространялись и на те части Косовского вилайета, которые сербская армия не успела отвоевать. Собственно с января 1878 г. и до окончания работы Берлинского конгресса именно вопрос об изменении сербских границ становится главным в сербо-русских

переговорах и контактах. Впервые острота этой проблемы дала знать о себе уже при заключении Сан-Стефанского договора. Решения Сан-Стефанского договора, предполагающие создание крупного государства Болгарии, было воспринято как сербскими политиками того времени, так и сербской историографией последующих лет как «драма Сербии», ее «национальная катастрофа». Период между заключением Сан-Стефанского и Берлинского договоров продемонстрировал расхождения между Сербией и Россией, связанные с неудовлетворенностью сербского правительства русской позицией по территориальному вопросу. А после подписания Берлинского трактата в сфере русско-сербских связей и контактов наблюдается фактическое охлаждение, происходит переориентация сербской политики на Австро-Венгрию. Официальные русско-сербские отношения остаются весьма натянутыми до 1903 г., т. е. до смены династии в Сербии. Во многом причину такого разрыва следует искать в событиях Восточного кризиса 1875–1878 гг., причем не только в решениях итоговых документов, как считают некоторые исследователи, но и в предшествующих событиях. Настоящее исследование призвано показать, что это «охлаждение» наступило значительно раньше. Во всяком случае, в период ключевого военного события кризиса — кровопролитной русско-турецкой войны — сербское правительство и князь не оправдали русских надежд. Позиция сербского правительства объяснима, если обратиться к чувству самосохранения его главы прежде всего. Правительство либералов вряд ли удержалось бы в случае нового поражения. Объяснимо оно и с точки зрения подсчетов возможных выгод и проигрыша в случае войны. Трезвый расчет, вероятно, можно расценить как заслугу осторожного Ристича, но в категориях дипломатической, а особенно также весьма важной для международных отношений эмоционально-духовной сферы позиция сербского правительства не могла не вызвать неудовольствия русского командования и императора.

Исследованный выше сюжет не только уточняет военные и дипломатические события русско-турецкой войны 1877–1878 гг., но и добавляет новые штрихи к сложной картине русско-сербских отношений в конце XIX в. Эти отношения никогда не были однозначны, зачастую отличаясь напряженностью или просто неприязнью. Во всяком случае, они далеки от той идиллической картины, которую порой рисуют публицисты. Два государства, две разные исторические судьбы, два различных представления о перспективах европейского и балканского региона. То многое, что

объединяло славянские и православные народы этих государств, вовсе не означало взаимопонимания в области политики и политических обязательств обеих сторон. Так, например, конкретную помощь в тяжелом военном деле России пришлось буквально выбивать из своего «духовного союзника». Представление об «обязанностях» России по отношению к славянским народам Османской Турции вовсе не означало для сербского правительства и взаимных обязательств по отношению к России.

Примечания

- ¹ Этому сюжету посвящена работа: Л. В. Кузьмичева. Русские добровольцы в сербо-турецкой войне 1876 г. // Россия и Восточный кризис 70-х годов XIX в. М., 1981, с. 77–98.
- ² *Ј. Ристић*. Дипломатска историја Србије за време српских ратова за ослобођење и независност. 1875–1878. Београд, 1898, т. 2, с. 143.
- ³ Там же, с. 38–39.
- ⁴ Исторический вестник, 1914, т. 137, № 7, с. 70.
- ⁵ *Г. И. Бобриков*. В Сербии. Из воспоминаний о войне 1877–1878 гг. СПб., 1891, с. 14.
- ⁶ Писма Филипа Христића Јовану Ристићу. 1868–1880, Београд, 1953, № 160.
- ⁷ Историја српског народа. Београд, 1981, књ. 5, т. 1, с. 395.
- ⁸ Архив внешней политики Российской империи (далее АВПРИ), ф. Отчеты, 1877, л. 217.
- ⁹ Записи Јеврема Грујића. Београд, 1923, с. 294.
- ¹⁰ *Ј. Ристић*. Дипломатска историја..., књ. 2, с. 58–63.
- ¹¹ Записи Јеврема Грујића..., с. 295.
- ¹² Там же, с. 296.
- ¹³ АВПРИ, ф. Канцелярия, 1877, д. 11, л. 242.
- ¹⁴ *Д. А. Милютин*. Дневник. М., 1947, т. 2, с. 203.
- ¹⁵ АВПРИ, ф. Канцелярия, 1877, д. 34, л. 353.
- ¹⁶ *Р. А. Фадеев*. Собрание сочинений. СПб., 1889, т. 1, с. 51.
- ¹⁷ АВПРИ, ф. Канцелярия, 1877, д. 11, л. 244.
- ¹⁸ Там же, л. 245.
- ¹⁹ Писма Ј. Ристића Ф. Христићу. Београд, 1931, № 132.
- ²⁰ АВПРИ, ф. ГА-УА₂, д. 270, л. 94 об.
- ²¹ Записи Јеврема Грујића..., с. 298–299.
- ²² Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы в 3-х т. (далее ОБТИ). М., 1963, т. 2, № 196, 200, 201.
- ²³ *Г. И. Бобриков*. В Сербии..., с. 25.

- 24 Особое прибавление к Описанию русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Балканском полуострове. СПб., 1910, вып. 3, с. 24.
- 25 М. А. Газенкамф. Мой дневник. СПб., 1908, с. 95–96.
- 26 Г. И. Бобриков. В Сербии..., с. 15.
- 27 ОБТИ, т. 2, № 197.
- 28 АВПРИ, ф. ГА-УА₂, д. 270, л. 132.
- 29 Там же, л. 138–188 об.; ф. Канцелярия, 1877, д. 34, л. 374.
- 30 Там же, ф. Канцелярия, 1877, д. 34, л. 365.
- 31 Там же, ф. ГА-УА₂, д. 270, л. 123–123 об.
- 32 Г. И. Бобриков. В Сербии..., с. 31–33.
- 33 АВПРИ, ф. Канцелярия, 1877, д. 11, л. 253.
- 34 Записи Еврема Грујића..., с. 299.
- 35 Там же, с. 305.
- 36 Г. И. Бобриков. В Сербии..., с. 72.
- 37 АВПРИ, ф. ГА-УА₂, д. 270, л. 126–127.
- 38 Записи Еврема Грујића..., с. 301.
- 39 Г. И. Бобриков. В Сербии..., с. 56–57. (В IV главе своей книги Г. И. Бобриков опубликовал подробную справку «Состояние сербских вооруженных сил», в которой классифицирует сербскую армию не только по округам и родам войск, но даже приводит сведения об обмундировании сербских солдат и содержании их ранцев.)
- 40 АВПРИ, ф. Канцелярия, 1877, д. 11, л. 265–265 об.
- 41 Писма Ј. Ристић Ф. Христићу, № 135.
- 42 АВПРИ, ф. Канцелярия, 1877, д. 11, л. 153–153 об.
- 43 Г. И. Бобриков. В Сербии..., с. 60.
- 44 Там же, с. 72.
- 45 Записи Еврема Грујића..., с. 305–306.
- 46 Г. И. Бобриков. В Сербии..., с. 82.
- 47 М. А. Газенкамф. Мой дневник..., с. 221.
- 48 Ј. Ристић. Дипломатска историја..., с. 105–106.
- 49 Историја српског народа..., с. 399.
- 50 С. Скоко. Улога српске војске у руско-турском рату. 1877–1878 // Србија у завршној фази велике источне кризе (1875–1878). Београд, 1980, с. 28–29.
- 51 Ч. Попов. Јован Ристић у српско-турским ратовима 1876–1878 // Живот и рад Јована Ристића. Београд, 1985, с. 73–74.
- 52 См.: П. Опачић, С. Скоко. Српско-турски ратови 1876–1878. Београд, 1981, а также: Ослобођење Јужне Србије 1877–78. Београд, 1977.
- 53 Г. И. Бобриков. В Сербии..., с. 76–77. (Подробный план русско-сербской кооперации, разработанный русским командованием на основе предложений Г. И. Бобрикова — см.: Особое прибавление..., СПб., 1904, вып. 5, с. 143–151.)

- ⁵⁴ АВПРИ, ф. Канцелярия, 1877, д. 11, л. 305.
- ⁵⁵ Записи Еврема Грујића..., с. 311.
- ⁵⁶ АВПРИ, ф. Канцелярия, 1877, д. 11, л. 367.
- ⁵⁷ Там же, л. 305 об.
- ⁵⁸ М. А. Газенкамф. Мой дневник..., с. 267–268.
- ⁵⁹ Там же, с. 269.
- ⁶⁰ Г. И. Бобриков. В Сербии..., с. 117.
- ⁶¹ Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом), ф. 610, д. 185, л. 13–14. (Это одно из семи писем Г. И. Бобрикова И. Груичу, написанных с театра боевых действий в ноябре 1877 — январе 1878 г.)

Г. Ю. Волков
(Кострома)

«Поможем нашим братьям славянам!» (По материалам костромской печати времен Первой мировой войны)

15 июля 1914 года громадная Австро-Венгерская империя двинула свою армию, чтобы уничтожить славянское государство на Балканах — Сербию. Это произвело потрясающее впечатление в России, которая издавна являлась покровительницей славян.

В начале второй половины июля в Костроме и других городах губернии газеты с известиями об австро-сербском конфликте брались нарасхват. 18 июля около 9 часов вечера у памятника Ивану Сусанину состоялась манифестация костромичей. непрерывно раздавались крики: «Да здравствует Сербия!», «Долой Австрию!», «Да здравствует Россия!»¹. События развивались стремительно. Россия 17 июля приступила к мобилизации. 19 июля России объявила войну Германия, а 24 июля — Австро-Венгрия. В связи с объявлением Германией войны России, в воскресенье, 20 июля, на площади перед памятником Ивану Сусанину состоялась еще более внушительная манифестация. Призывы: «Долой Германию!», «Долой Австрию!», «Да здравствует Сербия!», «Да здравствует русская армия!» многократно сопровождалась гимном «Боже, царя храни!»².

Подобные манифестации и молебны о даровании победы российскому воинству и войскам союзных с Россией иностранных держав прошли во многих городах и селах губернии.

Костромичи, как в городах, так и в сельской местности, проявляли огромный интерес к политике, к войне, стремление разобраться в причинах ее породивших и обстоятельствах ее сопровождающих. Так, только читальный зал Костромской городской общественной библиотеки-читальни имени Ф. В. Чижова, открытый 21 сентября 1914 г., за 102 дня работы в этом году посетил 8301 человек (в среднем 81 человек в день). Читатели знакомились с печатными материалами 14 газет и 26 журналов, а также с брошюрами и книгами о народах Балканского полуострова. Периодически читались публичные лекции о истории славянских народов, о целях их борьбы в этой войне. В «Дни флажков», которые устраивались местными комитетами Красного Креста в раз-

личных городах губернии, костромичи с удовольствием покупали сербский флажок. На различного рода собраниях обычно исполнялись гимны союзных держав: Сербский, Черногорский, Бельгийский, Французский и др.³

Периодически демонстрировались картины патриотического содержания. В их числе в сентябре 1915 г. в Пале-театре Костромы шла картина «Белый генерал», посвященная полководцу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, прославившемуся во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Тем самым внушалась мысль, что теперь вместо турок немцы грозили уничтожением сербам — и те же немцы напали на нас⁴.

22 сентября 1914 г. в Кострому прибыл первый эшелон пленных австрийцев и немцев в количестве 400 человек. В «Поволжском вестнике» от 23 сентября говорилось, что «среди пленных австрийских солдат масса владеющих русским языком, называющих себя словенцами, русинами и др. славянскими народностями». Отношение к ним костромичей хорошо показал корреспондент газеты «Костромская жизнь» в номере от 1 ноября. В заметке «Пленные на свободе» он написал: «Появилось в Костроме много пленных австрийцев. Все они православные. Народ относится к пленным дружелюбно. Многие жмут им руки, говорят: „Что же? Свой же — славянин!“. Наделяют папиросами. Узнав, что у пленного остались дома жена, дети, сочувственно вздыхают. Подобным же образом относились к пленным и в деревне. Вот что писал житель одной из деревень Зашугомской волости Солигаличского уезда: „К пленным относятся с добрым чувством; случайно зашедшего чеха, плохо одетого и голодного, вся деревня сочла пужным накормить, одеть и вымыть в бане...“⁵.

7 сентября 1914 г. в помещении женской учительской семинарии г. Костромы состоялось открытие Костромского отдела комитета по оказанию помощи раненым русским, черногорским, сербским воинам и их семьям, состоящего под покровительством великой княгини Милицы Николаевны. Были собраны и первые средства — 871 рубль 30 копеек. Его председателем стал священник А. А. Дьяченко. И так же, как и в 70-е гг. XIX в., костромичи оказали славянским народам Балканского полуострова материальную помощь. В декабре 1914 г. губернское земское собрание ассигновало 10.000 рублей на оказание помощи мирным жителям Сербии, Черногории, Галиции, Бельгии, Польши. Тогда же Костромская городская дума ассигновала в пользу жителей Сербии и Черногории 500 рублей, а служащие фабрики братьев Зотовых — 50 рублей.

В декабре же в адрес Костромского губернского земства пришли благодарственные телеграммы от короля Сербии Петра и короля Черногории Николая Негоша. Приводим текст телеграммы короля Черногории: «Сердечно благодарю Вас за лестные слова и горячие пожелания, которые Вы шлете мне и моим доблестным солдатам, счастливым и гордым, что в этой гигантской войне они бьются рядом с их горячо любимыми и дорогими братьями русскими».

Примечания

- ¹ Поволжский вестник, 1914, 19 июля.
- ² Там же, 22 июля.
- ³ Отчет Костромской городской общественной библиотеки-читальни им. Ф. В. Чижова за 1914 год. Кострома, 1915, с. 579; Поволжский вестник, 1914, 26 августа, 11 сентября; Отчет Костромского отделения императорского русского музыкального общества за 1914–1915 год. Кострома, 1915, 2, с. 14.
- ⁴ Поволжский вестник, 1915, 20 сентября.
- ⁵ Война — костромская деревня. Кострома, 1915, с. 76.

М. А. Робинсон
(Москва)

В. И. Ламанский и его историософский трактат «Три мира Азийско-Европейского материка»

В.И.Ламанский — один из известнейших славяноведов XIX — начала XX в., воспитавший не одно поколение русских славистов. Изучение его творческого наследия, его взглядов является актуальной задачей истории отечественного славяноведения. Прежде чем обратиться к рассмотрению его трактата «Три мира Азийско-Европейского материка»¹, сделаем небольшой экскурс в славистическую историографию. Отношение к личности и трудам В.И.Ламанского, его «школе» может, на наш взгляд, служить одним из критериев оценки степени идеологизированности советского славяноведения на разных этапах его существования. Сразу следует отметить, что Ламанскому в историографии не повезло, наиболее значительные обзоры и исследования, содержащие прямо противоположные оценки его научной и общественной деятельности, остались неопубликованными.

В обширном исследовании академика В. В. Бузескула «Всеобщая история и ее исследователи в России в XIX и начале XX в. Часть III.» (470 страниц машинописи)² в разделе «Изучение славянского мира во второй половине XIX и начале XX в.»³ большое место уделено Ламанскому, специально анализируется и рассматриваемый нами труд⁴. Отметим, что вся работа ученого выполнена в традиционной академической манере. В целом он оценивал взгляды Ламанского как славянофильские, а его «политико-философский трактат» предлагал отнести «к числу главных трудов». «Это — писал Бузескул, — одно из самых оригинальных и характерных его произведений...»⁵. Бузескул не только отмечал «сходные мысли» Ламанского и Н. Я. Данилевского, высказанные последним в книге «Россия и Европа» относительно выделения особого «Среднего мира» и его границ, но и предлагал проследить связь взглядов ученого с евразийскими концепциями 20-х гг. нашего века: «сравни Евр-Азию, о которой теперь говорят (см., например, у Г. В. Вернадского)»⁶. Бузескул особое внимание обратил на размышления Ламанского о внутрироссийских делах: «В. И. Ламанский говорит о наших ошибках, недостатках, „прорехах и изъянах“ с горечью, резко и для того времени смело критикует

русскую политику, внутреннюю и внешнюю: он — против гонений и насилий, он — за уважение, за признание свободы мнений и мысли. Тут доходит он иногда до пафоса. Вообще книга написана с большим воодушевлением. Она кончается мыслью о том, что все наши благие намерения и старания о лучшем будущем могут быть неожиданно прерваны, все существование может подвергнуться страшным испытаниям и ударам. Он опасался войны ввиду „напряженного положения Европы и ее страшных вооружений“ и наступательных планов Германии и Австро-Венгрии, планов, в существовании которых он не сомневался. Но, говорил он, если война должна уже быть, то пусть будет как можно позже⁷. В заключении Бузескул специально отмечал: «Мы остановились подробнее на этом трактате В. И. Ламанского ввиду того интереса, какой он представляет вообще и в частности для характеристики воззрений В. И. Ламанского и того обстоятельства, что это произведение известно менее других его главных трудов»⁸. Последнее утверждение ученого, на наш взгляд, не потеряло своей актуальности и донныне. Монография Бузескула была завершена в 1929 г., но, несмотря на активную поддержку председателя комиссии по истории знаний В. И. Вернадского, писавшего автору: «Ни в каком случае не следовало бы мне казаться сокращать Ваш труд — надо все усилия направить на то, чтобы издать все»⁹, книга в свет не вышла.

Заметим, что окончательное решение «отклонить печатание» труда уже покойного к тому времени Бузескула произошло 7 июня 1934 г.¹⁰, а полугодом ранее — 28 декабря 1933 г. — в Институте славяноведения В. Н. Кораблев прочитал доклад с весьма многозначительным названием: «Славяноведение на службе самодержавия (из деятельности академика В. И. Ламанского)». Необходимо отметить, что в 1933 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Ламанского, и, очевидно, некоторые славяноведы ожидали, что эта дата будет как-нибудь отмечена; среди них, в частности, был, пожалуй, старейший из оставшихся к тому времени учеников В. И. Ламанского, восьмидесятилетний К. Я. Грот. Не зная ни точного названия, ни когда состоится доклад, он спрашивал в письме от 1 ноября 1933 г. своего коллегу академика Б. М. Ляпунова: «...мне очень бы хотелось знать, состоялось ли в Институте славяноведения чтение В. Н. Кораблева о В. И. Ламанском, отчего не придали ему более публичности, и почему из круга лиц, особо заинтересованных таким хоть и скромным чествованием столетней годовщины его рождения, никто не был оповещен об этих поминках В. И. Конечно, все это очень странно, хоть и объяснимо. Простите, что утруждаю Вас, но очень был бы Вам благодарен, если б Вы мне сообщили впечатление от этой лекции или докладе, в каком она была духе и какого содержания»¹¹.

Состоявшееся мероприятие вряд ли возможно назвать чествованием. Кораблев, взяв на вооружение марксистские постулаты классового подхода, поставил своей задачей заклеить сразу всех предшественников-славяноведов, ибо вообще вся наука XIX — начала XX в. «всегда служила интересам господствующих классов» и являлась «орудием классовой борьбы»¹². Опираясь на данные о социальном происхождении, исследователь отмечал, что большинство дореволюционных профессоров-славяноведов ведущих русских университетов были тесно связаны с господствующими классами. Далее Кораблев, сам, кстати, ученик Ламанского, постепенно переходил к раскрытию собственно вредного влияния учителя на развитие русского славяноведения. Он писал: «Сословные группировки этой категории ученых могут до известной степени говорить и об их классовой настроенности, проявившейся в их трудах и в особенности в их практической деятельности. При этом надо помнить, что в большинстве своем все это были либо прямые ученики академика В. И. Ламанского, либо ученики его учеников, т. е. люди, вышедшие из школы того же Ламанского и, таким образом, разделявшие или склонные разделять его идеологические установки, которые складывались и формировались у их учителя в течение 50 лет»¹³.

Идеологические же и политические воззрения Ламанского Кораблев представил достаточно схематично и явно греша против истины: «Стоя на позициях эпигонов славянофильства, мечтавших об объединении всех славян под крыльями российского орла (панславизм, выливавшийся в формы панрусизма), Ламанский, несомненно, был убежденным сторонником правительственной точки зрения на славянство и желанным сотрудником для этого правительства»¹⁴. Не вызывает сомнений лояльность Ламанского властям и его общая приверженность достаточно консервативным взглядам, так, он, например, не поддержал коллективный протест почти половины академиков против ограничения гражданских свобод, появившийся в печати накануне революционных событий 1905 г. У нас не вызывает также сомнений, что Кораблев, хорошо зная как научные, так и общественно-политические взгляды своего учителя, вполне сознательно стремился выполнить определенный социальный заказ. Именно его доклад наглядно иллюстрирует возможность применения тезиса о науке как «об орудии классовой борьбы» в советское время. Направлено же было это орудие на историю той науки, к которой принадлежал и сам Кораблев.

Выступление ученого встретило самую благожелательную реакцию директора Института славяноведения академика Н. С. Державина. В своем отзыве он подчеркивал прежде всего политико-идео-

логические аспекты доклада: «...освещение политической деятельности Ламанского представляет несомненный интерес с точки зрения иллюстрации классового характера науки и ее роли на службе царского самодержавия». По мнению академика, Кораблеву удалось показать «политическую деятельность Ламанского как агента, посредника и проводника мероприятий царского правительства по отношению к славянским странам»¹⁵. Кораблевым даже была подготовлена книга о Ламанском, о чем в связи со столетием ученого сообщалось в Трудах Института славяноведения: «Институт выпускает о нем в 1934 г. специальную монографию»¹⁶.

Ко второй половине 30-х гг. относится неопубликованная статья Ю. В. Готье «Славяноведение в России и СССР». И хотя автор не клеймит все славяноведение в целом, как Кораблев, но для Ламанского и его школы он не находит ни одного доброго слова. «Ламанский и его многочисленные ученики, — писал Готье, — были представителями воинствующего национализма в русской славистике... Всегда реакционно выступавшего во внутренних вопросах и агрессивного в вопросах отношений со славянами зарубежными, Ламанского можно считать вождем целого направления в среде русских славистов, идеологом самодержавия и сторонником захватнических стремлений русского националистического шовинизма»¹⁷. Готье признает, что «Ламанский и его школа оказали длительное влияние на русских славистов»¹⁸, что была и эпоха «безусловного преобладания в России школы Ламанского»¹⁹, в результате ее приверженцы, «будучи в своей исторической деятельности представителями реакционных течений, оказали очень отрицательное влияние на судьбы русского славяноведения вообще»²⁰. Одним из решительных противников этого направления Готье называл А. Н. Пыпина, который «отчетливо выступил против официальных славянофильских, отдававших панславизмом воззрений»²¹. Весьма негативно отозвался Готье и о рассматриваемом нами труде: «Славянофильство В. И. Ламанского нашло синтетическое выражение в книге „Три мира Азийско-Европейского материка“ (СПб., 1982; 2-е изд. Петроград, 1916)... В критических отзывах даже ставился вопрос, можно ли считать эту работу исследованием»²². Готье не принадлежал к ученикам Ламанского, его становление как ученого происходило под влиянием научной школы, близкой к позитивизму, но тем не менее мы считаем, что категоричность его оценок скорее восходит к элементам обязательной для советской науки того времени политико-идеологической риторики. Вряд ли ученый, успевший на личном опыте узнать, что такое преследования за несоответствие идеологическим канонам социалистической науки, так

уж искренне полагал, что Ламанский и его школа в основном принесли славяноведению только вред.

Очень близкую Готье оценку получил Ламанский и в известной статье В. И. Пичеты «К истории славяноведения в СССР»: «„Патриарх русского славяноведения“ был идеологом самодержавия, его захватнической балканской политики и великорусского националистического шовинизма»²³. На почти текстуальное совпадение оценок Готье и Пичеты исследователи уже обратили внимание. А. Е. Москаленко прямо указал на то, что «со статьей Ю. В. Готье был знаком В. И. Пичета, который, судя по отдельным местам, использовал ее в своем опубликованном обзоре... в этом нет ничего удивительного, так как оба ученых были большими друзьями и обменивались друг с другом своими мыслями»²⁴. Статья Пичеты была очень важным явлением в истории славяноведения, она появилась в период оживления науки после многих лет критики, гонений и репрессий (Кораблев погиб в лагерях, и Готье, и сам Пичета также познакомились с ГУЛАГом.) Перед войной славяноведение было директивно извлечено из почти полного забвения и ориентировано на идеологические задачи момента. Начавшаяся Великая Отечественная война внесла очень важные коррективы в возможности ученых оценивать прошлое своей науки. Влияние новой ситуации уже сказалось в работе Пичеты 1942 г., в которой он, с одной стороны, вновь повторил свои нелестные оценки, выразив их несколько странной по смыслу фразой о том, что Ламанский, «которого можно считать главою целой исторической школы славистов, имел весьма ограниченное количество учеников, так как выступал с ярко выраженной великодержавной шовинистической идеологией». Кроме того, по утверждению Пичеты: «Научные и общественно-политические выступления Ламанского отталкивали от сближения с Россией славянских буржуазных ученых и политических деятелей. В этом отношении деятельность Ламанского содействовала не сближению славян с русским народом, а скорее их разъединению»²⁵. Но, с другой стороны, только этими оценками Пичета уже не ограничился, он отметил, что «целый ряд учеников Ламанского выпустил прекрасные исследования по средневековой истории южных славян»²⁶, и, что особенно важно, обнаружил в трудах Ламанского некоторые положительные черты. Так, он считал, «что заслугой Ламанского было то, что он постоянно в своих работах и статьях обращал внимание на враждебное отношение немецко-буржуазной науки к славянству, что недостаточно оценивалось русскими либерально-буржуазными учеными»²⁷.

Минуло еще два года войны, и в научной жизни происходит совершенно немыслимое несколькими годами ранее явление. Державин выступает на октябрьской сессии Отделения литературы и языка АН СССР с докладом «Академик Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) в истории русского славяноведения и наша современность. К 30-летней годовщине со дня смерти». Этот доклад вполне можно отнести к жанру панегирика. Выступление не было опубликовано, но его 40-страничный машинописный текст хранится в архиве Державина. В обычной обстановке подобная круглая дата вряд ли могла послужить поводом для торжественного доклада. Мы полагаем, что Державин, всегда отличавшийся острым чутьем к возможным политико-идеологическим переменам, почувствовал, что с перспективами вступления советских войск на территорию славянских государств, освобождения их и установления с ними союзнических отношений могут появиться неплохие шансы и для активного развития славяноведения. Державин как бы напоминал, что именно он вполне может претендовать на роль «патриарха» послереволюционного советского славяноведения. Это напоминание могло прозвучать не без пользы для Державина, ибо проект воссоздания в той или иной форме Института славяноведения приобрел реальные перспективы.

Нетрудно вспомнить, что десятью годами ранее Державин был полностью солидарен с разоблачительными заявлениями Кораблева. Сколь несправедлив был Державин тогда, столь же неумерен он был в восхвалении Ламанского сейчас. Итак, он, дабы не оставалось никаких сомнений в характере его выступления, сразу же констатировал: «Владимир Иванович Ламанский, знаменитый русский ученый-гуманист, филолог, историк и этнограф, славяновед, разносторонняя ученая и общественная деятельность которого образует целую эпоху в развитии русского славяноведения и одну из выдающихся страниц в истории русско-славянских международных отношений»²⁸. Для придания весомости своей оценке труда «Три мира» как классического исследователя ссылаясь на восторженный отклик одного из современников Ламанского, утверждавшего, что работа «имеет мало себе равных в мировой литературе» [с. 5]. Славянофильство как течение общественной и политической мысли все еще оставалось в ряду идеологически чуждых и реакционных, поэтому Державину пришлось преодолеть определенные трудности, ведь Ламанский относил себя именно к славянофилам. Ученый, однако, решительно заявил, что «патриарх» русского славяноведения «с традиционным славянофильством... не только никогда не имел ничего общего, но по своим воззрениям на историческое прошлое и

настоящее России... сходилась во взглядах с передовой частью тогдашней русской общественности» [с. 6]. Державин, вразрез с традиционными оценками, писал о том, что Ламанский был «чужд всякой племенной или национальной исключительности» [с. 7].

Стараясь найти в ученом как можно больше черт, достойных с точки зрения официальной идеологии, Державин не очень стремился быть объективным. Он подобрал Ламанскому вполне достойное место в общественно-политической жизни XIX в. «По своему мировоззрению, — утверждал Державин, — это был представитель в науке либеральной демократической общественности 60–70-х годов» [с. 17]. И, наконец, как вершина положительной оценки, Ламанский ставился рядом с А. Н. Пыпиным, они — «два крупнейших представителя русской демократической общественности» [с. 25]. Державин стремился предельно актуализировать значение всей деятельности Ламанского. Он подчеркивал, что «труды академика Ламанского и отдельные его высказывания по основным вопросам нашей международной жизни ценны для нас своею созвучностью с нашею современностью, когда на долю славянских народов во главе с русским народом выпали жесточайшие испытания в борьбе за свое национальное самосохранение и государственную независимость» [с. 12].

Не обошел вниманием Ламанского Державин и в своей так и незавершенной и неопубликованной монографии, хранящейся в архиве под названием «Русское славяноведение (введение в славянскую филологию, ч. 1) и очерк славяноведных изучений в России». По-видимому, написание фрагментов, посвященных характеристике Ламанского, также относится к периоду войны. Здесь Державин не изменил своего последнего мнения о Ламанском, «разносторонняя деятельность которого образует собою целую эпоху в развитии русско-славянских международных отношений»²⁹. Особой заслугой ученый считал его профессорскую деятельность. «Большую заслугу Вл. Ив. Ламанского составляет и то, — писал Державин, — что он вырастил в своей аудитории целую плеяду учеников, сделавшихся впоследствии выдающимися русскими учеными-славяноведами, а некоторые из них и мировыми учеными... Все эти ученые образуют в нашей науке „школу“ Ламанского»³⁰. И, естественно, исследователь не мог упустить и политический момент: «Будучи ученым мирового масштаба, Вл. Ив. Ламанский был вместе с тем выдающимся русским общественным деятелем»³¹.

В 50-е гг. оценки Ламанского, его главного труда и его школы вновь определялись классовым подходом, как и в 30-е гг. Опять последователи и коллеги Ламанского были объединены в «славяно-

фильско-панславистскую школу». Их критика велась теперь, так сказать, с позиций методологических, утверждалось, что «русские славяноведы совсем почти не занимались общими, философскими вопросами истории. Все, что делалось в этом направлении, представляло старую погудку на новый лад, вроде книги Ламанского („Три мира“), или являлось одной из разновидностей буржуазных попыток „уничтожения марксизма“»³². Заметим, что известный и уважаемый ученый С. А. Никитин, которому принадлежат эти строки, в свое время, на рубеже 20-х гг., сам испытал, что такое сомневаться в верности марксистского метода. Он, так же как писавшие о Ламанском Кораблев и Готье, с ГУЛАГом был знаком не понаслышке. Мы полагаем, что столь яркое описание работы Ламанского вряд ли можно отнести к принципиальным научным воззрениям Никитина, скорее это все та же дань эпохе, строго следившей теперь уже за марксистской чистотой научных оценок. Только в библиографическом словаре «Славяноведение в дореволюционной России» и ряде более поздних публикаций проявилось более взвешенное и объективное отношение к научному наследию известного ученого³³.

Книга В. И. Ламанского появилась в 1892 г., и ее можно назвать последним историософским сочинением славянофильского направления в русском славяноведении. Со времени формирования основных историософских концепций славянофильского направления прошло не одно десятилетие. Россия вступила в новую эпоху своего развития. Произошли крупнейшие изменения в экономической, внутри- и внешнеполитической обстановке. К концу XIX столетия во всех ведущих мировых державах был отмечен существенный экономический рост. На карте Европы возникли новые государства. Международная ситуация осложнилась столкновениями интересов в колониальной политике и установлении контроля над полузависимыми странами, начали возникать противостоящие друг другу военно-политические блоки. В такой обстановке и появился трактат Ламанского. Важнейшей задачей этого сочинения было в новых условиях продолжить развитие основных теоретико-методологических концепций славянофильства и аргументированно доказать их незыблемость.

В «Трех мирах» учёный, размышляя о прошлом, настоящем и будущем славянских народов, пытался ставить и решать проблемы развития всего человечества в глобальном масштабе. Сложность поставленной задачи и существенные изменения всей политической жизни привели к тому, что труд ученого представляет собой пеструю картину вступающих в противоречие друг с другом старых постулатов и схем с новыми мыслями и наблюдениями. Тем не ме-

нее многие, казалось бы, взаимоисключающие друг друга положения свободно уживаются в общих построениях Ламанского.

Необходимость рассматривать историю человечества как историю самостоятельно развивающихся миров для Ламанского аксиома, деление народов, принадлежавших к европейской цивилизации, на миры романо-германский и греко-славянский — важнейшее теоретическое положение славянофильства на всех этапах его развития. Ламанский лишь стремился расширить этот принцип на все человечество и попытаться выявить и объяснить специфику каждого из миров.

Одной из главных задач труда было определение границ греко-славянского мира, ибо толкований требовало не только включение «третьего мира» — Азии в схему Ламанского, в связи с этим возникала необходимость провести границу между ним и греко-славянским миром. Собственно греко-славянский мир ученый определял как «Средний мир, т. е. не настоящая Европа и не настоящая Азия» [с. 3]. Ученый, следуя за славянофилами, ставившими профессиональные вопросы на первое место в своих исторических построениях, самым важным аргументом в пользу разделения всех трех миров считал вопрос о религиозной принадлежности жителей Европы и Азии. Однако в этом вопросе Ламанский, оставаясь, безусловно, сторонником разделения романо-германского (католического и протестантского) и Среднего (православного) миров, постарался увидеть не только то, что их разделяло, но и то, что их объединяло. Поставить такую проблему Ламанского заставляла необходимость теоретически обосновать отделение мира Среднего от окружающего его азиатского мира. И Ламанский без труда находит общие черты миров греко-славянского и романо-германского, это прежде всего общность многих их «начал». Христианство для него важнейший фактор истории, который «издавна составляет общепросветительное начало и существенный историко-культурный признак европейского и так названного нами Среднего мира» [с. 41].

«У мира Среднего и у Европы, — писал Ламанский, — историческая жизнь и образованность возникают и развиваются если не из совершенно одинаковых, то более и менее общих и сходных источников: христианства и греко-римской цивилизации и культуры. Просветительное начало церкви, политическое влияние преданий империи или царства, образовательное значение древних классических языков и литератур существенно отличают в прошлом, настоящем и будущем судьбы развития мира Среднего и Европы от мира азиатского» [с. 44]. Развивая эту идею, Ламанский выделял одну область, которая полностью объединяет все европейские народы:

«Как сравнительно ни бедна образованность, как ни слаба и ни скудна цивилизация и культура Среднего мира перед образованностью европейской или романо-германской, но, различные по своим возрастам и степеням, по национальным характерам, в главных своих основах и идеалах они составляют одну новую христианскую образованность» [с. 44]. По мнению ученого, основными признаками христианской образованности являются «безграничное стремление к свободе духа во всех проявлениях человеческой деятельности, полнейшее уважение к достоинству и правам человеческой личности, без различия полов, званий и состояний, сознание внутренней обязательности для каждой без исключения личности самоосуждения, раскаяния, самопожертвования и братского благоволения к людям, с неустанным призыванием общего благоденствия, наступления царства Божия на земле, в виде общего братства и свободы всех людей и народов» [с. 44]. Начала эти «одинаково дороги уже в течении многих веков, хотя и медленно осуществляются обеими половинами нового, христианско-арийского, человечества, как собственной Европе, так и Среднему миру» [с. 44]. По глубокому убеждению Ламанского, «каждый христианин, бесспорно, желает распространения и утверждения христианства на всем земном шаре и у себя в отечестве», причем идейное значение христианства выше «политических интересов и польз своего отечества», оно не может понимать «подчиненное отношение к нашей личной и национальной особи» [с. 115].

Важнейшей политической идеей, которую считал необходимым выразить и доказать Ламанский, была мысль о единении всех славян в рамках Среднего мира. Это обстоятельство заставляло ученого отодвинуть на второй план вопрос о конфессиональных различиях среди самих славян и выдвинуть на первое место вопросы этнического родства и этнической же нетерпимости. Так, ученый утверждал, что западные славяне «резко отделяются от своих западных соседей единоверцев, немцев и итальянцев, глубокою взаимною антипатиею, разностью языков и характеров, противоположностью национальных интересов» [с. 24]. Очень важным признаком единения всего славянства Ламанский полагал следующее: «Можно признать также резкими и отличительными признаками славян юго- и северо-западных от собственной Европы — общее им всем благоговейное почитание памяти двух мужей, к подвигам и именам которых собственная Европа относилась или совершенно равнодушно, или даже враждебно... Говорим о славянских апостолах Константине и Мефодии, память которых свято чтилась и чтится даже у западных славян, утративших славянское богослужение...» [с. 23].

Именно поэтому необходимо «все западные славянские земли с точки зрения этнологической и историко-культурной отделять от собственной Европы и относить заодно с Россией и с землями ей единоверными, к так названному нами миру Среднему» [с. 24]. Таким образом, Ламанский в отграничении Среднего мира на западе опирался на этнические признаки, и ему пришлось отделить, несмотря на политические границы, «от собственной Европы славянские земли» [с. 43].

О восточных границах Ламанский размышлял следующим образом: «Относительно же прочих сухопутных границ Среднего мира собственно Азией следует заметить, что их правильнее всего отождествлять с политическими границами России, хотя часто они переходят и границы естественные и этнографические. Таковы целые среднеазиатские области, недавно приобретенные русским оружием» [с. 42]. Подобный подход Ламанский, в частности, объяснял тем, что с присоединением к России эти области «отрываются от коренных основ своей прежней национальной истории и культуры» и «сразу лишаются самых коренных и существенных своих особенностей» [с. 43].

Для проведения границ Среднего мира на Ближнем и Среднем Востоке Ламанский смело вторгался в пределы Турецкой империи. Так, земли, населенные армянами и сирийскими христианами (очевидно, имеются в виду ливанские марониты. — М. Р.), включались ученым в Средний мир [с. 41]. Сюда же относил он даже и «прежних христиан», «ныне же мусульман чисто по нужде и по имени» [с. 420]. Это значит, что конфессиональному признаку в данном случае отдавалось предпочтение перед этническим и государственными границами.

Рассмотрев в общих чертах те принципы, которыми руководствовался Ламанский в выделении особого Среднего мира, мы убедились в том, что автор не выдерживал, да и не мог соблюсти чистоту их применения. Попытка опереться на старые методологические идеи и принципы в данном случае оказалась явно неудачной. Можно отметить, что государственно-политические убеждения и взгляды ученого наложили четкий отпечаток на его методологические построения. Его нельзя, пожалуй, обвинить в том, что он прямо призывал к расширению границ Среднего мира, хотя восточное направление все-таки подразумевалось. Небезынтересно отметить характеристику, которую давал вскоре после кончины Ламанского его ученик Ф. Ф. Зигель в письме к К. Я. Гроту: «Мне кажется, покойного можно отчасти обвинить и в том, что его мысли и пером руководили политическая атмосфера и злоба дня»³⁴.

Ламанский признавал Россию единственным ведущим элементом греко-славянского мира, не умаляя при этом особой роли остальных народов. Он был твердо убежден, что «существование в принадлежащих к России землях нескольких миллионов ее единоплеменников и единоверцев составляет источник ее силы и могущества политического и культурного как в настоящем, так еще более в будущем» [с. 19]. Подчеркивая, что «Россия уже тем полезна славянам, что она существует», Ламанский не переставал напоминать, что славяне «тем, что существуют, полезны России, что без них она никогда не была бы тем, что она есть, что если они зачухнут в борьбе и, наконец, исчезнут, она никогда не будет тем, чем она может быть в случае, если все нерусские славяне сохранят и обеспечат наконец свою самостоятельность» [с. 20]. Много горьких слов посвятил ученый русскому обществу, почти ничего не знающему о славянах, их истории, литературе и культуре. «Мы любим жаловаться, — писал он, — на медленный рост и слабую самобытность русской образованности, но мы не соображаем, что без презираемых нами малых литератур и письменностей славянских русская литература и наука сделали бы по сие время еще менее успехов». Он призывал напомнить, «какое глубокое и плодотворное влияние» оказало на «новейшую русскую науку — филологию, этнографию, археологию, историю — новейшее литературное движение южных и западных славян и труды их корифеев, Добровского, Копитара, Шафарика, Юнгмана, Палацко-го, Линде, Левелея, Караджича, Миклошича и пр.» [с. 21].

Важным элементом историософской концепции Ламанского был ее футурологический аспект. Основы этих построений, как и уже рассмотренных нами, восходили к романтическим концепциям русского славянофильства. Так, ученый, настаивая на различной исторической судьбе «этнологических миров», отражал уже в новых исторических условиях конца XIX в. славянофильскую идею перехода первенства в развитии человечества к миру греко-славянскому от мира романо-германского. Опираясь в основном на демографический фактор [с. 38], он прогнозировал: «...центр романо-германского мира переместится из Европы в другие части света, особенно в Америку и Австралию с Полинезией» [с. 35], а «Европа не может навеки, говоря относительно даже едва ли надолго, сохранить свое первостепенное значение в мировой политике и образованности» [с. 37]. Необычайный прирост «англо-саксов в Новом Свете», по мнению ученого, безусловно, должен привести к тому, что «все прочие романские и германские национальности и языки Старого Света принуждены будут ранее или позже снизойти до роли второстепенных деятелей в мире романо-германском» [с. 37–38].

Ламанский в своих футурологических построениях не боялся быть пророком. Нельзя не отметить своеобразия подхода ученого к «реальному» состоянию «миров» к 90-м гг. XIX в., здесь переплелись и старые, классические схемы славянофильства, констатация новых международных явлений, и критическое отношение к действительному общественно-политическому и культурному состоянию славянских народов, в том числе и русского. Исследователь представлял такую схему: «Если последний (романо-германский мир. — М. Р.) справедливо может быть назван по преимуществу миром настоящего, миром наличного могущества и отчасти где наступающей, где, по-видимому, наступившей уже старости, в отличие от мира собственно-азиатского, этого мира прошедшего по преимуществу, мира дряхлой древности, политической и культурной зависимости, то мир греко-славянский, в отличие от этих обоих миров, часто называется, наравне с англо-саксонским миром Нового Света, миром будущего по преимуществу, или, быть может, правильнее назван миром более или менее горького и неприглядного настоящего, исполненным, однако, надежд, чаяний и упований, далеко не безосновательных, но всячески трудно осуществимых...» [с. 71–72].

Собственно западноевропейские народы обречены на «старение» и должны уступить первенство славянским народам. Таким образом, идея противостояния миров являлась основой в теоретико-методологическом арсенале Ламанского. К ней так или иначе сводились или зависели от нее все остальные мысли исследователя об истории или будущем славянских народов. При этом ученый никогда не отрицал и не принижал огромных достижений европейской цивилизации. «Не будем односторонними, — писал Ламанский, — отдадим должное нашим многолетним увлечениям Европою, ее цивилизацией. В этом увлечении, при всех его крайностях, было много прекрасного. В нашей дани восторгов было много справедливого, истинно-человеческого: средневековая и новая Европа, романская и германская ее половины в духовно-религиозной области, общежитии, в государственности, в искусствах, в науках, промышленности, торговле раскрыли столько богатства и величия духа, столько отваги и любви, создали такое множество разнообразных, чудных несокрушимых памятников энергии, талантов и гения, что грядущие людские поколения во всех углах земного шара вечно будут с благодарностью вспоминать о великих подвигах Европы» [с. 107].

Ламанский, противопоставляя романо-германский и греко-славянский миры, признавал для них, тем не менее, как мы отмечали выше, объединяющее начало христианской образованности. Традиционная славянофильская историософия предпочитала, однако,

тезис о том, что существование различных христианских конфессий разъединяет даже славянские народы. В начале 60-х гг. XIX в. Ламанский и сам высказывал чрезвычайно резкие суждения о вредоносной роли католицизма, в частности, для поляков — «католицизм растлил у них и сердце, и ум»³⁵. В своей книге ученый избегает таких крайностей, напротив, он призывает поддержать борьбу поляков в Пруссии против попыток их онемечить, напоминая: «...мы нередко забываем возблагодарить их за услуги, в разное время ими оказанные славянству, когда они боролись с германизмом...» [с. 22]. Тем не менее он, естественно, оставался сторонником признания православия истинным христианством и истинной же славянской религией. Ламанский утверждал, что «лучшие люди» романо-германского мира, выступавшие против «искажений и злоупотреблений Рима, не переставали в подтверждение того или другого своего мнения указывать на греков и восточную церковь как хранительницу высших христианских идеалов и лучшего строя церковной жизни» [с. 77–78]. Он считал православие первостепенным фактором в развитии России. «Трудно вкратце выразить все бесконечно-благотворное влияние православной веры, церкви на жизнь русского народа, — писал Ламанский. — Если наша Русь чем крепка и сильна, чем живет и движется, почему ей предстоит великое будущее, — конечно, благодаря ее высокому просветительному началу. Все прочее, что нужно людям, само прилагается и приложится, ибо для человечества нет и никогда не будет ничего выше искания царства Божия, царства вечной истины и совершенной любви» [с. 110].

Особое место, которое Ламанский уделял роли христианского учения во всех сферах человеческой деятельности, всегда необходимо иметь в виду при анализе как его научных, так и общественно-политических взглядов. Так, необходимость одной из важнейших гражданских свобод — свободы слова — ученый возводил к мысли Григория Богослова: «Запрещение пользоваться даром слова показывает только, что запрещающие не полагаются на правоту свою...» [с. 117]. Идея ненасилия в вопросах взаимоотношений государства с подданными также была им заимствована у Григория Богослова.

Суждения Ламанского о неславянских народах, населяющих Средний мир вообще и Россию в частности, также опирались на принципы христианской морали. Так, он писал: «...в нашем мире имеют свое определенное место, свое призвание и разные другие племена и народности, как греки, албанцы, румыны, мадьяры... их сохранение и развитие в их собственных пределах точно так же — дело желательное, необходимое» [с. 89]. Суждения ученого об от-

ношении в обществе к «инородцам» снимает, на наш взгляд, обвинения Ламанского в шовинизме, более того, именно он выступал принципиальным противником всякого национализма. «В значительной части нашего образованного или полуобразованного общества, — сетовал Ламанский, — слышны самые дикие и грубые мнения и выражения об инородцах. Это совсем не по-христиански да и большое заблуждение. Это решительно наше несчастье. Пора, давно пора понять, что начало разнообразия только пополняет и оплодотворяет начало единства: „каждую особенную народность жизни и слова“, — по прекрасному замечанию Срезневского, — можно сравнить с особенным музыкальным тоном, каждая необходима, каждая самобытна, хотя и сливается с другими» [с. 122]. Чувствуется в его высказываниях и натура профессионального ученого, считавшего, что «в языках, народных преданиях, песнях, обычаях всех наших инородцев содержится великое богатство данных, важных не для одной, а для нескольких наук... Эти данные выяснят много теперь темного, раскроют много тайн, обогатят, раздвинут человеческое знание» [с. 123].

Весьма нелестно судил ученый о всем внутреннем устройстве государств, входящих в Средний мир, и особенно о России. Так, «администрация наша, столичная и провинциальная, еще поныне славится своею неточностью, неисполнительностью и халатностью по крайности в отношениях к мелкой публике и к народу», процветают такие отрицательные черты, как «неряшество, разгильдяйство, нередко настоящая недобросовестность» [с. 101]. Ламанский постоянно задавался вопросом: «В самом деле, кто из нас, полагая руку на сердце, может решиться сказать, что все в нашем мире обстоит благополучно и ничего особенного нам не требуется?» [с. 83]. И далее ученый продолжал цепь вопросов, адресованных и себе, и читателям, и вопросы эти рисовали неприглядную картину существующей действительности: «Как еще слабо у всех у нас развито народное самосознание? Как еще мало мы знаем свое прошлое, настоящее наших стран и народов и их взаимные отношения, наши природные богатства и как вообще слабо, за весьма немногими исключениями, они у нас разрабатываются? Как еще в огромнейшей части нашего мира господствует смертность детей, какая беспомощность против частых всякого рода повальных болезней на людей и на скот, какие ежегодно почти происходят потери народных сил и имуществ от пьянства, пожаров, саранчи, сусликов, филлоксеры, от дикого истребления лесов, от засух и голодовок, разливов и обмеления рек, от бездорожья и всяческих беспорядков на наших земляных и водяных путях сообщений, столь дорого стоящих государствам и народам?

Где такая дорогая администрация с таким множеством неспособных, несведущих и недобросовестных исполнителей и всякого рода пустых формальностей, что задерживают ход всякого дела, где, как не в нашем же мире...» [с. 84–85].

В отечественной историографии, как мы уже отмечали, сложилась достаточно прочная, за исключением, пожалуй, последних работ, традиция представлять взгляды Ламанского как реакционные, националистические, шовинистические и т. д. Мы полагаем, что общий обзор важнейшего труда Ламанского позволит расстаться с некоторыми чисто идеологическими оценками, зачастую диктованными конъюнктурными соображениями. Творческое наследие академика Ламанского обширно, его взгляды, как научные, так и общественно-политические, заслуживают внимательного и объективного освещения.

Примечания

1. В. И. Ламанский. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892 (далее в тексте указаны страницы в скобках).
2. ПФ АРАН, ф. 825, оп. 1, д. 19.
3. Там же, л. 88–153.
4. Там же, л. 108–111.
5. Там же, л. 108.
6. Там же, л. 109.
7. Там же, л. 111.
8. Там же.
9. Там же, оп. 2, д. 33, л. 5 об.
10. Там же, оп. 1, д. 19, л. 3.
11. Там же, ф. 752, оп. 2, д. 67, л. 26, 26 об.
12. Там же, ф. 827, оп. 5, д. 74, л. 1.
13. Там же, л. 4.
14. Там же, л. 6.
15. Там же, ф. 827, оп. 1, д. 1021, л. 1–2.
16. Труды Института славяноведения АН СССР. Л., 1934, т. 2, с. 506.
17. Ю. В. Готье. Славяноведение в России и СССР // Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983, с. 153.
18. Там же, с. 154.
19. Там же, с. 155.
20. Там же, с. 154.
21. Там же, с. 155.
22. Там же, с. 153.

- ²³ В. И. Пичета. К истории славяноведения в СССР // Историк-марксист. 1941, № 3, с. 46.
- ²⁴ Ю. В. Готье. Славяноведение в России и СССР // Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983, с. 146 (предисловие А. Е. Москаленко).
- ²⁵ В. И. Пичета, У. А. Шустер. Славяноведение в СССР за 25 лет // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942, с. 224.
- ²⁶ Там же.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ ПФ АРАН, ф. 827, оп. 1, д. 790, л. 1 (далее в тексте указаны листы в скобках).
- ²⁹ Там же, д. 47, л. 404.
- ³⁰ Там же, л. 412.
- ³¹ Там же.
- ³² Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963, т. 3, с. 501.
- ³³ Л. П. Лаптева. Ламанский Владимир Иванович // Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979; М. А. Робинсон. Методологические вопросы в трудах русских славяноведов конца XIX — начала XX в. (В. И. Ламанский, П. А. Кулаковский, К. Я. Грот.) // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986; М. А. Робинсон. Основные идейно-научные направления в отечественном славяноведении конца XIX — начала XX в. // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990.
- ³⁴ ПФ АРАН, ф. 281, оп. 2, д. 171, л. 15.
- ³⁵ Переписка двух славянофилов И. С. Аксакова и В. И. Ламанского // Русская мысль, 1916, кн. 12, с. 93.

М. Ю. Досталь
(Москва)

Славянская комиссия Академии наук СССР (1942–1946)

Славянская комиссия (1942–1946) при Президиуме АН СССР была создана в годы Великой Отечественной войны в целях содействия развитию славяноведения в Советском Союзе. Ее возглавил академик Н. С. Державин (1877–1953). До настоящего времени это сообщество ученых, внесшее свой вклад в возрождение отечественного славяноведения, став одним из трех «источников» формирования Института славяноведения АН СССР, еще не было предметом специального исследования. Архив Славянской комиссии в виде отдельного фонда не сохранился. Некоторые документы о ее деятельности автору удалось обнаружить в нескольких фондах московского Архива РАН (далее — АРАН) и его петербургского филиала (далее — ПФ АРАН).

Идея создания Славянской комиссии (далее — СК) высказывалась академиком Н. С. Державиным еще в 1938 г., в начале борьбы за возрождение славяноведения в СССР. Существовавшая ранее в рамках еще неорганизованной Академии наук комиссия под аналогичным названием, занимавшаяся изучением «славянства в историческом, литературном, этнографическом, языковом и др. отношениях» под руководством П. А. Лаврова, была расформирована в начале 30-х гг. в период массовых репрессий оставшихся в Советской России славистов¹.

Н. С. Державин оказался одним из немногих советских славяноведов, избежавших тюрьмы и ссылки, но Институт славяноведения (1931–1934) — его любимое детище — был закрыт. Предложения ученого о некоторых мероприятиях, отчасти компенсирующих эту потерю², руководящими инстанциями тогда не были приняты во внимание. Однако накануне Второй мировой войны внешнеполитическая ситуация изменилась. Советское руководство, предвидя грядущую войну с фашистской Германией, с одной стороны, пыталось «умиротворить» агрессора, пойдя на заключение позорного пакта Риббентроп — Молотов, но с другой — должно было подумать о своих стратегических союзниках, среди которых важное место традиционно занимали славянские страны. Н. С. Дер-

жавин, как никто другой, понимал это последнее обстоятельство, пытаясь использовать его для обоснования необходимости возрождения славяноведения в СССР. В 1938 г. он писал: «Угрожающее наступление немецкого фашизма на дружественную нам Чехословакию и другие славянские страны Центральной Европы, всякое замаскированное или открытое противодействие успехам славяноведных исследований в СССР должно быть рассматриваемо как попустительство фашизму. С другой стороны, заострение внимания советской науки к славяноведным проблемам, несомненно, сыграет в трудовых демократических кругах малых народов Центральной Европы, находящихся под непосредственной угрозой фашистского погрома, огромную роль фактора, стимулирующего подъем антифашистского настроения, так как будет воспринято здесь как доказательство внимания к малым народам со стороны великого Советского Союза, пользующегося в этих кругах, как известно, исключительным авторитетом единственного в мире подлинного защитника угнетенного человечества»³.

Не случайно уже в 1938 г. в кругах филологов и историков СССР началось обсуждение вопроса об организации центров славяноведения в академических институтах и вузах страны. В середине 1938 г. в Отделении общественных наук АН СССР обсуждался проект академика А. М. Деборина, предусматривавший создание в Ленинграде при Институте языка и мышления (ИЯМ) им. Н. Я. Марра совместно с Институтом литературы АН СССР специального сектора по изучению языков, истории литературы и фольклора южных и западных славян, с привлечением к работе в нем, кроме пяти славистов из ИЯМ, академиков Б. М. Ляпунова и Н. С. Державина, члена-корреспондента Л. В. Щербу, профессора В. Г. Чернобаева и др. ведущих специалистов.

Н. С. Державин, находясь в сложных личных отношениях с ленинградскими славистами, выступил против этого проекта. В служебной записке академику И. К. Луполу он обосновывал свой отказ нежеланием оказаться в подчинении «компании предпринимателей, очковтирателей и бездельников», в числе которых безосновательно назывались академики: А. С. Орлов, А. М. Деборин, профессора В. М. Жирмунский и В. Г. Чернобаев; «при полной пассивности и невмешательстве со стороны П. И. Лебедева-Полянского» (Директора И. Л. — М. Д.). Взамен он предлагал укрепить существовавший в ИЯМ кабинет русского и славянского языков. «Наконец, — писал он далее, — если бы Президиум признал бы полезным объединение всех ленинградских славяноведов, литераторов и лингвистов, включая сюда и специалистов по рус-

скому языку, полезным и отвечающим интересам дела, то в таком случае надо было бы говорить не о создании отдела славянской филологии в составе ИЯМ, а о создании Славянской комиссии (выделено мной. — М. Д.), подчиненной Президиуму АН, но в таком случае всю лингвистическую работу по изучению русского и других славянских языков пришлось бы изъять из ИЯМ и передать в ведение названной выше Славянской комиссии, что я признаю не своевременным и нецелесообразным. Организация же отдела славянской филологии в составе ИЯМ явится, несомненно, кустарщиной, снижать до которой академическое славяноведение нельзя» (12. IX. 1938)⁴.

Руководство АН СССР, видимо, приняло во внимание доводы Н. С. Державина и подобный отдел в ИЯМ, равно как и Славянская комиссия, в то время созданы не были.

Предложение о создании при Отделении литературы и языка АН СССР (ОЛЯ) Комиссии славянской филологии, в задачи которой входила бы координация работ в области славяноведения, прозвучало в докладе С. П. Обнорского «Перспективы развития славянской филологии в СССР», сделанном в 1940 г. на майской сессии ОЛЯ⁵.

Новое предложение об организации СК Н. С. Державин выдвинул в разгар Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Казани. Оно также прозвучало в более широком контексте. Несмотря на тяжелые условия военного времени, ученый мечтал о создании в СССР фундаментального центра славяноведения, который осуществлял бы подготовку кадров славистов, а также академические исследования по истории языков, литератур, культуры и прошлого славянских народов, гарантировал их архивное и библиотечное обеспечение, координировал работу славистов внутри страны и развивал их международное сотрудничество. Этим целям соответствовало бы, по мнению Н. С. Державина, создание в СССР Академии славяноведения. Более узкие задачи в рамках этого проекта мог бы решать Институт славяноведения (со штатом приблизительно 60 человек) и, наконец, Славянская комиссия (со штатом в 10 человек). В докладной записке от 17 августа 1942 г. Н. С. Державин представил на рассмотрение Президиума АН СССР все три варианта создания славистического центра в нашей стране. Естественно, что в ходе обсуждения проекта, учитывая условия войны, был избран самый «экономный» из предложенных вариантов. В постановлении Президиума АН СССР указывалось, что он признает целесообразным организацию в системе Академии Института славяноведения, но временно, в связи с военным

временем, организует вместо него «для объединения научно-исследовательских работ, ведущихся в АН СССР», Славянскую комиссию «с привлечением к ее работам специалистов-славяноведов и византинистов»⁶.

Штаты СК, по замыслу ученого, должны были составить: 1 председатель, 1 зам. председателя, 1 ученый секретарь, 5 старших научных сотрудников, 1 референт и 1 машинистка. В конце концов был утвержден состав СК из пяти человек (председатель, его заместитель, ученый секретарь, референт и машинистка). Персонально, естественно, Комиссию возглавил академик Н. С. Державин, его заместителем был утвержден академик С. П. Обнорский, ученым секретарем — первоначально профессор М. В. Левченко, который, однако, по имеющимся сведениям, так и не приступил к исполнению своих обязанностей. Эту должность исполнял профессор В. Т. Дитякин, совмещая ее с обязанностями референта⁷.

Н. С. Державин рассматривал Комиссию как прообраз будущего Института славяноведения и понимал ее задачи чрезвычайно широко. По его замыслу, ей предстояло координировать «научно-исследовательскую работу по славяноведению во всех его частях (история, языкознание, литературоведение, этнография, экономика) и смежных с ним дисциплинах (византиноведение, история СССР, история Западной Европы и др.)», содействовать «исследовательской работе как целых научно-исследовательских учреждений, так и отдельных организаций и лиц путем изыскания соответствующих средств», устанавливать «связи между отдельными учреждениями с целью создания максимума единства и плановости тематики, достижения теоретической выдержанности и широчайшего охвата всех проблем, стоящих перед советским славяноведением»; устанавливать связи между «славяноведными научными учреждениями СССР и заграницы»; содействовать «широкой популяризации достойных теоретических работ научных учреждений», «созданию и постановке славяноведных курсов в вузах СССР»; оказывать братскую помощь и содействие научно-исследовательским учреждениям славянских народов, не объединенных СССР⁸.

Для достижения указанных целей СК, как полагал Н. С. Державин, должна была установить «постоянные связи со всеми славяноведными научно-исследовательскими учреждениями СССР и с заграницей», разработать «единый теоретический план научных работ по славяноведению в СССР» и представить его в Президиум АН СССР, принимать участие в работах АН Союза ССР и республик, а также зарубежных славистических уч-

реждений путем послышки на их сессии своих представителей, оказывать поддержку местным славистическим учреждениям в их обращениях и ходатайствах перед центральными правительственными учреждениями и общественными организациями СССР, оказывать широкое содействие Всесоюзному комитету по делам высшей школы в постановке славистических курсов в вузах СССР путем участия в соответствующих его комиссиях, выработке программ курсов, рекомендации преподавателей, участия в подготовке аспирантуры, созывать пленарные заседания комиссии и конференции научно-исследовательских учреждений и научных работников-славяноведов, выполнять задания общеславяноведческого характера (библиографические работы по славяноведению, энциклопедия славяноведения, сборник по славяноведению общего характера, переводы классических работ и т. п.), принимать участие в работах Всеславянского комитета в Москве и других общественных организаций, организовывать научно-популярные лекции, издавать научно-популярную литературу, регулярно представлять отчеты Президиуму АН СССР⁹.

Таким образом, по замыслу Н. С. Державина, СК должна была стать средоточием всей славистической работы в СССР, взяв на себя функции международного представительства и посредничества перед высшими государственными учреждениями внутри страны, определяя характер не только научно-исследовательской работы, но и преподавания славистических дисциплин в вузах, а на общественно-политическом уровне — «нового славянского движения» в СССР и т. д. Разумеется, что осуществление подобных «замыслов с размахом» в СССР в условиях войны при незначительном количестве кадров славистов и весьма скромных организационных и финансовых возможностях СК было не реально. И тем не менее попытки реализации вышеизложенной программы, предпринятые Н. С. Державиным, заслуживают внимания и уважения потомков.

Работа Славянской комиссии началась с составления В. Т. Дяткиным упомянутого выше положения о ее деятельности, собирания сведений о ведущихся в научных учреждениях СССР работах по славяноведению и составления сводного обзора их, а также подготовки списка работающих в СССР славистов, которых Н. С. Державин стремился привлечь к работе в СК. Первый список включал 20 человек. Это были в основном историки-слависты, работавшие в секторе славяноведения Института истории АН СССР (В. И. Пичета, Л. В. Разумовская, эмигранты из ряда стран: З. Р. Неядлы, Р. К. Караколов, Д. И. Влахов, Н. П. Франич, С. И. Зинич, Д. С. Гус-

тинчич), У. А. Шустер, Н. Ф. Яковлев, филологи из института языка и мышления АН СССР (Б. М. Ляпунов, А. М. Селищев), лингвист С. Б. Бернштейн, литературовед М. О. Скрипиль, фольклорист П. Г. Богатырев, византилисты М. В. Левченко, Е. О. Липшиц и др. Многие из них находились в эвакуации в Ташкенте, Свердловске, Казани и других городах Союза. Всем им были разосланы приглашения с изложением программы деятельности Комиссии¹⁰.

Далее Н. С. Державин, будучи в командировке в Москве, «посетил заседание Института языка и письменности и огласил план работ СК, который был встречен всеми участниками заседания выражением сочувствия и готовности работать. Им достигнута полная договоренность со Всеславянским комитетом, членом которой он является, о предоставлении комитетом помещения для работы Славянской комиссии»¹¹.

Первое заседание СК состоялось в Казани 8 января 1943 г. в присутствии Н. С. Державина, С. П. Обнорского, В. Т. Дитякина, Н. В. Пигулевской и М. О. Скрипиля. Из сохранившегося протокола заседания следует, что в ходе его обсуждались вопросы бюджетного финансирования, штатного состава Комиссии; была одобрена предварительная организационная деятельность Державина. Было решено «провести в ближайшее время учет всех научных работников СССР, работающих в области славяноведения и смежных дисциплин, установить с ними регулярные связи, наметить план научных заседаний на ближайшее время, приступить к развертыванию издательской деятельности Комиссии, подготовив в первую очередь 1-й том трудов Славянской комиссии». Предусматривались три серии изданий СК: 1. «Труды Славянской комиссии» (непериодическое издание); 2. Монографии; 3. Популярно-агитационная литература, учебники и брошюры. Всем членам СК настоятельно рекомендовалось «принять самое широкое участие в деле распространения правильных научных сведений о славянских народах, их истории, литературе, современном положении, их героической борьбе с гнусным врагом всех славян — германским и итальянским фашизмом и их подлыми приспешниками» и особое внимание уделить сотрудничеству в журнале «Славяне»¹².

О первых шагах работы Комиссии Н. С. Державин весьма откровенно писал П. Г. Богатыреву 17 апреля 1943 г.: «С декабря 1942 г. у нас функционирует „Славянская комиссия“, как временное учреждение. После войны она будет реорганизована в „Славянский институт“. Я уже включил Вас в состав „Славянской комиссии“, а затем Вы перейдете в „Славянский институт“. Работа Комиссии протекает в Казани, но ввиду отсутствия, кроме меня и двух византинистов,

других специалистов, носит очень жиденький характер. Со славистами у нас в СССР вообще дело обстоит очень слабо, особенно после потери в Ленинграде трех моих учеников. Как удастся нам наладить работы „Славянской комиссии“, я не знаю, но не падаю духом»¹³.

П. Г. Богатыреву, как и другим избранным Н. С. Державиным членам СК, был послан план ее работ на 1943 год, включавший в себя актуальные (с точки зрения научных задач) проблемы славяноведения, которые предполагала рассматривать Комиссия на своих заседаниях. Среди них были названы: проблема этногенеза славянских народов; борьба славянских народов за национальную свободу и государственную независимость; общность культуры славянских народов по данным вещевых памятников, древностей, языка, литературы; фольклора, права; критический пересмотр средневековых памятников по истории славянских народов; славяне и Византия в их культурно-исторических связях и взаимоотношениях. В приглашении членам Комиссии также указывалось: «Настоящим Вы привлекаетесь к работе Комиссии. Об избранной Вами теме работы и форме ее (исследование, доклад, статья для Трудов Славянской комиссии) прошу Вас сообщить по адресу: г. Казань, ул. Чернышевского 18, АН СССР»¹⁴.

Следует отметить, что предлагаемая Н. С. Державиным тематика докладов по славяноведению была комплексной, не носила выраженного конъюнктурного характера (за исключением, может быть, второй темы). В дальнейшем, как мы увидим, она была значительно изменена с учетом зависимости от реальных исследовательских возможностей приглашаемых ученых и «социального заказа» военного времени.

Уже в первые два месяца существования Славянской комиссии в Казани Н. С. Державину удалось организовать пять заседаний с обсуждением докладов. Вначале он предложил слушателям свой постановочный доклад «Этногенетический метод изучения русского и славянского фольклора (в связи с исследованием былины об Илье Муромце и Кралевиче Марко)», чтобы продемонстрировать идейную зрелость возглавляемой им Комиссии и готовность ее членов развивать славяноведение на основе методологии марксизма-ленинизма. В нем он попытался соединить несоединимое: во-первых, в духе учения Н. Я. Марра дать «развернутую характеристику нового, резко порывающего со старой традицией метода исследования фольклора. Это метод этногенетический, основанный на приложении к фольклору диалектической теории познания, строящегося на ней учения о стадиях мышления». Во-вторых, в соответствии с потребностями военного времени, активизи-

зирующими усилия по сплочению славянских народов на борьбу с фашизмом, он руководствовался, «с одной стороны — идеей общности славянских народов, с другой стороны — идеей глубокой в то же время самобытности, значимости и величия древнейших культур славянских народов». И эта «гремучая смесь» истинно-марксистского «нового учения Н. Я. Марра о языке», отрицавшего существование каких-либо национальных и «генетически связанных» общностей и языковых семей в соединении с традиционными для дореволюционного славяноведения «возрожденческими» идеями славянской взаимности и сравнительного славянского языкознания, предложенная в качестве нового метода, была иллюстрирована, как говорилось в информации, «внимательным анализом огромного количества памятников славянского фольклора и особенно двух вышеназванных, широко известных всему миру былин». Тем не менее, «присутствующие на заседании члены Комиссии отметили чрезвычайную плодотворность нового метода, обширность и солидность его аргументации»¹⁵.

Другие доклады не носили столь «новаторского» характера, будучи посвящены традиционным проблемам славяноведения. Заместитель председателя СК, академик С. П. Обнорский посвятил свое сообщение 100-летию со дня издания Остромирова евангелия, замечательного памятника древнерусской письменности, охарактеризовав его значение «для истории русского языка, палеографии, искусства... на широком фоне картины развития филологии»¹⁶.

Одно из заседаний Комиссии было посвящено памяти ее члена академика Б. М. Ляпунова, скончавшегося 23 февраля 1943 г. Выступавшие отметили огромные познания, разносторонность и широту научных интересов покойного, «хорошо известного и зарубежному славянству»¹⁷.

Литературовед М. О. Скрипиль прочел доклад «Повесть о Петре и Февронии и сербская песня о царице Милице и Змее из Ястребца (К проблеме славянского единства)». Используя традиционные методы исследования, он сосредоточился на анализе вопроса «о культурных связях восточных и южных славян в период раннего развития их национальных культур», показав несостоятельность старых представлений о заимствованиях в названных славянских памятниках из скандинавского фольклора. Их сходство он объяснял «восхождением этих обоих произведений к одному общему для всех славянских племен источнику»¹⁸.

Византинист М. В. Левченко в докладе об «Императорском домене в Византийской империи в VI веке» нарисовал «обстоятельную картину земельных порядков в Византии VI в., с которыми

пришлось столкнуться становившимся здесь на ноги славянским племенам»¹⁹.

Всего в Казани на заседаниях СК было прочитано девять докладов. В информации упомянуты выступления доцентов Б. Д. Дациока «Патриотические идеалы Юрия Крижанича»; М. А. Васильева «Мотивы патриотизма и идея славянского единства у русских поэтов XIX в.»; Е. В. Бахмутовой «Пушкин и славянство» и профессора М. В. Левченко «Императорское землевладение в Восточно-Римской империи в V–VI вв.»²⁰.

Одновременно Н. С. Державин предпринимал усилия по «постановке изучения истории, литературы и языков славянских народов в высшей школе, направив специальное письмо Председателю комитета по делам Высшей школы С. В. Кафтанову от 29 апреля 1943 г. В нем он предлагал осуществить несколько мероприятий: создать при ВПШ, при ВАК славянскую подкомиссию, которая должна будет взять на себя проведение всей методической работы, составление программ курсов, подготовку учебников, выдвижение лекторов и т. д.; поручить СК АН СССР подготовить программы по курсам истории, истории литературы и языков всех славянских народов для историко-филологических факультетов университетов и пединститутов; поручить СК АН СССР подготовить учебник по истории славянских народов, большая часть материалов для которого уже собрана работниками комиссии (Державиным и Дитяткиным); поставить с осени 1943 г. в нескольких крупных вузах СССР курсы истории, литературы и языковедения славянских народов, в чем СК АН СССР может оказать широкое содействие. С. В. Кафтанов в ответном письме от 31 мая 1943 г. констатировал, что при Комитете уже создана специальная экспертная филологическая комиссия под руководством профессора А. М. Еголина, которой поручено проведение всей методической работы по составлению программ курсов и учебников, в том числе и по вопросам славяноведения. Тем не менее, Комитет просит СК АН СССР подключиться к работе названной комиссии и прежде всего в части подготовки программ и учебников по истории, истории литературы и языков славянских народов для историко-филологических факультетов университетов и пединститутов и рекомендовать специалистов-славяноведов для прочтения в них специальных курсов лекций²¹. Дальнейший ход работы Комиссии в этой области нам неизвестен, но фактом является деятельное участие Н. С. Державина на уровне Президиума АН СССР в деле организации осенью 1943 г. кафедры славянской филологии МГУ²².

После сентябрьского общего собрания АН СССР Комиссия продолжила свою работу уже в Москве, проведя в 1943 г. еще пять научных заседаний. В отчете за этот год указывалось, что, кроме того, «члены СК вели большую популяризаторскую работу, выступая с докладами и лекциями на славяноведческие темы на научных сессиях Академии наук СССР, высших учебных заведений, в различных учреждениях, предприятиях и воинских частях. Эта работа имела большое значение для распространения правильных сведений по истории, литературе и языкам славянских народов»²³. В конце года Комиссия совместно со Всеславянским комитетом приступила к подготовке справочника «Славяне (народы и страны)», в составлении которого под руководством Н. С. Державина приняли участие академик Л. В. Щерба, член-корреспондент АН СССР А. М. Панкратова, профессора Т. С. Горбунов, В. Т. Дитякин, З. Р. Неедлы, В. П. Коларов, доцент В. Д. Дацюк, Л. М. Корман, Н. П. Франич, Р. К. Караколов, Д. И. Влахов, В. Д. Королюк, Ф. Т. Константинов, В. С. Осьминин, Д. С. Густинчич, С. И. Зинич²⁴. Многие из вышеназванных докладов и другие статьи членов Комиссии впоследствии были напечатаны в журнале «Славяне», советской и зарубежной ежедневной прессе.

К концу 1943 г. был составлен 1-й том трудов Славянской комиссии, содержащей 20 статей общим объемом в 32 авторских листа. В него были включены вышеназванные доклады Н. С. Державина, С. П. Обнорского, М. В. Левченко, М. О. Скрипиля, написанные С. П. Обнорским статьи по истории науки «К 20-летию со дня смерти И. В. Ягича» и «Некролог А. Н. Селищева», статья об академике Н. С. Державине, а также статьи византинистов Н. В. Пигулевской «Славяне на Балканском полуострове во второй половине VI—начале VII в.», Е. О. Липшица «Из истории нападения славян на Византийскую империю», статьи по истории южных славян — В. И. Беляева «Арабские источники по истории южных славян», М. Д. Бушмакина «Славянский вопрос во франко-турецких отношениях XVI в.», В. Т. Дитякина «Образование государства хорватов» и др. Проблемы современности затрагивались лишь в статье В. Т. Дитякина «Начало Освободительной войны народов Югославии против немецко-итальянских захватчиков»²⁵. О работе над Трудом СК говорилось в последующих отчетах о деятельности Комиссии, которые, по неясным для нас причинам, так и не были опубликованы. Однако подавляющее большинство названных статей были впоследствии напечатаны в различных научных изданиях и в журнале «Славяне».

Н. С. Державин продолжал работу и над персональным составом СК. К началу 1944 г. число научных работников, привлеченных в

Комиссию, достигло 46 человек (из них 36 — члены СК). Это были прежде всего сотрудники различных институтов АН СССР, затем работники АН УССР, МГУ, БГУ и др. Среди них 3 академика, 3 члена-корреспондента, 22 профессора и доктора наук, 8 старших научных сотрудников, 4 доценты, 5 аспирантов. По специальности они распределялись следующим образом: филологов — 13, историков и этнографов — 28, правоведов и экономистов — 6, искусствоведов — 1²⁶.

Сохранился список членов СК на 20 октября 1943 г. Среди новых имен в нем были филологи — акад. Л. В. Щерба, проф. С. Г. Бархударов, Р. И. Аванесов, Башкиров, ст. науч. сотрудник ИМЛ С. И. Урбан, доц. С. С. Высоцкий и др.; историки и этнографы — члены-корр. А. Д. Удальцов, С. К. Богоявленский, проф. Б. А. Рыбаков, Н. П. Грацианский, М. Н. Тихомиров, докт. ист. наук Н. В. Пигулевская, аспиранты Института истории Ф. Т. Целовальникова, профессора, сотрудники Украинской АН Гуслистый, Петровский и др.; экономисты и правоведы — проф. В. П. Коларов, Г. С. Михайлов, В. А. Краснокутский, Т. С. Горбунов, Н. А. Кожин, З. Л. Орех, преподаватель ВШРККА Д. К. Рудных, член-корр. Украинской АН С. В. Юшков и др.²⁷ Большинство из них реально в СК не работали.

В 1944 г. СК АН СССР значительно расширила свою работу «как по линии проблематики славяноведения, так и по линии организационной». Было проведено 14 пленарных заседаний, 2 секционных и 2 совещания, на которых заслушано 13 научных докладов и сообщений, охватывавших как общие, так и многие частные проблемы славяноведения. В отчете за этот год отмечалось, что в них «впервые были поставлены вопросы анализа истории государственно-правовых отношений» и истории искусства славянских народов. «Наряду с разработкой тем, относящихся к более или менее далекому историческому прошлому славянских народов, были поставлены и подверглись обсуждению актуальные проблемы современности»²⁸.

Заседания Комиссии в 1944 г. открылись докладом старшего научного сотрудника ИМЛИ им. А. М. Горького С. И. Урбана «Идея борьбы за единство славянских народов и национальное освобождение в словенской литературе до XIX века». В информации говорилось, что автор подробно осветил развитие словенской литературы в контексте исторического развития словенского народа, показав «его богатое историческое прошлое, обычно отрицаемое немецкими фальсификаторами истории». Основными идеями словенской литературы с самого ее зарождения были названы — в

духе военного времени — «идеи независимости словенского народа, единства славянских народов», отмечалось, что «борьба с немцами в художественной литературе словенцев всегда занимала очень большое место»²⁹.

Второе сообщение С. И. Урбана являлось обзором словенской литературы XIX — начала XX в. Судя по информации, доклад был построен по классической схеме марксистской историографии — «начав с характеристики влияния Французской буржуазной революции XVIII в. на развитие словенской общественности, подробно охарактеризовав иллирийское движение, влияние революции 1848 г., докладчик подробно осветил период конца XIX и начала XX в., когда идея объединения словенского народа достигает особой выразительности (творчество Прешерна, Григорчича, Ашкерца и др.)». Примечательно, что свое сообщение докладчик закончил «анализом патриотических песен современной национально-освободительной борьбы народов Югославии против немецкого и итальянского фашизма»³⁰.

В докладе С. Б. Бернштейна «Болгарская иммиграция в России во время русско-турецкой войны 1827–1829 гг.» широко использовались материалы Одесского исторического архива, собранные в довоенный период. В нем докладчик обстоятельно осветил «почти неизвестный в научной литературе период болгарской иммиграции в Россию, предпринятой по плану графа Воронцова и значительно расширенной петербургскими правящими сферами. Печальные судьбы этой волны болгарских иммигрантов целиком объяснялись теми противоречиями, которые существовали между широкими проектами императора Николая I и узкими возможностями их осуществления»³¹.

Другой доклад С. Б. Бернштейна, ставший затем основой докторской диссертации ученого, был посвящен «Истории именного склонения в валашских грамотах XIV–XV столетия». В информации говорилось, что автор на основании большого количества изученных им валашских грамот «восстанавливает сменяющие друг друга пласты в развитии болгарского языка, выдвигая при этом ряд весьма интересных, но крайне спорных, вопросов по истории древнеболгарского языка и его происхождения». Доклад С. Б. Бернштейна вызвал оживленную дискуссию, в которой выступил и Н. С. Державин, подвергший «критическому разбору основные методологические установки докладчика и нарисовавший стройную концепцию развития болгарского языка»³².

Три доклада посвящались вопросам древней истории славянских народов. Профессор В. П. Пожидаев в докладе «Азы-черкесы и

болгарские династии» дал обстоятельный анализ сведений античных писателей, археологии и лингвистики о древнейших обитателях Северного Кавказа. В отчете указывалось, что автор, «остроумно конструируя древнейшую историю народа адыче, адзыче, адзухи, создает гипотезу о связях между этим народом и древнейшими болгарскими племенами, создателями Первого Болгарского царства. Опираясь также материалами лингвистики и этнографии, докладчик выдвигает предположение, что и вторая болгарская династия была очень близка сарматской среде». Вероятно, докладчик базировался на «новом учении о языке» Н. Я. Марра. Не все выступавшие по докладу согласились с выводами его автора. Но в целом «была призвана правильность постановки вопроса о складывании славянского народа из различных прото- и близславянских компонентов; особенное значение имеет привлечение докладчиком кавказских материалов, обычно не затрагиваемых при исследовании этого вопроса»³³.

В числе докладов по древней истории славян — два касались вопросов истории права, весьма редкого явления в тогдашней и нынешней славистической среде. Профессор С. В. Юшков в докладе «О влиянии болгарского права на древнерусское право», «вполне убедительно, на анализе многих правовых памятников доказал, что влияние болгарской литературы на русскую было гораздо более значительно, чем это обычно трактуется. Путем текстологического исследования автор показал, что Судебник царя Константина в Киевской Руси был столь же важным и действующим источником права, как и знаменитая „Русская правда“»³⁴.

Профессор В. А. Краснокутский прочитал доклад «Роль славян в истории римского государства и права». Из отчета следовало, что его доклад носил несколько романтический характер, изобилуя «остроумными аналогиями и попытками филологического раскрытия терминов древнеримского права». Поэтому, вероятно, основная (по существу, колларовская) концепция автора «о славянах, как первоначальных населениях Апеннинского полуострова, и встретила серьезное возражение со стороны участников заседания». Однако мысли автора «о вторжении славянских элементов в Италию не только с Востока, но и с Запада, или соображение о большом влиянии элементов славянских правовых отношений на кодекс Гая и позднейшие венецианские статуты», были признаны интересными «при углубленной разработке этой проблемы»³⁵.

Особый интерес, как единственный в своем роде, представлял доклад профессора Н. А. Кожина «К вопросу о роли искусства западных славян в художественном развитии Европы в средние ве-

ка». Основная его концепция носила ярко выраженный в условиях войны патриотический характер. В отчете отмечалось, что автор «путем сравнительного анализа старинных чешских и польских архитектурных сооружений опровергает ставшее традиционным в научной искусствоведческой литературе положение об отсутствии в искусстве западных славян оригинального самобытного начала». Автор доклада пришел к выводу, что «в основе их лежат лужицкие постройки, бытовавшие на большой территории Центральной Европы еще до н. э., они-то и оказали влияние на скандинавский тип сооружений, которые традиция обычно полагает в основу старинной славянской архитектуры. Остроумны замечания автора о борьбе между славянскими и немецкими элементами, развернувшейся в чешской архитектуре X–XII вв. Столь же интересна и гипотеза докладчика о восхождении древней архитектуры Бранденбурга к постройкам полабских славян. В результате всего исследования, докладчик приходит к выводу, что искусство западных славян, в частности, архитектура — имела свое самобытное начало, которое в процессе своего развития оказало влияние и на общее западноевропейское искусство в эпоху средневековья». Признав интересными основные положения доклада, участники дискуссии отметили, что «многие вопросы, поставленные автором, нуждаются в дополнительной углубленной проработке»³⁶.

Совершенно неизвестному в тогдашней исторической литературе вопросу был посвящен основанный на серьезных архивных изысканиях доклад профессора М. Н. Тихомирова «Иван Грозный и Сербия», который он начал с развернутого изложения связей Московского государства с южными славянами в XV в. «По данным летописей и свидетельству современников он установил особенно богатый и широкий рост этих связей после завоевания Константинополя турками. В неизвестных доселе и впервые подвергнутых исследованию докладчиком родословных московских государей, он нашел прямые указания на близкое родство Ивана Грозного с последними сербскими деспотами. Сам брак Ивана Грозного с Еленой Глинской носил политический характер — укрепление связи Москвы с сербами. Это родство объясняет многие до сих пор мало выясненные вопросы русской истории, ставит по-новому вопрос о Максиме Греке, о появлении в России книгопечатания, связи которого с южнославянскими и венецианскими — славянскими очагами книгопечатания устанавливаются на анализе „без выходных“ книг». Участники обсуждения признали очень важным вывод автора, опровергающий традиционное в славяноведении утверждение, что знакомство русских с южными славянами является

«фактором преимущественно конца XVII — начала XVIII века». В заключение докладчик выразил убеждение, что влияние южных славян на Россию имело не односторонний, а двусторонний характер. Поэтому «сознание культурного единства, единства по крови, вере и языку восточных и южных славян восходит к значительно более раннему времени, чем это обычно принято думать»³⁷.

Аспирант ИИ АН СССР Ф. Т. Константинов прочитал доклад на тему «Славянское движение в России в начале XIX века». Автор «обстоятельно проанализировал условия развития славянского движения, как оно сложилось в России в начале XIX в. в результате внутреннего развития русского общества, с одной стороны, и влияния крупных культурно-общественных процессов, происходивших на Западе в это время, — с другой». По мнению докладчика, «Россия в начале XIX в. переживала своеобразный период национального возрождения, которое в смыкании его с национальным возрождением западнославянских народов и дало широкую волну славянского движения в России. К сожалению, в дальнейшем изложении автор свел все многообразие форм славянского движения в России в начале XIX в. лишь к истории Общества соединенных славян». В дискуссии была отмечена своевременность постановки темы и высказаны соображения о «необходимости более широкой трактовки проблем „славянского движения“ путем включения в это понятие вопросов материального, научного и общекультурного порядка и о необходимости тщательно учитывать особенности славянского движения в каждой отдельной стране в зависимости от политического и социального уровня развития ее народа»³⁸.

Остальные доклады были целиком посвящены южнославянской тематике. Доцент С. П. Рудых в докладе «Василий Левский (Из истории партизанской борьбы в Болгарии в 1870-х гг.)» на основе изучения большого числа малоизвестных материалов восстановил подлинную биографию «славного болгарского революционера, замечательного конспиратора и организатора партизанской разведки». Подробно и обстоятельно он описал созданную Левским «сеть тайной почты, конспиративных квартир, местных комитетов, количество которых достигало огромной цифры — 300. В характеристике политических воззваний Левского докладчик уделил особое внимание России, на которую болгарский революционер взирал с огромной надеждой, как на страну освободительницу». Доклад Рудых был дополнен выступлениями Н. С. Державина и Луканова³⁹.

Старший научный сотрудник ИИ АН СССР Р. К. Караколов доложил Комиссии часть подготовленной им большой работы

«Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее значение для южных славян», построенной по канонам марксистской историографии. «После обширного методологического введения, в котором автор, широко используя указания классиков марксизма-ленинизма, решительно опроверг многие ходячие теориейки старой историографии, широко использованные и позже и в настоящее время болгарскими профашистами, докладчик переходит к обстоятельному анализу обширного документального материала. С несомненностью выясняется, что русско-турецкая война 1877–1878 гг. как по объективным стремлениям, так и по ее объективным результатам, была подлинно освободительной, несмотря на все происки австро-германцев, впервые был установлен военный союз русского народа и южных славян. Результатом войны явилось решение исторической проблемы создания буржуазно-демократической Болгарии». Особый интерес в условиях войны представляло сообщение автором материала «об общественном движении в Болгарии этих годов, о деятельности и роли болгарского народного ополчения»⁴⁰.

Актуальной проблеме тех лет, когда решался вопрос о государственном статусе составлявших будущую Югославию республик, был посвящен доклад старшего научного сотрудника ИИ АН СССР, члена Антифашистского югославского вече Д. И. Влахова «Македонский вопрос». Судя по отчету, докладчик подробно охарактеризовал международно-политическое положение Македонии с 1870-го по 1944 г. и дал «подлинно научную трактовку новейшей истории Македонии в противовес многочисленным легендам, созданным сербскими, болгарскими и греческими великодержавными историками, географами и политиками», подробно осветив «борьбу македонских славян за свое национально-политическое освобождение и духовно-культурное объединение». Автор продемонстрировал официальное, общегославское видение решения этой сложной проблемы, принятое югославскими коммунистами. «Исходя из Сталинского определения нации, докладчик убедительно доказал наличие самостоятельной македонской нации и ее исторического права на самостоятельное существование. Закljučая свой доклад, тов. Влахов подробно охарактеризовал современное положение Македонии и перспективы ее развития в связи с развитием национально-освободительной войны в Югославии и решениями Антифашистского югославского вече о федеративном устройстве Югославии, начинающего новый период истории македонского народа, получившего все права самоопределения и свободного политического существова-

ния». Выступивший в прениях по докладу Н. С. Державин отметил, что данный им еще в 1914 г. анализ македонского вопроса ныне проверен практикой и позднейшими событиями, подтвержден в еще большей степени. Остановившаяся на решениях Антифашистского югославского вече о федерации, академик Н. С. Державин отметил необходимость глубокого изучения истории идеи балканской федерации, ее связи с русским утопическим социализмом в прошлом, с ленинизмом в настоящем⁴¹.

Доклады, зачитанные в течение 1944 г., позволяют отметить некоторые закономерности в направленности работы СК. Из 13 докладов подавляющее большинство было посвящено болгарским (5) и югославянским (5) сюжетам, западнославянским — 2 и общеславянской проблематике — 1. Это свидетельствовало о том, что в подборе тем, несомненно, сказалась южнославянская ориентация председателя Комиссии. В то же время ему, как никому другому, удалось объединить для совместной работы славяноведов разных специальностей: 1 лингвиста, 1 литературоведа, 5 историков, 1 искусствоведа, 1 этнографа, 2 правоведов. (Историкам, как мы видим, было отдано некоторое предпочтение.)

Тематика докладов мало совпадала с ранее намеченной программой и носила отчасти случайный характер, связанный с научными интересами докладчиков. Но было несколько моментов, объединяющих обсуждаемые доклады, несомненно, связанных с военным временем. Большинство из них имело патристическую направленность, стремилось разоблачить «происки» немецкой «антиславянской» историографии. В них проводилась мысль о прогрессивности идеи славянской взаимности и необходимости укрепления русско-славянских связей. Все докладчики в большей или меньшей степени подчеркивали свою приверженность марксистской идеологии (включая «новое учение Н. Я. Марра о языке»). В соответствии с этим подчеркивалась выдающаяся роль в истории славян деятелей революционного толка, теории и практики их движения. Тем не менее, несмотря на условия военного времени, затрудняющие пользование архивами и библиотеками, большинство авторов докладов базировались на солидной источниковой базе, выдвигали ряд оригинальных гипотез, часть из которых нашла подтверждение в последующей историографии.

Следует отметить, что работа Комиссии протекала по известной аналогии с Сектором славяноведения ИИАН СССР, где практика обсуждения докладов также существовала. При этом здесь выступали многие его сотрудники. Однако в отличие от него СК не имела штата своих научных сотрудников и определенного для них плана работ.

И все же Н. С. Державину удалось создать отдельную исследовательскую группу при СКАН СССР — с первоначальным названием «сектор права и экономики славянских народов» — в составе 12 человек, сформированную из сотрудников Института права АН СССР, МГУ, Военно-юридической академии, Московского института права и др., целью которой являлось изучение государства и права славянских народов. Такой группы ни до, ни после не создавалось в структуре АН СССР. Судя по информации, группа выработала план работ, в котором на первом месте стояла подготовка сборника статей по истории государства и права славянских народов. План предусматривал также издание в 1944–1945 г. сборника статей и однотомника докладов⁴².

Сохранилась докладная записка члена партбюро группы Г. С. Михайлова председателю СКАН СССР от 23 декабря 1944 г., которая проливает дополнительный свет на работу правовой секции. Из нее следует, что ее руководителям удалось добиться принятия ВКВШ постановления о введении в юридических вузах факультативного курса по истории государства и права южных и западных славян (40 часов). Группа была собственно образована для подготовки первоначально намеченного 12-томного академического издания памятников права южных и западных славян, в которой участвовали 20 человек (среди них 14 профессоров, включая 6 докторов наук). Среди главных трудностей работы правовой секции СК АН СССР Г. С. Михайлов отметил: полное отсутствие до последнего времени специального «научно-марксистского изучения государственного строя и права южных и западных славян; почти полное отсутствие правовых работ советского периода по этому вопросу». Поэтому было решено издать сначала хрестоматию «Избранные памятники права южных и западных славян конца XVIII в.» (под руководством виднейших советских историков права В. И. Сыромятникова и С. В. Юшкова) и сборник «Государственно-правовые акты и документы южных и западных славян XIX–XX вв.». Публикация этих изданий, по мнению Михайлова, «может иметь значение и как один из первых шагов в деле упрочения нашего идеологического влияния в научно-общественных и вузовских кругах союзных с нами славянских государств»⁴³.

В числе ближайших задач правовой секции в этой связи Михайлов считал подготовку «упреждающей» монографии по проблемам развития социалистического государства у славянских народов и использование опыта многолетней работы членов секции для постановки научно-методической и научно-учебной работы «на правовом участке славяноведения». Судя по некоторым дан-

ным, правовая секция, все более обособляясь от СК АН СССР, продолжала свою работу и после ее ликвидации, выпустив в свет некоторые из названных выше трудов.

В 1945–1946 г. работа Комиссии практически была свернута, отчеты о ее деятельности ограничивались трудами ее председателя, академика Н. С. Державина, включенными в общеакадемический план как темы Комиссии. По теме «Введение в славяноведение» в качестве первой части в 1946 г. он издал монографию «Славяне в древности» (13,5 п. л.), вторую часть темы «Очерк развития славяноведческой науки» предполагалось завершить в 1946 г. В фонде Н. С. Державина сохранился текст этой работы, подготовленный В. Т. Дитякиным. По неизвестным причинам он издан не был. Н. С. Державин подготовил монографию «Христо Ботев» (8 п. л.), которая вышла в свет в 1946 г.⁴⁴

В отчете Комиссии за 1945 г. была также подробно освещена командировка ее председателя в Болгарию и Югославию. В Болгарии он провел большую научно-исследовательскую работу, прочел ряд лекций и докладов в БАНИ и Софийском университете и принял участие в работах Славянского собора и многочисленных заседаниях, посвященных тем или иным замечательным датам в истории болгарской культуры и установлению более близких связей между болгарским и русским народами. Кроме того, он посетил Белград, где «также выступил с докладами в Югославской академии наук и Народном университете». В отчете указывалось, что Н. С. Державину «как представителю советской науки и выдающемуся славяноведе был оказан в обеих странах исключительно радушный прием». Всего за время пребывания в названных странах Н. С. Державин «прочел 23 доклада и лекции; произнес 32 речи и напечатал 32 статьи», а также несколько брошюр. Интенсивные встречи и работа Н. С. Державина в Болгарии и Югославии сказались на его здоровье, он пережил инсульт и надолго выключился из работы Славянской комиссии.

Среди работ других членов Комиссии в отчете были отмечены: исследование В. Т. Дитякина «Н. Г. Чернышевский и славянство», завершаемое в 1946 г., и статьи: «Павел Шафарик» (впоследствии опубликованная в КСИС), «Советская наука о происхождении славян» (в сборнике «Славяноведение в АН СССР»). Отмечалось, что С. Б. Бернштейн закончил подготовку капитального труда по истории болгарского языка и подготовил две статьи для «Трудов СК». Для них же С. И. Урбан написал статью «Национально-освободительные идеи в словенской литературе XIX–XX вв.». С. П. Рудных закончил работу «Василий Левский как теоретик

партизанской войны», а Ф. Т. Константинов завершил большую часть исследования «Борьба белорусского народа с интервентами». Заседаний СК, судя по отчету, в 1945 г. не проводилось

Продолжалась работа над так и не увидевшими свет справочником «Славяне» (народы и страны) и следующими томами «Трудов СК». Отмечалось, что «установление академиком Державиным связей с болгарской передовой наукой уже дало свои результаты, в редакцию „Трудов СК АН СССР“ поступили 4 статьи выдающихся представителей болгарской исторической и филологической науки. Устанавливаются связи и с учеными Югославии, Польши и Чехословакии, многие из которых выражают большой интерес к работе Комиссии и изъявляют готовность принять участие в обмене научной литературой»⁴⁵.

На этой оптимистической ноте приходится завершить наш очерк о деятельности СК АН СССР. Отчета о ее работе за 1946 г. не сохранилось. Н. С. Державин из-за болезни не мог деятельно руководить ее работой. К тому же он был занят другими делами, включившись, хотя и поздно, в борьбу за место директора в возобновляемом в структуре АН СССР Институте славяноведения. Однако инициатива по его организации была взята уже руководством Института истории академиками Б. Д. Грековым и В. И. Пичетой, представившими еще в 1945 г. в ЦК ВКП(б) соответствующую докладную записку⁴⁶. Даже отправленное Н. С. Державиным личное письмо И. В. Сталину, в котором он обосновывал свое право на руководство Институтом, не возымело ожидаемого действия⁴⁷. 20 сентября 1946 г. состоялось распорядительное заседание Президиума АН СССР, принявшее постановление об организации Института славяноведения АН СССР под руководством Б. Д. Грекова на базе сектора славяноведения ИИ АН СССР, сектора славянского языкознания ИРЯ АН СССР и Славянской комиссии АН СССР⁴⁸. После чего последняя прекратила свое существование.

Подведем некоторые итоги. В трудные годы Великой Отечественной войны академику Н. С. Державину удалось создать один из центров славяноведения в СССР с весьма широкими целями и задачами. В отличие от существовавших тогда центров (Сектора славянского славяноведения ИИ АН СССР и кафедры южных и западных славян на Историческом факультете МГУ, организованных в 1939 г., и Сектора славянского языкознания в ИРЯ АН СССР и одноименной кафедры на Филологическом факультете МГУ, созданных в 1943 г.), Славянская комиссия АН СССР имела комплексный характер, объединяя славистов разных, причем до-

вольно редких для славяноведения; специальностей (не только лингвистов, литературоведов, фольклористов, этнографов и историков, но и правоведов, экономистов, искусствоведов). И хотя их деятельность выражалась главным образом в подготовке и обсуждении докладов, это было очень важно для обмена информацией, пополнения знаний, общей ориентации в предмете, и все вместе способствовало развитию науки, особенно учитывая трудности военного времени. Кроме того, руководство Комиссии согласно ее программе приняло деятельное участие в организации преподавания в вузах некоторых ранее не изучавшихся славистических дисциплин (например, славянской филологии и права). К сожалению, по неясным причинам не увидели свет главные плоды деятельности Комиссии: ее «Труды» и справочник «Славяне», которые могли занять достойное место среди работ военного времени.

Таким образом, не идеализируя деятельность Славянской комиссии АН СССР, которая носила заметный отпечаток своего времени, мы можем констатировать, что она, несомненно, внесла свой вклад в возрождение отечественного славяноведения в годы войны, закономерно влившись, в конечном итоге, в возобновленный на новой основе Институт славяноведения АН СССР.

Примечания

- ¹ Подробнее см.: *К. И. Логачев*. Первый этап развития советского славяноведения (Славистические учреждения Академии наук в 1917–1934 гг.). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 1979, с. 9; *Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов*. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994.
- ² При деятельном участии Н. С. Державина Президиум АН СССР принял 10 июня 1934 г. Постановление, которое предписывало: «1. В целях усиления работы во всех обществоведческих учреждениях Академии наук в области изучения славянских народов: а) предложить ИЯМ усилить группу по изучению славянских языков; б) предложить Исторической комиссии обратить особое внимание на разработку проблем по истории славянства; в) предложить ИЯМ при составлении плана издания исторических документов учесть необходимость издания исторических документов по сопредельным с СССР странам, в особенности славянским; г) предложить ИРЛИ в планах своих работ обратить внимание на изучение славянских литератур в их взаимодействии с русской литературой; д) предложить Бюро Ассоциации учреж-

- дений ООН принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. 2. Сохранить в плане изданий АН издание комплексного сборника по языкам, литературам и истории славянских стран в составе Фундаментальной библиотеки АЕ и пр.» Постановление реализовано не было. ПФ АРАН, ф. 827, оп. 3, д. 62, л. 6–7.
- 3 Там же, л. 26–26 об.
 - 4 Там же, л. 30–32.
 - 5 *Е. П. Аксенова*. Академическое славяноведение в предвоенный период (Документальные этюды из истории славяноведения в конце 1930-х — начале 1940-х годов) // *Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х годов XX в.* М., 1992, с. 9–10.
 - 6 ПФ АРАН, ф. 827, оп. 3, д. 77, л. 2–6.
 - 7 Там же, л. 35.
 - 8 Там же, л. 18.
 - 9 Там же, л. 19–20.
 - 10 Там же, л. 21–23.
 - 11 Там же, л. 31.
 - 12 Там же, л. 31–31 об.
 - 13 АРАН, ф. 1651, оп. 1, д. 304, л. 1–1 об.
 - 14 ПФ АРАН, ф. 827, оп. 3, д. 77, л. 29 об.
 - 15 *В. Т. Дитякин*. Новые работы по славяноведению // *Славяне*, 1943, № 4, с. 36.
 - 16 Там же, с. 37.
 - 17 Там же.
 - 18 Там же.
 - 19 *В. Т. Дитякин*. Славянская комиссия Академии наук в 1943 г. // *Известия Академии наук СССР. Серия ОЛЯ*, 1944, т. 3, в. 1, с. 48.
 - 20 Там же, с. 47.
 - 21 ПФ АРАН, ф. 827, оп. 3, д. 77, л. 37–38, 39.
 - 22 АРАН, ф. 2, оп. 3, д. 56, л. 40.
 - 23 *В. Т. Дитякин*. Славянская комиссия..., с. 48.
 - 24 Там же.
 - 25 ПФ АРАН, ф. 827, оп. 3, д. 77, л. 33.
 - 26 *В. Т. Дитякин*. Славянская комиссия..., с. 47.
 - 27 ПФ АРАН, ф. 827, оп. 3, д. 77, л. 48.
 - 28 АРАН, ф. 456, оп. 4, д. 33, л. 1.
 - 29 Там же.
 - 30 Там же, л. 2.
 - 31 Там же, л. 3.
 - 32 Там же.
 - 33 Там же, л. 3–4.
 - 34 Там же, л. 4.

- 35 АРАН, ф. 456, оп. 4, д. 33, л. 4–5.
- 36 Там же, л. 5–6.
- 37 Там же, л. 7–8.
- 38 Там же, л. 6–7.
- 39 Там же, л. 8–9.
- 40 Там же, л. 9.
- 41 Там же, л. 10–11.
- 42 Славянская комиссия Академии наук СССР // Славяне, 1944, № 10, с. 46; АРАН, ф. 456, оп. 4, д. 33, л. 11.
- 43 ПФ АРАН, ф. 827, оп. 3, д. 77, л. 64–68.
- 44 АРАН, ф. 456, оп. 4, д. 48, л. 1.
- 45 Там же, оп. 6, д. 117, л. 48–50.
- 46 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 125, д. 340, л. 51–52 (12 апреля 1945 г.).
- 47 ПФ АРАН, ф. 827, оп. 3, д. 44, л. 3–7.
- 48 АРАН, ф. 2, оп. 6, д. 54, л. 58; д. 58, л. 126.

Е. П. Аксенова
(Москва)

Восприятие в СССР науки русского зарубежья в 20-е — 30-е годы

На рубеже 1920–1930-х гг. в советской науке происходила коренная организационная и идеологическая перестройка, сопровождавшаяся ломкой старых научных традиций и представлений. В гуманитарных науках отрицались достижения дореволюционных ученых, подвергались резкой критике научные школы, исследовательские методы и направления. Вся наука с помощью определенных механизмов, не исключая и силового давления, переводилась на рельсы господствующей идеологии — марксизма-ленинизма. Советская наука провозглашалась самой передовой в мире. Вся остальная мировая наука определялась в основном как «буржуазная лженаука», находящаяся в глубоком методологическом кризисе и не способная из него выйти. Те из русских ученых, кто после революции добровольно или не по своей воле покинули родину, считались выразителями «западной» идеологии.

Подобное отношение к эмиграции не являлось чем-то неожиданным, новым. Оно наблюдалось и в 1920-х гг., особенно резко проявившись, пожалуй, в конце указанного десятилетия, когда усилился нажим со стороны властей на академическую науку, проводилось «скрещивание» науки с идеологией. В рамках этой политики необходим был разрыв связей советских ученых с их коллегами-эмигрантами. Пресса готовила общественное мнение. Терминология и стиль статей тех лет с успехом перешли и в более поздние публикации 1930-х гг.

Участвуя в осуждении академика С. Ф. Платонова¹ и других ученых, печатавших свои труды в заграничных изданиях, И. К. Луппол в журнале «Научный работник» охарактеризовал «русскую и ученую эмиграцию, связавшую свою ученую карьеру с судьбами обанкротившихся эмигрантских политиканов от черного до желто-розового цвета» как людей, большинство из которых «в бесильной злобе продолжает изливать самые клеветнические инсинуации (и это пишет филолог! — Е. А.) на голову советской науки и ее представителей». Автор со всей определенностью заявляет;

что «дело ученой эмиграции» нельзя назвать «иначе, как вредительством», хотя и считает это определение слишком «мягким». Луппол исключал всякую возможность сотрудничества с русскими учеными, живущими за пределами родины, а публикация работ в эмигрантских изданиях равнозначна, по его мнению, «пособничеству, вредительству в деле всего нашего ученого строительства»².

Даже при рассмотрении конкретных научных трудов ученых-эмигрантов советские «критики» старались прежде всего подчеркнуть политические расхождения представителей русской науки, находящихся по разные стороны российской границы. Так, С. Н. Быковский в рецензии на книгу М. И. Ростовцева «Скифия и Босфор» (1925), признавая ценной данную в труде систематизацию памятников и приведенную там обширную специальную литературу, вместе с тем призывал исследователей скифской проблематики не доверять выводам, основанным «на враждебной нам и чуждой политике». По мнению Быковского, «белоэмигрант и враг Советского Союза» М. И. Ростовцев не может быть «свободным от политических тенденций». Его непризнание реальности аграрного коммунизма у древних народов советский оппонент считал следствием неприятия ученым социалистического строя. Не избежал Ростовцев и традиционного упрека в том, что он является «последовательным сторонником индо-европейской лингвистики» и не принимает во внимание яфетической теории Н. Я. Марра. Не удивительно, что после такой характеристики автора его труд был оценен как «типичный образчик буржуазной учености»³.

Справедливости ради нужно отметить, что, кроме подобных высказываний, выдержанных в пропагандистском духе, в научной печати были выступления и иного рода. Образцы подобных публикаций мы находим и в 1920-х гг., когда исследования выдающихся ученых русского зарубежья еще оценивались по научным канонам — объективно и благожелательно⁴. В 1930 г. «Известия Академии наук СССР» (сохранившие еще академическую выдержанность, отличавшую их от других журналов) поместили статью П. Н. Сакулина «Литературоведение на I Конгрессе филологов-славистов» (Прага, 6–13 октября 1929 г.)⁵. В спокойном тоне автор рассказывает о русских ученых, живущих в Праге, преподающих в различных вузах и общающихся с чешским научным миром, о задачах русских учебных заведений в Праге. Сакулин уделяет внимание выступлениям на съезде ученых-эмигрантов — А. В. Флоровского, Ю. А. Яворского, М. В. Шахматова, С. Кулаковского, З. Розовой, Р. Плетнева, А. Л. Бема — не выходя при харак-

теристике их докладов за рамки академических оценок. Отмечая, что чешская газета «Narodny Listy» 13 октября 1929 г. указывала на наличие «двух Россией», представленных на конгрессе, Сакулин подчеркивал, что сами эмигранты пытались сгладить разделительную черту. Таких же взглядов придерживался и Р. О. Якобсон, еще не ставший в те годы эмигрантом, но долгое время живший за границей и тесно общавшийся с русской эмигрантской научной средой. Сакулин упоминает об одной из газетных публикаций Р. О. Якобсона, в которой он пытался показать, что нет резкой грани, отделяющей советскую науку от русской зарубежной науки, как не может быть и речи о двух культурах. Соседство традиционных научных методов и новых подходов, по мнению Якобсона, наблюдается как в России, так и в эмигрантской среде. Реагируя на данное высказывание, Сакулин заметил, что трудно согласиться с Якобсоном (тем и ограничив критику его позиции). Вместе с тем он не мог не отметить, что живущие за границей ученые «следят за движением научной мысли в СССР и не чувствуют отрыва от общей русской культуры. На себя они смотрят как на законных представителей последней».

П. Н. Сакулин останавливался также на научных изданиях эмигрантских организаций, в частности на «Пушкинском сборнике» (Прага, 1929) Русского института в Праге. Этот сборник, по мнению советского ученого, был проникнут идеей, что «Россия вспрыгнет ото сна». «Эта специфическая идеология русского эмигранта не имеет никакого отношения к пушкинизму как науке», — утверждал Сакулин, замечая вместе с тем, что спорить тут не о чем, но понять ученых-эмигрантов можно.

Подобное, почти доброжелательное, отношение к русским зарубежным коллегам выглядело нетипичным на страницах советских научных журналов, где преобладал совершенно иной тон и стиль высказываний.

Научно-общественные журналы начала 1930-х гг. видели свой долг и одну из первостепенных задач в борьбе с «белозэмигрантской» (по их терминологии) наукой как идеологическим врагом. При этом советские авторы постоянно подчеркивали, что наука не может не иметь политической, классовой основы (в этом отношении показательны названия советских журналов: «Фронт науки и техники», «Борьба классов», «Историк-марксист»). И если соотечественники за рубежом старались подчеркнуть аполитичность, «беспартийность» и объективность своих исследований, то советские коллеги их «поправляли». Так, профессор С. Вольфсон в статье «Наука и борьба классов», опубликованной в журнале

«Известия ВАРНИТГО»⁶, писал: «Я не буду говорить о „научном“ творчестве русской эмиграции... Все это, конечно, не столько наука, сколько политика». Этот мотив неоднократно повторялся в статьях о русских ученых-эмигрантах. Например, И. М. Троцкий в обзоре исторических работ бывших соотечественников, опубликованном под названием «Из эмигрантских журналов»⁷, акцентировал внимание на том, что «крупнейшие имена эмиграции» редко выступают с исследовательскими статьями; в основном же их работы «в такой же мере далеки от науки, в какой близки к политике».

Большое значение советские ревнители марксизма придавали методологической основе науки, в первую очередь относя это к истории. «Для историка же, — по мнению Минца, — его научную сущность составляет мировоззрение. Без мировоззрения историк — ничто. Как раз на этой группе ученых резче всего и сказывается господствующий характер нового класса»⁸. При этом в конце 20-х гг. (до «окончательной победы» марксизма во всех областях науки) были возможны еще лицемерные заявления о том, что, «являясь господствующим течением в науке, марксизм отнюдь не подавляет другие точки зрения. И. И. Минц считал несостоятельными «измышления» Запада об уничтожении в Советском Союзе «буржуазной исторической науки» и «инакомыслящих»⁹, однако его заявления плохо сочетались с развернувшейся в стране широким фронтом борьбой против старой русской профессуры и еще более острой конфронтацией с зарубежными представителями русской науки, что нашло отражение в советской печати.

В тоне, которым говорилось об эмигрантской науке, постоянно чувствовалось высокомерное пренебрежение. Вместо уважительного отношения к оппонентам, которое предполагает научная этика, советские ученые в журнальных публикациях зачастую даже не удосуживались поставить нициалы рядом с фамилиями бывших соотечественников; что, безусловно, создавало определенный морально-психологический настрой и у читателей. Сплошь и рядом критиковались безымянные востоковеды, ростовцевы, трубецкие и др. Картину дополняли эпитеты: «лженаучный», «буржуазный», «так называемый» и т. д.

В начале 30-х гг. связи советских ученых с зарубежными коллегами по причинам идеологического, политического и материального характера не были достаточно широкими (это отосится и к поездкам за рубеж, и к обмену научной литературой). Прямые же контакты с эмиграцией могли в те годы сыграть роковую роль в жизни человека. Поэтому, например, академик Н. С. Державин в своем отчете о командировке в Прагу в 1933 г. специально под-

черкивал (с гордостью за свою твердую позицию), что когда после его выступления с докладами чешские коллеги пригласили его на вечер, устраиваемый в его честь в Славянском институте, он поставил организаторам встречи категорическое условие, чтобы там не было ни одного «белоэмигранта», имея в виду русских профессоров, живших в Праге. Условие было выполнено¹⁰.

Таким образом, в начале 1930-х гг. советская научная общественность следила за научными выступлениями русского зарубежья в основном по заграничным изданиям, в которых печатались статьи эмигрантов.

Журналу «Le Monde Slave» («Славянский мир») была посвящена специальная статья «Бесстрастные летописцы» в журнале «Борьба классов»¹¹. Автор, скрывшийся за инициалами А. Г., характеризовал «Славянский мир» как орган парижских русских эмигрантов, стоящих «по своим политическим убеждениям не левее Милюкова. Профессора иконографии, византологии, бывшие адвокаты... генералы... вплоть до жандармов и агентов международных охранок... вот основной круг авторов этого журнала, переместившего центр тяжести изучения славянских проблем на „русский вопрос“».

Несмотря на позицию автора и его тон, статья все же дает определенную информацию о литературно-историческом журнале, где 3/4 статей — о России, в основном дореволюционной. Отмечается, что ряд статей посвящен актуальной проблематике, например: «Национальное украинское движение в XIX в.», «Дашинский или Пилсудский?», «Историческая наука в России» (№ 9–12 за 1931 г. и № 2 за 1932 г.). На последней статье, опубликованной за подписью Востокова (псевдоним П. Н. Савицкого) — постоянного обозревателя журнала по вопросам, связанным с СССР, автор останавливается подробно, ибо в ней анализируется послереволюционная советская историческая литература. Чтобы читатели могли видеть всю «лживость» позиции оппонента-эмигранта, в журнале «Борьба классов» приводятся выводы Востокова о советской исторической науке. Вкратце они сводятся к следующему: после вынужденной эмиграции известных ученых «из варварской большевистской страны» в России погибли важнейшие части исторической науки, их место заняло изучение политических вопросов, прежде всего — вопросов революции и террора. Историческая наука в России — «покорная служанка политической партии», делал вывод Востоков (что перекликалось с заключениями других историков и критиков за рубежом, в частности А. В. Флоровского и А. А. Кизеветтера)¹².

Не удерживаясь в рамках строго научной полемики, советский автор замечает, что Востоков «ссылками на „партийный“ характер нашей исторической науки хочет скрыть подлинный классовый (имеется в виду — буржуазный. — Е. А.) характер исторической науки в буржуазной Европе». «Марксистская историческая наука, — заявляет он, — не скрывает своей партийности», она «служит интересам рабочего класса». Не удовлетворившись констатацией одного из фундаментальных положений советской исторической науки тех лет, автор делает решительные политические выводы: «Критики же, подобные Востокову, на самом деле защищают на страницах „Славянского мира“ реакционную, контрреволюционную политику французского правительства, открыто наступающего на первое пролетарское государство». Выступление Востокова «есть звено идеологической подготовки интвенции».

Эту тему, как эстафету, подхватил в следующем номере журнала «Борьба классов» С. Мохов, опубликовав статью «Интервент Тарле под защитой Востокова»¹³. В ней продолжается разбор обзора исторической науки в СССР, данного Востоковым (П. Н. Савицким) в «Славянском мире». Цель статей Востокова С. Мохов видит в том, чтобы «добиться изоляции советских историков, противопоставить им единый фронт буржуазной науки, создать враждебное к СССР отношение». «Востоков доказывает, — продолжает С. Мохов, — что марксисты вовсе не занимаются исторической наукой, марксистская история — это „воинствующая политика“»¹⁴. (Знакомство с советской научной периодикой того времени, увы, подтверждает оценку Савицкого и наглядно демонстрирует политико-публицистический характер публикаций на исторические темы.)

Журнал «Историк-марксист» в начале 1933 г. поместил достаточно подробный обзор иностранной периодики по истории России и СССР¹⁵. Автор обзора, историк Н. Л. Рубинштейн, анализируя публикации западных журналов о русской истории, отмечает как общую характерную черту «резкую враждебность» к СССР, объясняя это тем, что в «качестве специалистов по статьям на современные темы выступают большей частью представители российской белой эмиграции». Их статьям в обзоре уделено большое внимание. В основном дается краткое изложение содержания статей без излишних «пропагандистских» комментариев, хотя весь обзор, начиная с первых строчек, подчинен главной установке — борьбе с «буржуазной» историографией. Осветив «русскую тему» в немецких журналах — «Zeitschrift für osteuropäische Geschichte» и

«Jahrbucher für Kultur und Geschichte der Slaven», обозреватель переходит к парижскому журналу «Le Monde Slave», статьи которого привлекают наибольшее внимание Рубинштейна. Определяя лицо журнала, он подчеркивает, что для теоретических позиций этого издания типично евразийство, а для политических — анти-советская ориентация (хотя и отмечает, что в журнале наблюдаются положительные сдвиги в отношении к СССР). Рубинштейн перечисляет опубликованные в журнале статьи эмигрантов Б. Лосского, Г. Лозинского, В. А. Мякотина, Н. Савицкого, К. Зайцева и многих других, подчеркивая зачастую случайный характер и мелкотемье этих публикаций или же отсутствие в них «классового анализа».

«Прямым аналогом» французского «Le Monde Slave» Н. Л. Рубинштейн называет английский журнал «The Slavonic Review», «обслуживавшийся» в основном русскими эмигрантами; среди его сотрудников названы А. Ф. Керенский, А. Байкалов, Д. С. Мирский, П. Б. Струве, Г. В. Вернадский. В обзоре дается краткий пересказ статей этого журнала без каких-либо оценок.

Статьи, подобные обзору Н. Л. Рубинштейна, были все же редкостью. Чаще встречались работы с более ярко выраженным «идеологическим налетом». Так, в статье академика Н. С. Державина «Наука на службе империализма», напечатанной в «Известиях АН СССР»¹⁶ и посвященной известному русскому слависту С. М. Кульбакину, ставшему в эмиграции профессором Белградского университета, «политика» занимает явно преобладающее место. Сам автор утверждал, что «наука и политика едины суть, и нет науки аполитичной». Выступление в советской печати Державина явилось откликом на исследование Кульбакина «Старославянский язык с лексической точки зрения»¹⁷, в котором отстаивалась принадлежность этого языка «к сербо-хорватской языковой области» и отвергалась точка зрения о его древнеболгарском происхождении. Не вдаваясь в детали лингвистического спора двух ученых, отметим, что статья Державина являлась показателем определенного отношения известной части советских ученых к ученым-эмигрантам. Позицию Кульбакина Державин называл «оправданием хищнического захвата сербским империализмом злополучной Македонии и ее насильственной денационализации». Утверждая, что выводы Кульбакина не имеют «никакой научной значимости», Державин приходил к заключению, что «исследование проф. Кульбакина с исключительной рельефностью вскрыло полную методологическую и научно-материальную беспомощность автора», его «безнадежную и заскорузлую отсталость». В противовес воз-

зрениям Кульбакина советский академик предлагал признанные тогда в советской науке единственно верными взгляды на язык, его происхождение и развитие, сконцентрированные в «новом учении о языке» Н. Я. Марра.

В последующие годы упоминания об эмигрантской науке на страницах советских научных журналов стали крайне редкими, буквально одиночными. Среди них можно отметить опубликованную в 1935 г. в журнале «Историк-марксист» заметку историка С. А. Пионтковского (известного в то время «специалиста» по борьбе с «буржуазной» наукой, автора монографии «Буржуазная историческая наука в России» (М., 1931) о «Курсе русской истории» Е. Ф. Шмурло, изданном при содействии Славянского института в Праге. Этот труд советский критик называет «неверным и безнадежно устаревшим», ведущим «враждебную политическую пропаганду против советской власти»; он упрекает автора за то, что тот не использовал «ни одной марксистской исторической работы», зато «Карамзин, Погодин, Иловайский и всевозможные, не имеющие никакого научного значения работы (по мнению Пионтковского. — Е. А.) рекомендуются европейскому читателю». В результате Пионтковский приходит к выводу, характерному для представлений советских ученых о коллегам из бывших соотечественников. Книга Шмурло, пишет он, «свидетельствует о прекращении научного творчества; об умирании научной мысли у выродившихся остатков тех класов, от имени которых он выступает»¹⁸.

В 1936 г. «Фронт науки и техники» мимоходом вспомнил Петра Струве, язвительно заметив, что, являясь профессором социологии Белградского университета, он до сих пор не смог прочитать вступительную лекцию «вследствие враждебных демонстраций, которые устраивают ему студенты-коммунисты»¹⁹.

Кроме журнальных «битв» с представителями эмигрантской науки, советские ученые имели некоторые возможности встретиться лично с бывшими соотечественниками. Такие вполне официальные возможности давали международные научные конгрессы. Отчеты о них помещались в советской научной периодике, демонстрируя не только отношение советских ученых к эмиграции, но и, возможно, вопреки желанию авторов, показывая положение русской зарубежной науки.

Среди таких форумов центральное место занимали конгрессы исторических наук. Советские историки впервые принимали участие в работе VI конгресса в Осло в 1928 г., где встретились с активной эмигрантской оппозицией. Назвав это съезд «закатом бур-

жуазной исторической науки», И. И. Минц в отчете о конгрессе²⁰ писал, что марксистское направление там было представлено «непропорционально слабо» и «большая часть докладчиков направляла свои удары» на позиции членов советской делегации (в которую входили М. Н. Покровский, Б. Л. Богаевский, П. Ф. Преображенский, Е. А. Косминский, В. П. Волгин, В. В. Адоратский, М. Яворский, С. М. Дубровский, В. А. Юринец, Н. М. Лукин, В. И. Пичета). Отсутствие на конгрессе Е. В. Тарле, М. С. Грушевского и Федоровского дало повод эмигрантской прессе сделать вывод: «Советское начальство не пожелало допустить на съезд живущих в России старых ученых с именем и командировало большевистских деятелей, большинство которых не вызвало к себе интереса со стороны международной научной коллегии»²¹.

Особое внимание И. И. Минца привлекла позиция «эмигрантской профессуры», которая, по его словам, «пыталась на конгрессе выступить от имени русской науки». Однако комитет конгресса предоставил русским ученым-эмигрантам возможность участвовать в работе форума лишь в составе делегаций какой-либо страны. Перечисляя русских участников иностранных делегаций, Минц не без удовлетворения отмечал, что Чехословакия, «где расположено большое гнездо белой профессуры», не предоставила ни одного места эмигрантам, как и Германия.

Подчеркивая, что «белые» выступили на конгрессе против представителей советской страны, Минц более детально приводит высказывания М. И. Ростовцева. Выступивший в составе американской делегации ученый высказывал в интервью одной газете недовольство избранием М. Н. Покровского в члены президиума конгресса. Свое отношение к этому факту он объяснял тем, что Покровский — правая рука А. В. Луначарского, а возглавляемое им учреждение «пытается уничтожить всякое свободное историческое исследование в России», откуда высылаются ученые, чьи взгляды не совпадают с официальной теорией марксизма²². М. И. Ростовцев, продолжает Минц, считает, что нельзя сотрудничать с советскими учеными, так как все остальные ученые мира основывают свою работу на свободном исследовании и свободе взглядов, а их советские коллеги — на марксизме, к которому приспособливают факты. По мнению Ростовцева, исторический материализм для советских историков — это «теология, но не наука. Их исследование не является наукой, а лишь попыткой приноровить фактические условия к теологической догме». Приводя эти высказывания, Минц спешит сообщить, что беспартийные члены советской делегации — Преображенский, Пичета, Косминский и Богаевский — в

своих интервью опровергли выступление Ростовцева и заявили, что книга самого Ростовцева напечатана в СССР (если имеется в виду монография «Скифия и Босфор», то с ее оценкой в советской печати мы уже познакомились).

В 1933 г. состоялся VII Международный конгресс историков в Варшаве, на котором присутствовала советская делегация из 6 человек, выступавших с докладами и отстаивавших марксистский подход к изучению исторического процесса. Отчеты об этом конгрессе занимают немало места в советской научной периодике, однако позиции русских историков-эмигрантов уделяется немного внимания²³. Представители русской зарубежной науки, как и на конгрессе в Осло, не составляли отдельной делегации, а входили в делегации тех стран, где они жили. На страницах «Борьбы классов» А. М. Панкратова, сравнивая VII конгресс историков с предыдущим, отмечала, что в Варшаве «белоэмигранты» «были гораздо менее активны, чем на конгрессе в Осло», поскольку «не присутствовали П. Струве, Кулишер, Соловьев и др.». Зато присутствовавший на конгрессе профессор Ростовцев отличался, по словам Панкратовой, «своей открытой антисоветской активностью». Наиболее «активной», по ее наблюдениям, была пражская группа эмигрантов во главе с профессором А. В. Флоровским и представителем «евразийства» П. Н. Савицким²⁴. Однако как конкретно представлялась эта «активность», автор не уточняет. Из хроникальных заметок о работе конгресса в том же журнале выясняется, что в секции Восточной Европы выступил с докладом о евразийской теории эмигрант П. Н. Савицкий (упорно именуемый в журнале Н. Савицким), которому возражал академик Державин, председательствовавший на секции²⁵, но суть как самого доклада, так и возражений на него осталась не разъясненной.

О позиции профессора Ростовцева, «признанного корифея науки о древности», писал еще один участник съезда — профессор П. Ф. Преображенский. Вспоминая предыдущий съезд, он указывал, что в Осло Ростовцев открыто выступал против советской науки, заявив, что в СССР науки вовсе нет, а есть только «марксизм». В Варшаве, как отмечает Преображенский, М. И. Ростовцев выступил с двумя докладами о раскопках в Месопотамии, «крайне интересными по фактическому материалу». Однако внимание, проявленное к докладу, советский профессор объясняет тем, что для «широкой публики, конечно, интересны „картинки“, а по сути дела это просто грубая антикваризация истории». Не мысля историю без привязки к идеологии, Преображенский предлагал не признававшему марксизм Ростовцеву примкнуть «хоть к какому-нибудь

„изму“», без которого, как он полагал, наблюдается «полное методологическое бессилие, картинно прикрытое богатыми результатами археологических исследований»²⁶.

Основной же вывод, который делала отечественная печать в конце 1920-х — начале 1930-х гг., состоял в том, что в то время как в России наблюдался «расцвет науки», в западных странах в этой области был «упадок и застой», и даже «кризис», в который вполне вписывалась деятельность русских ученых-эмигрантов²⁷. Конечно, таково было мнение далеко не всех ученых нашей страны (о чем свидетельствует переписка некоторых из них с бывшими соотечественниками²⁸), но их взгляды, как правило, не находили отражения на страницах общественно-научной периодики, где преобладало «единомыслие» тех, кто занимался «научным обеспечением» господствующей идеологии и политической системы. В результате вместо объективной, всесторонней оценки научной продукции русской эмиграции советские журналы вели «бескомпромиссную борьбу» с «буржуазной идеологией» и ее «пережитками», отрицали, вопреки очевидности, достижения русских ученых за рубежом. Как правило, аргументированная полемика с приверженцами иных научных направлений, школ, концепций заменялась в журнальных выступлениях советских ученых голословными нападками, имевшими к тому же яркую политическую окраску. Ученые-марксисты не хотели признавать научные труды русского зарубежья фактом единой русской науки (да, по сути дела, в этот период методологические основы, принципы и формы исследований, отношение к традициям и прежним достижениям «развели» две ветви отечественной науки весьма далеко). Свою непримиримую позицию советские ученые отстаивали не только внутри страны, на страницах научных журналов и в выступлениях с различных трибун, но и на международной научной арене, четко обозначив непризнание за эмигрантами права выступать от имени русской науки. Впоследствии с изменением внешнеполитической ситуации в Европе и усилением политики изоляции СССР значительно затруднились даже имевшиеся слабые контакты советских ученых с зарубежными коллегами. В организованных в этот период органами государственной безопасности политических «делах» зачастую использовались имена известных русских ученых-эмигрантов²⁹. В результате даже тот, по сути негативный, взгляд на науку русского зарубежья, который нашел отражение в советских научных журналах конца 20-х — начала 30-х гг., уступил место более пристальному вниманию к политическому аспекту деятельности эмиграции.

Примечания

- ¹ Об инспирировании «кампании» против С. Ф. Платонова подробнее см.: В. С. Брачев. «Дело» академика С. Ф. Платонова // Вопросы истории, 1989, № 5.
- ² И. К. Луппол. Об отношении советских ученых к ученым эмиграции // Научный работник, 1928, № 12, с. 15, 19.
- ³ С. Н. Быковский. [Рец. на кн.:] М. И. Ростовцев. Скифия и Босфор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л., 1925 // Историк-марксист, 1929, т. 11, с. 180–182.
- ⁴ См.: Ю. В. Кривошеев, А. Ю. Дворниченко, В. В. Пузанов. Научная деятельность историков-эмигрантов в освещении советской периодики 1920–1930-х гг. // Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры. Тезисы докладов. М., 1993, с. 55.
- ⁵ Известия Академии наук СССР. Отделение гуманитарных наук, 1930, № 6, с. 415–440.
- ⁶ Известия ВАРНИТСО, 1931, № 2, с. 25.
- ⁷ Историк-марксист, 1929, т. 11, с. 270–275.
- ⁸ И. Минц. Марксисты на исторической неделе в Берлине и VI Международном конгрессе историков в Норвегии // Историк-марксист, 1928, т. 9, с. 88–89.
- ⁹ Там же, с. 89.
- ¹⁰ Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук, ф. 827, оп. 3, д. 249, л. 144.
- ¹¹ Борьба классов, 1931, № 1, с. 110–111.
- ¹² A. Florovskij. La littérature historique soviétique-russe. Compte-rendu, 1921–1931 // Bulletin d'Information de la Société d'Ethnographie. Paris, 1935, t. VI–VII; A. Florovsky. Historical Studies in Soviet Russia // The Slavonic and East European Review, 1935, vol. XIII, No 38, p. 457–469; А. А. Кузеветтер. Русская историография в оценке советских историков // Современные записки. Париж, 1931, № 46, с. 514–520.
- ¹³ В 1930 г. Е. В. Тарле был осужден и сослан.
- ¹⁴ Борьба классов, 1931, № 2, с. 120–121.
- ¹⁵ Н. Рубинштейн. Иностранная переписка по истории России и СССР // Историк-марксист, 1933, № 1, с. 141–148.
- ¹⁶ Известия Академии наук СССР. Отделение обществ. наук, 1932, № 2, с. 125–149.
- ¹⁷ С. Кульбакин. О речничкој страни старословенског језика // Глас Српске краљевске академије, 1930, т. 138.
- ¹⁸ С. Пионтковский. [Рец. на кн.:] Е. Шмурло. Курс русской истории. Москва и Литва (1462–1613). Прага, 1933, т. 2, вып. 1, с. 437 // Историк-марксист, 1935, № 12, с. 142–144.

- ¹⁹ М. Милич. Борьба за диалектический материализм в Югославии // Фронт науки и техники, 1936, № 7, с. 120.
- ²⁰ И. Минц. Марксисты на исторической неделе...
- ²¹ Там же, с. 96.
- ²² Там же, с. 91.
- ²³ См., например: В. Волгин. Международный конгресс историков в Варшаве // Фронт науки и техники, 1933, № 10–11, с. 133–139.
- ²⁴ А. Панкратова. Седьмой Международный конгресс исторических наук в Варшаве // Борьба классов, 1933, № 10, с. 12.
- ²⁵ См.: Борьба классов, 1933, № 10, с. 89.
- ²⁶ П. Преображенский. История международных отношений на Варшавском конгрессе // Борьба классов, 1933, № 10, с. 22.
- ²⁷ Р. Рубинштейн. Иностранная периодика..., с. 141.
- ²⁸ См., например, письма Г. А. Ильинского и Б. М. Ляпунова М. Г. Попруженко и другие материалы, опубликованные в кн.: Българско-руски научни връзки XIX–XX век. Документи. София, 1968.
- ²⁹ М. А. Робинсон, Л. П. Петровский. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ — НКВД) // Славяноведение, 1992, № 4; Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994.

Л. Н. Виноградова
(Москва)

Мифология календарного времени в фольклоре и верованиях славян

В процессе работы над этнолингвистическим словарем «Славянские древности» коллектив авторов имеет все больше возможностей убедиться в том, что фольклорные данные представляют собой весьма специфический — по сравнению с мифологическими поверьями — источник для изучения системы архаических народных верований. Если, например, собрать по материалам фольклорных текстов и поверий все возможные сведения о животном мире, то окажется, что характер информации будет заметно различаться в зависимости от привлеченных для анализа жанровых разновидностей текстов (сказок о животных, волшебных сказок, народных песен, примет, поверий, быличек, преданий, ритуальных запретов и т. п.).

Такие различия отчетливо прослеживаются, например, в характеристиках образа зайца по данным песенной традиции (где наиболее популярными оказываются мотивы, в которых заяц соотносится с символикой брака, любовных заигрываний с девушками, с эротической семантикой, с шутливыми намеками на возможность замены для девушки брачной пары на зайца) и по данным мифологических поверий (где наиболее значимым признаком оказывается связь зайца с миром духов и с нечистой силой). Согласно наблюдениям А. В. Гуры, во всех славянских верованиях отмечается связь зайца с чертом или злым духом. Так, широко распространены у славян былички о черте, который появляется в образе зайца; о зайце-оборотне, который якобы водит путника в глухом лесу, а затем с шумом исчезает в вихре (полесск. данные); об охотнике, который пытается подстрелить зайца, а тот превращается в ястреба (польск.). Кашубы представляли себе злого духа в образе хромого зайца. У белорусов известны приметы такого рода: «Як заяць у двур забежыць — чоловик той (хозяин двора) умрэ: то чыясь душа». В Боснии как предвестие смерти расценивалась встреча с зайцем. Увидеть его во сне, по западнополесским верованиям, — к смерти. Универсальной для всех славян является примета о том, что перебежавший дорогу

заяц сулит путнику неудачу и несчастья. По русским свидетельствам, не следовало упоминать зайца, плывя по воде, иначе водяной перевернет лодку¹.

Заметные расхождения символической семантики могут быть также отмечены, с одной стороны, в свидетельствах поверий, а с другой, в фольклорных текстах о растениях, птицах, бытовых и ритуальных предметах, мифологических персонажах и т. п. Скажем, береза в лирических и обрядовых песнях чаще всего соотносится с символикой весны, девичества, молодости, может выступать атрибутом молодежных забав и хороводов, а в поверьях отмечается отношение к этому дереву то как к несчастному и опасному, то как к счастливому и защищающему от зла. Известен полесский запрет сажать березу рядом с домом, чтобы на хозяев не напали болезни и не вымерла бы вся семья. На Русском Севере место, где когда-то росли березы, считалось опасным, на нем не ставили дом².

Таким образом, для целей реконструкции мифологической основы отдельных фрагментов народной культуры следует учитывать своеобразие разных жанровых групп текстов: песен, сказок, быличек, преданий, поверий, примет, запретов, загадок, ритуальных приговоров, магических формул и т. п., — ибо каждая из них характеризуется своим особым «языком» и содержит разный объем культурной информации. Для того, чтобы более или менее адекватно воссоздать мифологический стереотип (например, образ зайца, березы, ветра, воды и т. п.), приходится использовать данные разных семантических уровней всего многообразия фольклорных, этнографических и мифологических текстов.

Это обстоятельство (т. е. то, что разные жанры традиционной культуры содержат разный объем информации) оказывается во многих случаях решающим при попытке описать цельный фрагмент мифологической картины мира, поскольку этот спектр разноуровневых сведений выполняет незаменимую роль взаимодополняющих элементов, с помощью которых можно реконструировать единый концепт (мотив, образ, мифологический стереотип). Пользуясь подобной методикой, мы попытаемся выявить наиболее устойчивые общеславянские символы, способные прояснить первоначальный смысл обрядов, песенных образов и поверий, связанных с мифологией календарного времени.

* * *

Несмотря на то, что календарный песенный фольклор справедливо относят к числу наиболее разрушенных фольклорных жанров,

который имеет тенденцию восполнять утраченный обрядовый ритуал за счет поздних развлекательных песенных форм (необрядовой лирики, танцевальных припевок, частушек, юмористических куплетов и т. п.), тем не менее этот круг текстов продолжает сохранять ряд универсальных общеславянских мотивов и образов, тесно связанных с архаическими представлениями об устройстве народного календаря.

Например, одним из наиболее популярных и широко представленных в песенном фольклоре славян можно считать мотив о весеннем «отмыкании земли» (или неба, рая, вырия), в результате чего якобы выпускаются на волю птицы, насекомые, благодатные росы, дожди, зеленые всходы, теплое лето. Обладателями чудесных золотых ключей, с помощью которых «замыкаются» зимние холода и «отмыкается» плодородие земли, выступают в песенных текстах чаще всего перелетные птицы, пчелы, весна, персонифицированные весенние праздники, святые, дни которых приходятся на весенне-летний период. Эта система популярных мотивов и образов характерна для разноэтнических песенных циклов и поверий, приуроченных к праздничным датам Великого поста, Благовещения, Юрьева дня, Вознесения, Троицы, Пасхи.

Практически обязательной в календарном фольклоре славян, пронизывающей разные песенные и приговорные жанры, приметы, поверья, обрядовую терминологию является тема встреч и проводов, условно связанная со сменой сезонов и праздников годового цикла. Она реализуется в мотивах периодически повторяющихся «приходов» и «уходов» неких абстрактных персонажей: персонифицированных праздников или календарных периодов («встреча» или «проводы» зимы, весны, Нового года, Коляды, масленицы, поста, Семика, Купалы и т. п.), персонажей христианского культа или нечистой силы («проводы/похороны» Юрия, русалки, морены, ведьмы), неясных мифологизированных образов, в том числе таких, которые символизируют животный и растительный мир (выпроваживание или изгнание троицкой зелени, «мая», короля, куста, дремы, костромы, козы, кукушки и др. календарных символов). В календарном фольклоре, обслуживающем обряды «проводного» типа, без труда восстанавливаются мотивы, отражающие структуру ритуала посещения домов группами ряженных: например, вербальные формулы о необходимости одарить участников обходов или о том, что продукты собираются по домам якобы в пользу центрального ряженного, которого водили по селу остальные участники обряда; о том, что жертвование ритуальной пищи для исполнителей обряда непременно обернется благом для тех, кто не скупится на

щедрое одаривание; что факт «изгнания» в определенные календарные периоды и символическое оплакивание мифического персонажа обеспечат погодное равновесие, урожай, защиту от болезней и т. п.

В свое время нам уже приходилось писать о том, что святочные колядки содержат отголоски мифологических верований о «переходе» пришельцев из потустороннего мира в пространство людей. В украинских, белорусских и болгарских святочных песнях и приговорах, сопровождавших колядование, часто встречаются стереотипные описания дальнего многотрудного пути колядников, которые якобы идут в ночное время издалека, из страны, где они «спали-дремали», преодолевают моря, реки и «грязные грязи», бредут через «леса-боры», приходят под окна к хозяйскому двору уставшие, в стоптанных башмаках, с замерзшими ногами, в мокрой одежде, а целью их прихода является получение специально для них выпеченного рождественского хлеба. С группой текстов, объединенных темой «прихода издалека», связаны также колядки о строительстве моста как условия для прихода колядников на землю³.

Отголоски мотивов сезонных перемещений неких условных персонажей можно обнаружить также в вопросно-ответных песенных формулах весенне-летнего обрядового цикла. В них на вопросы: «где ты зимовала?» и «где ты летовала?», адресованные чаще всего веснянке, Марене, новому летку, русалке, купалке, Юрию, — следовали типовые ответы: «Зимовала у криницы» («у водицы», «у студенке», «за горами, за реками»), а «Летовала в яром жите» («в пшенице», «в зельечке», в растениях, в саду, в лесу). Популярность песенного мотива «зимования в воде» поддерживается общеславянскими поверьями о воде как месте зимнего пребывания некоторых персонажей нечистой силы и мифологизированных животных (в том числе ласточек, якобы зимующих на дне водоемов), причем водное пространство в таких поверьях осмыслялось как граница междуэтим и «тем» светом.

К группе песенных образов, имеющих связь с идеей календарных переходов из мифического пространства на землю и обратно, можно отнести и мотив «отправки на дерево» неких условных персонажей и ритуальных объектов, символизирующих конкретные даты календаря. Так в шуточных припевках, звучащих на заключительном этапе праздничного цикла, формула «отправки на дерево» обозначала изгнание соответствующего праздника или его символов (в том числе приуроченных к этому периоду обрядовых песен или ритуальной пищи): «А колядки, вы — на дуб, на дуб!», «Ой, масленица, потянися, ты за дуб, за колоду зацепися!», «До бору, Юрья, до бору,

да посадим Юрка на хвою». Эта же символика используется в песенных образах, изображавших смену приуроченной к празднику обрядовой пищи: в масленичных и постовых текстах описывалось, как улетали якобы на вербу вареники, сыр и масло; на «седьмой сучок» дерева улетало молоко; а возвращение скоромной пищи после окончания Петровского поста ожидалось, по поверьям, «когда Петро з дуба упаде». В восточнославянских веснянках на вершину дуба отправлялись «сложенные в решето» обрядовые песни, сроки исполнения которых заканчивались⁴.

Соответственно популярный мотив купальских песен о ведьме (или русалке, купалке), которая «на дуб лезла, кору грызла», исполнявшихся во время сожжения чучела ведьмы в купальском костре, тоже может рассматриваться как один из знаков «проводной» семантики⁵.

Таким образом, хотя календарно-обрядовые жанры испытали заметное разрушительное воздействие поздних форм песенности, отдельные мотивы и образы позволяют все же отметить отголоски мифологических представлений об устройстве годового цикла как чередовании периодов «открытости» и «закрытости» границы между земным и потусторонним мирами, когда происходят вторжения в земное пространство мифических пришельцев и затем «отправка» их обратно.

Более отчетливо эти мотивы представлены в демонологических поверьях, фиксирующих особенности сезонного (т. е. связанного с календарным временем) поведения мифологических персонажей. Имеется в виду приуроченность появления и исчезновения нечистой силы (а также ее активизации, «разгула», усиления или ослабления свойств вредоносности) к определенным срокам годового цикла. Отмеченная во всех без исключения славянских этнических традициях включенность демонологических поверий в структуру народного календаря заставляет нас более внимательно приглядеться к самой мифологии и аксиологии времени, в основе которой лежат представления о так называемом чистом времени, принадлежащем человеку, и опасном, нечистом, принадлежащем потусторонним силам, которые периодически вторгаются в земной мир.

Прежде всего, наиболее очевидным образом выделяются в мифологии славян и европейских народов периоды зимнего и летнего солнцеворотов, когда — как считалось — «раскрываются небеса» и духи загробного мира вторгаются в мир людей. Особая интенсивность «разгула» нечистой силы, по верованиям большинства народов Европы, достигается на святки: в это время мертвые якобы выходят из могил и навещают своих родственников; летом «тот» свет

открыт для общения живых и мертвых на Иванов день⁶. Славянская народная терминология святков, обозначаемых как время опасное, «бесовское», «нечистое», «вредное», тоже связана с представлениями о приходе на землю потусторонних гостей, душ умерших, а также с осмыслением этого 12-дневья как пограничного периода, разделяющего старый и новый год.

Вторая «вспышка» активности бесовских сил в рамках годового цикла приходится на время летнего солнцеворота (Иванов день) и связана у всех славян прежде всего с образом ведьмы. В ряде случаев оба периода (святки и Иванов день) выступают в качестве двух взаимосвязанных временных точек, отмеченных особым «разгулом» нечистой силы. Согласно южнорусским поверьям, ведьмы активизируются в ночь под Рождество, когда начинаются их шабаши, когда они стараются похитить с неба месяц и звезды, проникнуть в дома и хлева соседей, чтобы навредить им. Наряду с этим, к числу наиболее популярных верований общеславянского распространения можно отнести мотивы о купальской ночи как времени наибольшей активизации нечистой силы, особенно колдунов и ведьм, которые якобы вновь летают на совместные сборища, отбирают молоко у коров, урожай с чужих полей, вызывают засуху и непогоду. В Рождество и в канун Иванова дня проявлялась злокозненность карпатской стриги; на святки и в Янов день появлялась лужицкая *bela žona*; по некоторым севернорусским данным леший появлялся среди людей на святки или на Ивана Купалу; по польским свидетельствам человек мог превратиться в волкулака дважды в году: на Рождество и в день св. Яна.

Двумя симметричными точками календаря, связанными с зимним и летним солнцеворотами, не ограничиваются периоды демонической активизации в течение годового цикла. Представления о сезонных приходах и исчезновениях персонажей нечистой силы осложняются поверьями о весеннем «отмыкании» земли на Благовещение или в Юрьев день (когда наряду с птицами и насекомыми выпускается на свободу всякая «нечисть»), и об осеннем «замыкании» земли в день Воздвижения (либо на Головосека, в Спасов день), когда духи вновь переселяются в мифическую страну.

Ограниченная сезонность пребывания на земле выступает как ведущий признак в характеристике таких женских мифологических персонажей, как русалки, вилы, самодивы, полудницы, о которых известно, что зимой они пребывают в некоем мифическом пространстве (под водой, в подземелье, на краю света, на небе, на «том» свете), а весной в период цветения растений появляются в злаковом поле, в местах у воды, в лесу. Принадлежащее им календарное время чаще всего соотносится с Вознесением, троицким циклом праздни-

ков (Семиком, Духовым днем, Русальной неделей), либо с периодом от Пасхи до Иванова дня⁷. Некоторыми признаками сезонных духов, появление которых приурочено к весенне-летнему периоду, наделяются лесные и водяные мифологические персонажи (леший, водяной), а также духи болезней.

Зависимость поведения нечистой силы от календарных сроков проявляется в традиционных мотивах прихода мифического существа и его исчезновения. Все поведенческие стереотипы, характеризующие демонов, реализуются в группе мотивов с общей идеей «появления» (т. е. в определенные дни злые духи якобы прилетают на землю, выходят из воды, просыпаются после зимней спячки, завладевают земным пространством, проникают в дома и постройки, встречаются на пути людей, «бесятся», справляют свадьбы, слетаются на совместные сборища, вредят людям и домашнему скоту и т. п.) или с идеей «исчезновения» (т. е. духи уходят, проваливаются под землю, погружаются в воду, засыпают на зиму, «замирают», перестают вредить, теряют свои злокозненные свойства и т. п.). Если в поверьях сохраняется информация о том, откуда появляются мифические пришельцы и куда затем уходят, то чаще всего упоминаются подземный мир, далекая страна за морем, ад, вырей, «тот» свет и — особенно часто — вода как пограничное пространство между мирами.

Итак, наиболее маркированными с точки зрения общей демонологической активности оказываются следующие точки календаря: Рождество и святки, масленица, Юрьев день, Благовещение, Вознесение, Троица, Иванов день. К этому полугодовому периоду примыкают также праздники позднего лета, когда якобы «закрывается» земля и исчезают вредоносные силы.

То, что за рассмотренными здесь мотивами проступают контуры архаических представлений об устройстве народного календаря, подтверждают данные поверий о животном мире, в которых естественные наблюдения над природными сменами сезонов совмещаются с мифологическими мотивировками, объясняющими календарное поведение зверей, птиц и насекомых. Отчетливо видны, например, переключки между стереотипами поведения в рамках годового цикла персонажей нечистой силы и таких мифологизированных животных, как змеи и волки. Характерно, что в поверьях об этих животных сохраняются все упомянутые мотивы сезонных «появлений» и «исчезновений» (активизация вредоносных свойств, «разгул», «свадьбы», совместные сборища и т. п.).

Так, пробуждение змей от зимней спячки, выход из-под земли, выползание из нор приурочено в славянских поверьях к срокам, ох-

ватывающим равновесенний сезон: от первой недели Великого поста до Пасхи. Периодом наибольшей их активизации (когда змеи якобы встречаются на пути, преследуют человека, жалят, справляют свадьбы) считалось время до Иванова дня. После него змеи якобы перестают вредить людям, утрачивают свою силу, а со дня Петра и Павла их становится все меньше. Период исчезновения змей, по поверьям, растянут от Иванова дня до Воздвижения, причем переход их в землю, змеиную яму, вырий осмыслялся как зимнее пребывание змей на «том» свете. С представлениями об уходе змей связан мотив об их совместных сборищах, которые происходили под главенством царя змей. В Полесье, например, рассказывали, что все змеи собирались вместе на Ивана Купалу, празднуя свой праздник. Другой датой, по восточнославянским верованиям, был праздник Воздвижения (14.XI), когда перед уходом змеи устраивали общее сборище, сплетались клубками, отмечая п р а з д н и к г а д о в. В Хорватии верили, что в Иванов день змеи со всего света сползаются вместе на высокую гору близ Загреба, устраивая там свое празднество во главе со змеиной королевой, после чего исчезают с земли⁸.

Подобно ведьмам, русалкам, самодивам, которые накануне своих сезонных переходов, как считалось, собирались вместе на горах или на высоких деревьях, змеи тоже, согласно украинским волынским верованиям, влезали на лещину, чтобы «в последний раз перед уходом под землю увидеть небо»⁹. У всех славян достаточно широко известны поверья о том, что именно по деревьям змеи переползали в вырий (рай, иной мир).

Свой календарь «вспышек» вредоносной активности и сравнительной безвредности приписывается в народных поверьях и волкам. В отличие от змей, время волчьего «разгула» и повышенной опасности для людей приходится, как считалось, на зимний период. Наиболее отмеченными с точки зрения активизации волков оказываются следующие сроки поздней осени и предрождественских праздников: по болгарским данным, волки «бесятся» в мартинские ночи (с 11 до 17 ноября) или в течение пяти дней после арх. Михаила (8.XI) вплоть до Введения (21.XI) или до Рождественского поста. Соответственно волчьи дни, т. е. наиболее опасные периоды, когда люди защищались от волков, отмечались у болгар со дня св. Мартина до дня св. Саввы (5.XII). На Украине считалось, что волки собираются в стаи на Андреев день (30.XI) или в день св. Анны (9.XII), а расходятся и перестают вредить на Крещение (6.I). По карпатским данным, св. Николай отмыкает пасть волкам, выпуская их на волю. Зимой на святки они якобы бегают стаями, справляя свои «свадьбы», и только весенний Егорий замыкает им пасть, не позволяя больше вредить людям¹⁰.

Выше уже отмечалась роль воды в сезонных переходах мифологических персонажей. Заметной оказывается она и в поверьях о животных. Наряду с демонами, выходящими в определенное время из воды и вновь возвращающимися в воду, таким же образом характеризовались и некие мифические животные. Сравним, например, параллелизм следующих данных: по украинским поверьям, купаться после дня пророка Ильи уже нельзя, так как с этого дня «дьяволы начинают жить в воде»¹¹. На Карпатах же подобный запрет мотивировался тем, что после Ильина дня уже «медведь вскочил в воду»¹². В польских селах Живецких Бескидов регламентация летнего купания связывалась с поверьями об олене, который якобы зимой обитал в воде и выходил на сушу лишь в день Божьего Тела (9-й четверг после Пасхи), а затем вновь возвращался в воду в день св. Бартоломея (24.VIII), поэтому в этой местности купались в водоемах тогда, когда «оленья не было в воде»; местные крестьяне говорили: «еще олень из воды не выскочил» и в реку входить не отваживались¹³.

Как можно было заметить из рассмотренного материала, вода и деревья выступают в качестве двух главных локусов, символизирующих пути пространственных перемещений мифологических и животных персонажей народных поверий из одного мира в другой. Эти же традиционные пути переходов упоминались в белорусских поверьях о сезонном поведении черта, который якобы до Крещения сидит в воде, а после окрещения воды переходит на дерево. По украинско-белорусским данным, дополнительными локусами сезонных переходов персонажей нечистой силы выступала также растительность (цветы, травы, злаки), причем пребывание духов в воде приписывалось осенне-зимнему периоду, а выход их на деревья и травы относился ко времени от Крещения до Иванова или Спасова дня: «Черти постоянно сидят в воде и болоте. Когда освятят воду, они переходят на вербу, по освящении вербы переходят в зелье, а оттуда обратно в воду. Такой переход совершается постоянно»¹⁴. По народным представлениям, считалось, что церковный обряд водосвятия на Крещение (равно как и освящение вербы в Вербное воскресенье, трав и цветов на Троицу) производится с той целью, чтобы изгнать злых духов из воды и растений: «До Крещения черт в воде сидит — так в этот день воду светят; на Вербницу святят вербу — это черта с вербы сгоняют; на св. Яна травы светят — это значит, черта с травы согнали»¹⁵.

По другим белорусским данным, сезонные переходы злого духа совершались якобы в течение более длительного периода: с Крещения до Спасова дня. Так, по данным Е. Р. Романова, водяной черт си-

дит в воде до Крещения, а после освящения воды переходит на лозу; остается в лозе до масленицы, затем перемещается на вербу; после освящения вербы идет в Вербное воскресенье на явор, а на Пасху Бог его гонит с явора на жито; на жите водяной черт сидит до Юрьева дня, а после освящения злаковых всходов переходит в травы и цветы, где остается до Маковья; когда же освящают букеты цветов, черт идет на яблоню и сидит там до Спаса, а уже со Спаса после освящения яблок он снова погружается в воду и остается там до Крещения¹⁶.

То, что местами мифических «переходов» нечистой силы последовательно выступают сначала деревья (прежде всего верба, раньше других деревьев подающая признаки весеннего «пробуждения»), затем «зелье» (травы; цветы, злаковые всходы) и, наконец, плоды (фрукты, овощи, колосья), позволяет отметить очевидную связь сезонно мигрирующих духов с вегетативным циклом растений. Создается впечатление, что церковно-христианская обрядность освящения зимой воды, весной вербы, летом троицкой зелени и злаков, осенью плодов и колосьев сформировалась под влиянием народных календарных поверий о посещающих землю потусторонних существах, духах, которые обнаруживают свое присутствие в растениях на разных этапах их вегетативного развития.

Свой календарь «приходов» и «уходов» — если учесть данные поминальных обычаев и верований — приписывается в народной культуре и душам умерших. Так, у всех славян отмечается задушный (т. е. имеющий связь с душами предков) характер святочной обрядности, который проявляется в комплексе обычаев колядования и ряженья, в гаданиях и запретах на определенные виды домашних работ, в составе поминальных блюд, в ритуалах с семантикой «приглашения» предков (или заменяющих их персонажей) к рождественскому ужину и последующего «выпровоаживания», «проводов» потусторонних гостей и т. п. «Можно ли удивляться, — писал один из собирателей южнорусского фольклора, — рассказам народа о ночных посещениях покойников <...>, когда даже днем, при полном господстве здравого смысла, народ верит, что „родительские душеньки“ на святки скитаются около своих домов»¹⁷.

Отголоски верований о периодах контактов с предками находят отражение как в структуре календарных поминальных праздников, так и в народной терминологии этих периодов и дат, обозначаемых как *деды*, *бабы*, *дедовские дни* (недели), *мертвые дни* (недели), *Навський Четверг* (Троица, Пасха), *поминальница*, *поминальные дни* и др.¹⁸. В ряду подобных наименований особого внимания заслуживает термин *проводы*, относящийся к заключительному дню праздничного цикла (например, *проводы* Рождества, масленицы, Пасхи,

Троицы), причем он осмыслялся, по некоторым данным, не только как *проводы* праздника или сезона («зимы», «весны»), но и как «выпровождение» душ умерших за пределы земного пространства.

В Полесье послепасхальный обычай помянуть умерших родственников на кладбище объясняли следующим образом: «Колись мертвы — казали — хадили. Як на Пасху — ўсе мертвы приходили ў гости. А тады от уже Проводы, — праводять радных сваих пакойников, отводят на кладбишча»¹⁹.

Согласно этнографическим сведениям восточных славян, календарно закреплённые поминальные дни отмечались несколько раз в году: обычно в субботу на масленичной неделе, после Пасхи на Радуницу (вторник Фоминой недели), в один из последних дней троичского комплекса и осенью накануне Дмитриева (26.X) или Михайлова (8.XI) дней. Между тем, в народных поверьях временем появления на земле умерших иногда назывался также период, когда зацветала рожь. Представления о том, что Бог трижды в году выпускает с «того» света на землю мертвецов (в пасхальный четверг, когда цветет жито и на Спаса) фиксировались, например, на Вольни²⁰. О том, что во время цветения злаков «просыпаются» мертвецы, упоминает украинский этнограф О. Воропай: «На Зелені Свята (имеється в виду троїцький період. — Л. В.) починають квітнути жита, а за народнім віруванням, в час квітнування хлібних злаків прокидаються мерці»²¹.

Похоже, что универсальные для индоевропейской мифологии архаические представления о связи весеннего пробуждения природы с душами умерших сохраняются и в некоторых славянских свидетельствах. Отголоски этих верований могут быть отмечены в мотивах белорусских похоронных причитаний, в которых временем, предназначенным для «прихода» умерших в свои дома, неизменно называется весенне-летний период: оплакивающие умершего, судя по текстам причитаний, ожидают появления его души тогда, «когда весной пташечки прилетят», «кукушка закукует», «настанет лето теплое», «букашечки, козявочки повыползут», «цветочки расцветут»; обращаются к покойнику с вопросом: «с какими пташечками ждуть тебя весной?», «в каком садочке ты зацветешь?» и т. п.²². Таким образом, рассмотренные на материале разных жанровых групп текстов (календарных песен, похоронных причитаний, поверий о нечистой силе и мифологизированных животных, поминальных обрядов и верований, терминологии народных календарных праздников), мотивы сезонных «переходов» мифологических персонажей с «того» света и обратно позволяют нам приблизиться к реконструкции, по-видимому, дохристианских верований об устройстве

архаического народного календаря, в которых наблюдения над сменами времен года совмещаются с представлениями мифологического характера о периодах «открытости» границы между земным и потусторонним мирами, а также о том, что души умерших и демонические существа каким-то образом связаны с весенне-летней вегетацией растений.

Примечания

- ¹ Приведенный материал почерпнут из работ А. В. Гуры: Символика зайца в славянском обрядовом и песенном фольклоре // Славянский и балканский фольклор: Генезис. Архаика. Традиции. М., 1978, с. 159–190; Заяц // Этнолингвистический словарь славянских древностей: Проект словника. Предварительные материалы. М., 1984, с. 129–149.
- ² Л. Н. Виноградова, В. В. Усачева. Береза // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995, т. 1, А–Г, с. 156–160.
- ³ Л. Н. Виноградова. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. М., 1982, с. 155–163.
- ⁴ Т. А. Агапкина, А. Л. Топорков. К проблеме этнографического контекста календарных песен // Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986, с. 76–88.
- ⁵ Л. Н. Виноградова. Фольклор как источник для реконструкции древней славянской духовной культуры // Славянский и балканский фольклор: Реконструкция древней славянской культуры: Источники и методы. М., 1989, с. 112–113.
- ⁶ Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Вып. 4. Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983, с. 47.
- ⁷ Л. Н. Виноградова. Цветочное имя русалки: Славянские поверья о цветении растений // Этноязычная и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995, с. 231–260; М. Беновска-Събкова. За русалките в българския фолклор // Български фолклор. София, 1991, кн. 1, с. 3–14.
- ⁸ А. В. Гура. Символика животных в славянской народной культуре. М., 1997.
- ⁹ Полесский архив Института славяноведения и балканистики РАН. Запись из Ковельского р-на Волынской обл.
- ¹⁰ А. В. Гура. Волк // Славянские древности..., с. 413.
- ¹¹ Этнографическое обозрение. М., 1938, т. 3, с. 110.
- ¹² Т. С. Макашина. Ильин день и Илья-пророк в народных представлениях и фольклоре восточных славян // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982, с. 87.

- ¹³ *D. Tylkowa. Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich.* Wrocław; Warszawa; Kraków, 1989, s. 21.
- ¹⁴ *Ю. Ф. Крачковский.* Быт западно-русского селянина. М., 1874, с. 205.
- ¹⁵ Полесский архив ИСБРАН. Зап. из с. Кривляны Брестской обл.
- ¹⁶ *Е. Р. Романов.* Белорусский сборник. Сказки космогонические и культурные. Витебск, 1891, вып. 4, с. 6.
- ¹⁷ *Д. К. Зеленин.* Народный обычай «греть покойников» // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1909, т. 18, с. 257.
- ¹⁸ Ср., например, данные полесской традиции, приведенные в работе С. М. Толстой «Полесский народный календарь: Материалы к этнодиалектному словарю», опубликованной по частям в следующих изданиях: 1) Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984, с. 178–200; 2) Славянское и балканское языкознание: Проблемы диалектологии. М., 1986, с. 98–131; 3) Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986, с. 178–242; 4) Славянский и балканский фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995, с. 251–317.
- ¹⁹ Полесский архив ИСБРАН. Запись из с. Дягова Менского р-на Черниговской обл.
- ²⁰ *П. П. Чубинский.* Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край. СПб., 1872, т. 3, с. 14.
- ²¹ *О. Воронай.* Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. Київ, 1991, т. 2, с. 175.
- ²² Пахаванні. Памінкі. Галашэнні. Мінск, 1986, с. 213, 254, 334, 424 и др.

Л. А. Софронова
(Москва)

Романтический автопортрет славянина в «Лекциях по славянской литературе» А. Мицкевича

Культура всегда осознает сама себя, это самосознание фиксируется в текстах, как научных, так и художественных. В них может вестись полемика с предыдущими эпохами, между архаистами и новаторами, могут декларироваться новые идеи, анализироваться ключевые слова. Реконструкция самоописания культуры — важная часть науки о культуре. «Образ эпохи складывается из ее „объективности“ и ее самоистолкования; но только то и другое неразделимо, и „объективность“ невычленима из потока самоистолкования»¹. Принимая во внимание эту неразделимость, «невычленимость», попытаемся рассмотреть на конкретном примере самописание человека в культуре эпохи романтизма.

Человек в культуре выступает в разных ипостасях: как личность, как носитель национальной идеи или мифологических знаний о мире. Представления человека о своем поведении в социальных, психологических, нравственных измерениях находятся в разных параметрах культуры. Человек поэтому и описывает себя по-разному. Самоописания эти бывают ретроспективными или проецируются в будущее время, помещаются в настоящее. Они проводятся в мифологических и научных терминах, в философии и искусстве. Все эти самоописания условно можно назвать автопортретами, которые, разнясь методами и самооценкой, сосуществуют в одно время.

Цели создания автопортретов различны. Их вызывают к жизни и научные исследования, и официальная пропаганда. Проступают его черты в низовых слоях культуры, например в анекдотах.

Автопортреты сопровождаются завышенной или мнимо заниженной самооценкой. Они очень устойчивы. Реплики автопортретов XVI–XVIII вв. возникают и в XIX, и в XX в., так как представления человека о самом себе легко мифологизируются. «Люди погружены в то, что мы могли бы назвать мифосемиотическим совершением»².

Самописание человека в национальном аспекте, трансформация национальной идеи в связи с человеком разных эпох выделяется как важная составляющая самоописания культуры. В эпоху романтизма

таких описаний было множество. Мы рассмотрим одно из них, созданное А. Мицкевичем в «Лекциях по славянской литературе».

Романтизм всегда был нацелен на самопознание, на самоистолкование, в том числе и в аспекте национальном. Образ народа, его прошлое и будущее занимали поэтов и философов. Они интуитивно нащупывали основы национального, не стремясь их окончательно систематизировать. Так и А. Мицкевич в «Лекциях по славянской литературе» воссоздает образы славянина и славянства. Эти образы сливаются в единое целое: Человек и народ соотносятся у А. Мицкевича не как малая и большая величины — они совпадают: народ — это тоже человек, например, страдающий, тоскующий, человек свободного духа (352–XI)³. Слияние двух понятий вызывает к жизни такое новое образование, как человек-народ. А. Мицкевич полагает, что существование человека-народа подкрепляется особенностями отношения славян к общественной жизни. Славяне легко растворяются в обществе, личность славянина подчиняется ему и отходит на второй план.

Характеризуя славянство, А. Мицкевич идентифицирует себя с ним. Он не только утверждает, что говорит от имени славянского народа, от имени поляков, русских, чехов, сербов, иллирийцев. Он также уверен, что должен ответить на призыв славянского духа стать его голосом (329–XI), сказать о славянах то, что еще не сказано. Поэт утверждает, что имеет на это право, так как его личность, его душа — главное свидетельство личности славян; ее никогда не выявят никакие книги и никакие системы. Он, А. Мицкевич, — носитель славянских традиций, готовый в любое время отказаться от собственного Я. Он не раз по ходу лекций именуется славянином, уверяет, что говорит со славянских позиций. Он может даже кричать с кафедры, — как он пишет, и этот его крик станет воплем души измученного славянского народа.

Право народа говорить от всех славян освящено свыше. Поэту было дано услышать глас Божий, и теперь его ведет Провидение. Так происходит сакрализация славянского автопортрета.

Образ поэта сливается с образом человека-народа; так А. Мицкевич создает автопортрет славянина. Этот автопортрет — полное отражение черт, присущих всем славянам. Вглядевшись в него, они лучше себя узнают; Европе также полезно взглянуть на него, — считает поэт. Она должна, наконец, приблизиться к славянскому миру.

Таким образом, «Лекции по славянской литературе» перестают быть собранием филологических и исторических экскурсов и перерастают в исследование славянства вообще, ориентированное на автопортрет славянина.

А. Мицкевич создавал этот автопортрет словом и видел поэтому в лекциях «воплощенное славянское слово». Сама же кафедра (Коллеж де Франс), с которой оно произносилось, объявлялась и трибуной, и знаменем, и ковчегом спасения, и бастионом.

Поэт осознал, что он обращается к особой аудитории: одна ее часть — французы, другая — славяне. Неоднородность аудитории явно повлияла на славянский автопортрет. В какой-то мере А. Мицкевич, учитывая адресат, что-то преувеличил, а что-то преуменьшил, стараясь быть понятым. Он не раз говорил о сложной внутренней работе, о необходимости не только говорить на чужом языке, но и полностью преображать каждую мысль и каждое слово (14–VIII). Поэт стремится встать на точку зрения аудитории. Заявления типа: я — славянин соседствуют с противоположными: я смотрю на славян глазами французов. Так он пытается создать образ аудитории. «Всякий текст (в особенности художественный) содержит в себе образ аудитории» (Ю. М. Лотман). Для упрочения связей с аудиторией (французской ее частью) А. Мицкевич наделяет ее особой способностью проникнуть в мир славян, объявляет дух и интуицию чертами, присущими и французам, и славянам. Также поэт объединяет оба народа культом Наполеона, который для них есть совершенное воплощение духа, идеальный человек, лучший комментатор Евангелия, архетип нового искусства.

А. Мицкевич объявляет, что создает славянский автопортрет по вдохновению, ведомый интуицией. Он не желает конструировать систему взглядов на славян в истории и в настоящем времени, так как способен проникнуть в глубины их духа. Порой он, правда, сетует на отсутствие консультантов и славянских книг (они, как он говорит, находились в критические моменты; правда, не всегда кстати).

Черты славянского автопортрета разбросаны по всем лекциям. Поэт часто повторяет одни и те же положения и не стремится к избытию «внешних» фактов. Его объект стоит выше фактов истории, литературы, философии. Он — не есть побочный продукт философских, филологических или исторических исследований. Он — самостоятельная величина, важен и ценен сам по себе. «За текст (обратим внимание на использование будущего семиотического термина. — Л. С.) мы приняли человека, книги же сочли комментариями» (352–XI).

Примечательно совпадение взглядов А. Мицкевича с основными положениями современной науки. «Проблема индивидуальности в истории культуры принадлежит к числу актуальнейших проблем современной исторической мысли. Это проблема одновременно научная и нравственная»⁴.

Автопортрет славянина у А. Мицкевича принципиально не живописен. Иногда он даже сводится к сухому перечислению отдельных черт, иногда перерастает в мифологический или политический экскурс; иногда тяготеет к философским фрагментам. Он бывает то противоречив, то однотонен. В лекциях не найти лирических зарисовок, поэт не нацелен на создание визуального ряда, который предполагает жанр автопортрета.

Анализ всех черт славянина, физических, психологических, социальных, А. Мицкевич подчиняет единому заданию — созданию концепции славянства, в которой доминируют такие категории, как дух, слово, национальное предназначение.

Поэт почти что мельком говорит о внешнем виде славян: когда он к нему обращается, то явно пытается создать портрет антропологический, естественно, в рамках науки того времени.

Славяне — рослые, светловолосые, с голубыми, широко открытыми глазами (правда, не очень большими), с прямыми недлинными носами. У них широкие плечи, сильные ноги. Есть и темноволосые славяне, не такие сильные, как светловолосые. По словам А. Мицкевича, у них у всех голова явно тяготеет к квадрату, а не к овалу.

Как видим, внешний облик славянина очень условен и построен по принципу перечисления отдельных антропологических признаков, которые явно не складываются в единый образ и не работают на создание характеристики славянина как личности. Физический автопортрет не главенствует у А. Мицкевича. Он необходим ему для того, чтобы повторить мысль Гердера о приспособленности славян к земледельческому труду: «Этот народ, очевидно, предназначен для возделывания земли, для трудной крестьянской жизни» (58–VIII). Труд пахаря для поэта священен — так прочерчивается еще одна линия сакральной характеристики автопортрета, а также намечается идея связи славянина с природой, очень существенная для поэта.

Кроме того, поэт обращается к внешнему облику славянина косвенно, выстраивая оппозицию: свой/чужой. В перекрестье сравнений с другими народами формируются знания о самих себе: поэт прибегает к этим сравнениям с тем, чтобы «оживить» внешний облик славянина. Под пером А. Мицкевича, например, литовцы оказываются гораздо менее симпатичными, чем славяне, которые, соответственно, в этом противопоставлении теряют схематичность. У литовцев не такой высокий лоб, не такие большие, да и менее живые глаза, чем у славян. Вдобавок литовцы очень бледны.

Портрет чужого приобретает и оценочные характеристики. Внешность становится знаком предполагаемого внутреннего состоя-

ния. А. Мицкевич оттеняет славянский автопортрет портретом татар. Здесь нет статичности, татарин энергичен, он весь в движении (ездит конно). У него огромная голова, узкие глаза излучают зловещую страсть. Ноги его не такие сильные, как у славян. Весь облик татарина свидетельствует о том, что он всегда готов к нападению (в отличие от славянина).

А. Мицкевич подчеркивает, что славянам не было присуще резко негативное отношение к чужим. Они не видели в них варваров, подобных животным, как эллины или китайцы⁵. Чужой для славянина — это немой, это тот, кто не владеет словом. Так на первый план выходит отношение славян к слову, которое поэт считал основоположным в их характеристике.

Гораздо больше места, чем автопортрету физическому, поэт отводит психологическому автопортрету славянина. Этот его слой никак не зависит от внешнего, физический автопортрет безотносителен к психологическому. Безотносительность эта исчезает только при рассмотрении античных памятников, в которых, согласно представлениям того времени, запечатлены славяне («Точильщик», «Умирающий гладиатор», фигура на колонне Траяна и даже кариакиды). Один предполагаемый славянин «жестоко добродушен», другой уносится мыслью на родину в минуту смерти, третий поражает могучей силой. Все они рослые, атлетически сложенные, и всех их пронизывает безмерное страдание и пассивность (241–246–XI). Только здесь физическое начало связано с психическим.

Психологический автопортрет развернут и динамичен, ему придана оценка, отнюдь не только комплементарная. Он не самодостаточен и служит прочной основой для построения чисто романтической концепции славянства.

Психологический портрет помещен на историческом и историко-культурном фоне. Поэт обращается к истории древней и современной, выискивая тайные сходства между отдельными историческими событиями. Он вчитывается в историю разных эпох, углубляясь в основы славянского миропорядка, в архаическую систему ценностей. Поэт заявляет, что исторические факты сами по себе мало что значат, ибо они материальны. Он декларирует особый, символический подход к истории, по своим принципам сходный с теми, которые положил в основу изучения философии истории Л. П. Карсавин. Ученый утверждал, что за физическими воздействиями людей друг на друга «протекают психические факты, которые для историка только и существенны... не развитие крупного землевладения, крепостнических отношений, не количество рабов является предметом истории, а то, что за всем этим скрывается, социально-психическое»⁶.

Символический подход к истории лежит в основе создания славянского автопортрета. Так, рассуждая о передвижении древних славян, А. Мицкевич настаивает на том, что они не любили путешествовать, страшились неизведанных дорог, опасались всего нового и больше всего на свете хотели сидеть на месте и иметь крышу над головой.

Славяне в лекциях Мицкевича описаны как люди мирного нрава. В их языческом пантеоне даже не было бога войны. В древности в их языке отсутствовали слова для обозначения измены и хитрости. Они гуманно обращались с пленными, даруя им свободу; были гостеприимны; у них не было тайного суда — он совершался публично и сопровождался мимическим представлением, передающим все детали разбирательства (65–X). (Здесь А. Мицкевич явно апеллирует к судебному театру⁷.) Из идиллического состояния покоя славян вытаскивали сыны Одина или кавказские народы. По своей природе они столь миролюбивы, что и теперь не в состоянии увлечься какой-нибудь «кровожадной» теорией.

Славяне тесно связаны с природой. «Ни у одного народа нет столько знаний о целебности мира природы, сколько их есть у славян» (48–VIII). Перед тем как возделывать землю, они совершают особые обряды (очистительные. — Л. С.), испрашивая у высших сил позволение прикоснуться к земле.

Славяне очень незлобивы и легко прощают обиды, равно как и забывают благодеяния, им оказанные (58–VIII). Они спокойны и уравновешенны, им неведомы сильные страсти, хотя они способны на порывы души и героические поступки. Славяне не испытывают особой привязанности к роскоши, их больше привлекают развлечения (58–VIII). Они чувствительны и скромны. «Это племя религиозное, племя простое, племя доброе и сильное» (211–XI). Напомним, что Н. О. Лосский основной чертой русского народа считал религиозность (воинствующий атеизм, по Н. О. Лосскому, также признак религиозности); он отмечал способность русского народа распознавать добро и отделять его от зла⁸.

Мирный, кроткий нрав, связь с природой — общие места почти в любой характеристике любого народа. А. Мицкевич не сосредоточивался на них и, как бы быстро их проговаривая, последовательно представляет более примечательные, с его точки зрения, черты славянского автопортрета. Он усматривает в нем противоположные, но не исключают друг друга, пассивность и экзальтированность.

А. Мицкевич полагает, что всем славянам свойственна сосредоточенная пассивность. Они предпочитают не вступать в борьбу, не добиваться лучшего и более выгодного существования. Пребывая

на своих землях, они не хотят расширять их пределы (за исключением русских). Славяне не стремятся к переменам, в том числе стараются сохранить устройство общества в первоизданном виде, что мешает, по словам поэта, их объединению, и порой заставляет и враждовать.

Славяне способны прервать пассивное состояние ради свободы, даже принести себя в жертву. Им присуще чувство достоинства, причемлюбому человеку, богатому и бедному. В славянском крестьянине нет неуклюжести, грубости, простоватости. Эти черты проступают, если он попадает в маргинальную ситуацию, например, становится лакеем. «Род этот не создан для лакейства» (167–X).

Награждая славян пассивностью и однородными с ней свойствами, А. Мицкевич на этом не останавливается. Из этой черты он выводит идею о непривязанности славян к земному миру, который не подлежит переделыванию. По концепции поэта, славяне не ввязываются в войны и не слишком озабочены собиранием богатств земных, потому что их тянет к небу, потому что они живут жизнью духа.

Развитию этого высокого свойства способствует такая черта славян, как экзальтированность. «Кто не испытывает восторга, размышляя о высоком и божественном, тот не принадлежит нашему народу, это не француз, не поляк, не чистый славянин» (348–XI).

Экзальтирован бывает не весь народ, а отдельные личности. Это они уходят с проторенных дорог, это им душно в привычной атмосфере. Они находят свой дороги и свое окружение, и тогда их энергия становится целенаправленной. Экзальтированность проявляется в личностных отношениях, социальных, политических. (Ср. теорию Л. Н. Гумилева о пассионарных личностях, возрождающую романтическую концепцию истории.)

Пассивность и экзальтированность сочетаются у славян с сильно развитой интуицией, которая ведет их не только по жизни чувств, но и по истории. Благодаря ей они проникают в тайны окружающего мира. Славяне доверяют интуиции больше, чем разуму, в отличие от германских и кельтских народов (208–X). Интуитивно они воспринимают и творят искусство и науку, не нуждаясь в догматах и выстроенных системах. Они не предаются размышлениям, не сильны в логически выстроенных формах. Зато у них очень развито воображение.

Если бы Мицкевич остановился только на этом уровне автопортрета, он изменил бы романтической концепции мира и человека. Этого не произошло, так как поэт придал славянскому автопортрету особую глубину, увязав его с ведущей категорией романтизма — с категорией духа. Все черты, определяющие отношение славян к ми-

ру природы, к истории, к искусству, приходят в согласие и образуют динамическое единство.

Дух славян загадочен и не понятен для чужестранцев. Они не могут его уловить, отправившись в путешествие в славянские страны — славяне не выразили себя в архитектуре. Они не достигнут успеха, пытаясь проникнуть в суть политической жизни. «Там не услышишь голоса политических страстей, никто не говорит и о международных делах» (456—XI). Славяне настолько равнодушны к общественной жизни, что если у них случится революция, на завтра их жизнь будет течь, как раньше, — напрасно был уверен поэт.

Дух, по Мицкевичу, не есть сумма представлений и мнений отдельных людей; дух — это первоэлемент общества, это «вечная личность» (481—XI). (Ср. рассуждения Л. П. Карсавина о высшей личности или Н. О. Лосского о личности высшего порядка.)

У славян нет ничего выше жизни духа, выше воспоминаний о стране духа, откуда они происходят; там их истинная родина, там всегда пребывает их душа. В духе нет дробности, он, как и все на свете, стремится к синтезу, что отражается в славянской литературе, которая есть и религия, и политика, и сила, и мощь народа. Жизнь духа формируется не в чтении книг, не в изучении различных теорий, а в сражениях, изгнании, в цепях и кандалах — это школа славянского духа. Он пронизывает разум, сердце каждого славянина, но не поглощается ими. Только дух способен пробудить славян к действию, к новой жизни. Он претворяет славянское искусство в обряд, прежде всего искусство слова, делает его воплощением чаяний всех славян.

Значение категории духа столь велико, что само слово — дух — определило облик славянских языков. Делая поэтическое преувеличение, А. Мицкевич уверяет своих слушателей в том, что примерно треть словарного состава этих языков — производные от слова дух (163—164—X). Так поэт напрямую связывает язык и дух, дух и слово.

Языку и слову А. Мицкевич уделяет огромное внимание при создании славянского автопортрета. Конечно, и здесь он выступает как поэт. Славянский язык у него подобен простой славянской природе (131—IX). Эти языки родились как близнецы-братья (А. Мицкевич делит славянские языки только на две ветви). Эти братья похожи, но один из них светловолосый, а другой темноволосый (вспомним внешний облик славян по А. Мицкевичу). Языки-братья по мере своего развития разнятся друг от друга, удаляются от общего корня.

А. Мицкевич пытается выступить и как филолог, рассуждая о происхождении славянских языков и диалектов; он делает головокружительные этимологические реконструкции, которыми так ув-

лекались лингвисты того времени, как и историки, и поэты⁹. Наряду с фантастическими выводами существуют и своего рода научные догадки, если не сказать предвидения. Поэт делает пронизательный вывод о первозданности языка Полесья, хранящего подлинный славянский дух. Он уверен в том, что его лекции можно считать попыткой создания «общей грамматики славянских диалектов».

Филологические экскурсы Мицкевича сводимы к одной задаче — доказать единство славянских языков, их общность. Поэт уверен в том, что когда-то существовал единый язык славян; что все славянские языки вообще возводятся к единому единственному слову (вспомним четыре элемента Н. Я. Марра). «Может быть, это один язык, выступающий во всех формах и на всех ступенях развития» (18—VIII). Языковое единство — прочная основа общности славян.

Обеспечивая эту общность филологическими рассуждениями, А. Мицкевич обращается к функции слова и на первый план выдвигает функцию сакральную, по его мнению, наиболее характерную для славянского мира. Слово у славян — воплощение духа, оно хранит его, и само пронизано таинственной силой. Славяне, утверждает А. Мицкевич, верят в то, что нечто достаточно назвать, чтобы оно свершилось (16.X); слово для них — вместилище святости и творческой мощи. Славяне через слово постигают и творят мир, ему они доверяют гораздо больше, чем мелодии или изображению.

Особое отношение славян к слову не произвольно. Они внутренне связаны со словом, и эту связь А. Мицкевич усматривает в самом этнониме — *славяне*.

Не только народ, но и каждый человек связан со словом, оно сродни ему. Поэт уверяет: человек — это и есть слово. Во многих славянских языках это слова одного корня, утверждает поэт, правда, не приводя примеров.

Итак, славяне — это люди слова, люди духа. Их слово и дух не существуют раздельно. В их слиянии рождается система мифологических представлений о мире и человеке. Как все явления славянской жизни А. Мицкевич возводит в ранг особых, необычных, только славянам присущих, так и мифология в его лекциях становится исключительной. Как все элементы, из которых слагается славянский автопортрет, оказываются внутренне связанными, зависящими друг от друга, так и мифология «не повисает в воздухе». Она не только манифестирует языческое состояние славян, но и служит преддверием христианства. В ней наличествуют такие положения, в которых слышно предчувствие христианских дог-

матов, которые чудесным и одновременно естественным образом подводят славянина-язычника к христианской вере. Этот переход тем более был естественным, что славянская мифология, по Мицкевичу, не была полностью развита; она как бы оставляла место для более совершенных воззрений на мир и человека. Незрелость мифологии А. Мицкевич объясняет тем, что у славян не было жрецов (65–VIII). Их верования испытывали сильные влияния извне. Они поклонялись то гуннским, то германским, то греческим богам, только иногда выстуривая из дерева своих собственных богов, походивших на чужих. В этом пантеоне не было иерархии. Славянская мифологическая система со временем грубела, упрощалась, обряды смешивались и фальсифицировались, что облегчило принятие христианства. Главный же недостаток этой системы А. Мицкевич усматривал в том, что в ней не было предписанных отношений между человеком и высшими силами. Кроме того, она не создала слова, которое могло бы объединить всех славян, — могущественного слова, «которое провозгласило бы высокую истину и которое вдохновлялось бы над-природными силами» (68–VIII).

Достоинства славянской мифологической системы, по А. Мицкевичу, состояли в том, что она предполагала наличие и взаимодействие двух миров, видимого и невидимого (113–XI). Вера в оборотничество, в пришельцев другого мира объявляется поэтом верой в индивидуальность человеческого духа — верой в бессмертие души. Эти достоинства — исконно славянские, все остальное — наносное. Только они сохранились до сих пор в душе славянина и сосуществуют с христианскими ценностями.

Христианство не было славянам навязано извне, они внутренне к нему были готовы. Его не следует представлять как нечто совершенно новое. Оно не разрушило мифологических традиций, которые служили ему подосновой. Потому христианство было так стремительно усвоено и оказало огромное влияние на семью, на общество, на славянскую политическую систему. Оно стало источником искусства и укрепило идею славянского единства.

Славяне приняли идею христианской любви, они пострадали ее своей жизнью. В христианстве многие присущие им черты получили новые смыслы. Так, пассивность и экзальтированность обернулись упованием на Господа и горячей верой. Веруя, славяне страдают и терпят, покоряются судьбе. Они знают, что Бог их не оставит и предопределит их жизнь, которую они сами страшатся переделывать.

Так А. Мицкевич подходит к осевой линии, определяющей целостную композицию автопортрета, — к идее славянского мессиа-

низма. Бог избрал славян, у них есть религиозное предназначение, которое они выполнят в будущем и которое сами пока не осознают. Тайну о нем хранит Провидение. Следуя романтической концепции времени, поэт относит миссию славян на будущее и выискивает ее предзнаменования в настоящем. Таковым он считает равнодушие славян к формам государственной жизни. Это отличает их от европейцев — у них иная система ценностей. Славян, на самом деле, не устраивает никакая форма государственного правления — ими должны править не по человеческим, а по божеским законам. Они ожидают эти законы, но внешне ничего не делают для их приближения. Свое слово они еще скажут, когда на земле с их помощью победит любовь. Тогда появится форма правления, которой еще не было до сих пор, и славяне выйдут на сцену истории и изменят ее ход. Пока же они словно замерли в ожидании. «Это народ, который еще не достиг полноты жизни» (279—XI) и которая осуществится в их святой жертве.

Будущая миссия объединит всех славян, т. е. разрешится славянский вопрос. Поэт уверен в этом, ибо всякий раз перед лицом общей опасности славяне объединялись в одном чувстве (343—X). Потому Россия не решит свои проблемы без Польши, а Польша и Россия не обойдутся без Чехии (433—XI). В будущем у них появится общая идея. Какой она будет? — спрашивает поэт и сам, тут же сомневаясь, дает ряд ответов: может быть, коммунистической, может быть, фюреристской. Каков идеал будущего? А. Мицкевич надеется, что славян, а затем и все европейские народы, объединит вера. Это их единственный идеал.

«Славяне — это сыны одной отчизны, в лоне ее зародилось несколько разных народов, притом народов, разделенных страстями и стремлениями, даже враждебно настроенных друг к другу» (7—X). Они спорят, враждуют, но никогда не забывают о своей общности; потому «без взаимного недоверия могут встретиться поляк и русский, чех-гусит и чех-католик, моравский брат и афонский монах, иллириец, пользующийся глаголицей, и серб, пишущий кириллицей, литвин и казак» (23—VIII).

А. Мицкевич свято верит в славянскую миссию еще и потому, что славяне — это молодой народ. Молодость в эпоху романтизма была положительной характеристикой не только литературных персонажей. Романтики, усматривая в историческом развитии народов детство, юность, зрелость, старость, обогащая исторический антропоморфизм сравнением мира истории с миром природы, перенося в историю этапы зарождения, созревания, увядания, на первый план всегда выдвигали юность, созревание. Они и

романтизм как направление сравнивали с юностью, которую вновь стремится прожить старый мир. Молодому народу дано многое. «Молодые народы быстро формируются, редко полностью осознавая свое бытие и его перемены» (20–VIII). Именно молодости, считает А. Мицкевич, недостает современной Европе.

Наделяя славян молодостью, А. Мицкевич также приписывает славянам древность. Он уводит их далеко в Азию, в Ассирию, колыбель всех цивилизаций, по его мнению. Поэт расселяет славян по всей Европе. В древности они, полагает он, жили не только на балтийских и германских землях, но и в современной Венеции, на севере Италии, а также в Бельгии. Поэт отыскивает славянские следы среди этрусков (поиски эти, как известно, продолжаются и сейчас). Он внимательно прислушивается к различным древним языкам, стараясь угадать в их фонетическом строе отзвуки славянской речи.

Таким образом, и молодость, и древность равно присущи славянам. Они одинаково готовят их к выполнению важной миссии — преображению истории.

Славянский автопортрет, созданный А. Мицкевичем, насквозь романтичен. Здесь четкая ориентация на будущее, в котором эпоха видела конечные цели истории. Поэт углубляется в славянскую и мировую историю и литературу, с тем чтобы «обнаружить» в них человека, который не стремится завоевывать историю, не пытается изменить ее ход, но жертвует ей самого себя, спасая тем самым человечество.

В лекциях А. Мицкевича рождается сплав научного подхода с политическим. А. Мицкевич, как бы разделяя убеждение З. Красиньского о том, что история есть самая совершенная поэма, пишет поэтическую историю славян. В его лекциях немало фантастических домыслов (которые до сих пор бытуют в науке), а также научных предвидений, оправдавших себя.

Славяне у А. Мицкевича выделяются среди других народов мощью духа — так они наделяются ведущей категорией романтизма. Жизнь духа поэт прослеживает и в мифологии, и в христианстве, в повседневной жизни и в искусстве. Славян отличает таинственный дар слова, которое по своим характеристикам тяготеет к слову евангельскому. Здесь поэт явно уловил различие между словом сакральным и светским, которое до сих пор лежит в основе дифференциации литературы славян-католиков и славян-православных.

Таков автопортрет человека-народа, который вписан в мир истории и культуры и наделен великой исторической миссией. Ро-

мантический этот автопортрет возникает в более поздних репликах, например, в трудах русских философов рубежа XIX–XX вв. Апеллируют к нему и современные политики славянских стран. Следовательно, он был нужен не только романтизму.

Примечания

- ¹ А. В. Михайлов. Из истории характера // Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990, с. 48.
- ² Там же, с. 43.
- ³ Сноски на издание: A. Mickiewicz. Dzieła. Warszawa, 1955, t. 8-9. Даются в тексте статьи в круглых скобках. Арабские цифры указывают страницы, римские — том.
- ⁴ А. Я. Гуревич. Предисловие // Человек и культура. М., 1990, с. 3.
- ⁵ М. В. Крюков, Л. С. Переломов, М. В. Софронов. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983, с. 346.
- ⁶ Л. П. Карсавин. Философия истории. Берлин, 1923, с. 97.
- ⁷ К. Чекоданова. Архаический источник судебного театра. По материалам художественной литературы // Мифологические представления в народном творчестве. М., 1993, с. 197.
- ⁸ Н. О. Лосский. Характер русского народа. Книга первая. М., 1990, с. 14.
- ⁹ А. В. Михайлов. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989, с. 39–40.

А. В. Липатов
(Москва)

Эпоха Просвещения: светские и духовные начала

Изменяющееся время и сменяющиеся в его русле идеи не только обогащают человеческий опыт, способствуя осознанию минувшего, а тем самым — углублению знаний о себе и пониманию своего предназначения. С течением времени постоянно увеличивающаяся дистанция между прошлым и настоящим также и ограничивает человеческое зрение, ослабляет его. Стремясь разглядеть далекое, человечество создает современную исследовательскую «оптику». Однако в силу своей «ограниченности» именно современностью, современными представлениями и связанными с ними потребностями эта «оптика» не столько приближает реальность, отодвинутую временем в прошлое, сколько искажает ее собственной своей зашоренностью стереотипами мышления настоящего. Это в полной мере относится и к интерпретации эпохи Просвещения. Современное ее изображение как времени торжества разума, рационалистической философии, материалистических учений и революции трудно соотнести с временем продолжающегося развития богословия, расцвета той линии философии, венцом которой были свершения немецких идеалистических мыслителей, с поистине бурным развитием находящегося в ведении Церкви образования, с литературой и литературной эстетикой, насыщенной христианской этикой. Наконец, трудно связывать эту эпоху с отрицательным отношением абсолютного большинства самих просветителей (у нас — яркий пример Н. М. Карамзина) к Французской революции, которая, извратив идеи самих французских философов — основоположников местного варианта Просвещения, тем самым скомпрометировала их, а также, доведя своей практикой их идеалистичную утопию до абсурда и кровавого террора, уничтожила очередную историческую иллюзию справедливого переустройства мира.

Искаженный образ эпохи создается в силу того, что часть составляющих ее явлений и событий воспринимается как целое. Тем самым не только ограничивается подлинная картина, теряя свою историческую полноту и панорамность, но и разбивается сама ее целостность, ибо из поля зрения ускользает внутренняя сложность — характер взаимосочетания различных явлений, образующих единую систему.

Просвещение — это исторически очередной этап осмысления исторически же изменяющейся реальности и последующее преобразование законодательства, институтов власти, администрирования и образования применительно к новой реальности. Уповая на реформы в рамках просвещенного абсолютизма, философы Просвещения, включая и авторов наиболее радикальных проектов общественного переустройства — Мабли и Морелли (представителей утопического коммунизма), были противниками революционных методов реализации своих идей. Веря в добрые начала человеческой природы и всемогущество просвещения, которое (по их мысли) откроет глаза всем людям — независимо от сословных, национальных и конфессиональных различий — просветители надеялись преобразовать общество путем его перевоспитания и убеждения. Это обусловило и характер просветительского искусства. Элита власти, в свою очередь, использовала идеи и авторитет просветительских философов, равно как и просветительское искусство в своей деятельности, направленной на модернизацию государственной системы и реализацию общественно-экономических реформ.

Параллельно в разных конфессиях возникает и внутрицерковное движение, связанное со стремлением сохранить свою роль в современности. Если речь идет о протестантизме, то позиция реформационных церквей, изначально выражающих антифеодальные устремления, совпадала с просветительскими тенденциями, взаимопереплеталась с ними и поддерживала их. Протестантами были крупнейшие мыслители английского и немецкого Просвещения, протестантами были и все художники этой эпохи в Англии и большинство в Германии. Не случайно, что среди положительных героев классического для литературы Просвещения английского романа столько пасторов. Пастро был и среди членов фиктивного клуба знаменитого журнала «Зритель» Аддисона и Стила, положившего начало современной журналистике Европы (включая и славянскую ее часть).

Если речь идет о католицизме, то здесь ориентация на сближение со светским Просвещением обрела статус официальной тенденции при папе Бенедикте XIV (понтификат: 1740–1758), который стремился привести католическое учение в соответствие с представлениями современной науки¹, устранить давнюю нетерпимость к другим вероучениям², признать и использовать умеренные течения в просветительской философии. Это получило отражение в программах католических школ, где был введен рационализм Декарта и современные естественные науки. В стенах таких школ подрастающие поколения разных народов Европы (а среди них — поляки, словаки, чехи, словенцы, хорваты) знакомились и с новой французской лите-

ратурой, включая произведения Вольтера, который посвятил Бенедикту XIV своего «Магомета». Эти школы подготавливали будущих просветителей разных народов католической части Европы. В Польше выпускник римского Collegium Nazarenum С. Конарский по образцу таких учебных заведений реформировал школы пиаристского ордена, положив здесь начало Просвещению и просветительству. Подобные по направленности тенденции, связанные (как и в случае институтов государства) со стремлением церкви идти в ногу со временем, сохраняя свою роль в изменяющемся мире, зарождаются и внутри православия. Часть православного духовенства, представляющая эти тенденции, отстаивающая их как во внутрицерковной борьбе мнений, так и в общественно-политической жизни своего народа, также выдвигает из своей Среды поборников реформ и первых представителей национального Просвещения (Феофан Прокопович и его последователи в России, Паисий Хилендарский и Софроний Врачанский в Болгарии, Д. Бранкович, А. Везилич, Й. Раич, Орфелин и Досифей Обрадович в Сербии).

В католической среде носителями просветительских тенденций среди духовенства были родоначальники, крупнейшие общественно-культурные деятели и писатели польского Просвещения — С. Конарский, Ф. Богомолец, А. Нарушевич, И. Красицкий, Г. Коллонтай, С. Станиц, Ф. Езерский и др.; Просвещения чешского — Й. Добровский, А. Я. Пухмайер и др.; словацкого Просвещения — Й. И. Байза, А. Бернолак, а несколько позже Я. Голлы и др.³; хорватского Просвещения — Ф. Грабовец, А. Качич Миошич, В. Дошен, Т. Брезовачки и др.; словенского Просвещения — М. Похлин, Ф. Дев, Ю. Янгель, Л. Фолькмер, Ф. Водник и др. Это движение, будучи отражением процесса обновления внутри католицизма, взаимопереплеталось и было неразрывно связано с Просвещением светским (более того — в конечном счете вызвано им) как в сфере философской мысли и интеллектуальной жизни Европы XVIII в., так и в самой своей культурной, общественной и социально-политической практике.

Итак, все без исключения славянские писатели эпохи Просвещения исповедовали христианство, а многие из них были священнослужителями. И это вполне естественно, более того — закономерно. Духовенство как носитель грамотности со времен Средневековья составляло значительную, а в ряде случаев и преобладающую часть интеллектуальной элиты у всех народов Европы. Во времена Просвещения именно эта среда выдвинула таких крупнейших писателей своего времени, как Свифт, Прево, Стерн, а в философии — Мабли и Морелли, чье творчество обрело общеевропейскую значимость. Вместе со своими светскими собратьями по мысли и устремлениям они состав-

ляли общеевропейскую, по словам Вольтера, «республику философов» — источник идей и художественных свершений, которые во многом предопределили интеллектуальные, общекультурные и социальные достижения эпохи Просвещения.

Значительное, а в ряде случаев и преимущественное число священнослужителей в просветительской среде характерно, как правило, для начального этапа Просвещения у тех народов, где в силу социально-исторических особенностей местного развития светская интеллигенция была малочисленна или вообще отсутствовала. Тем самым именно духовенство выступало здесь в роли зачинателя и носителя идей и культуры Просвещения.

Просветительство неразрывно связано с образованностью и обусловленным ею уровнем культуры, который предопределяет качественно иной тип мышления и психологии личности, порывающей с привычными, восходящими к Средневековью типами культуры, общего уклада жизни и обращающейся к идеалам новой, зарождающейся действительности.

Духовенство, как наиболее образованное сословие, в руках которого находилась и сама система образования, объективно и неизбежно должно было выдвинуть людей, идущих в ногу со временем, опережающих основную массу своего общества, показывающих и прокладывающих ему путь в будущее. Такие люди устремлялись по этому пути, могли в определенных случаях вступать в конфликт с собственным окружением и институтом. Именно они воспитывали новые поколения, которые затем, уже не будучи отягощенными багажом отмирающих традиций и норм и принадлежностью к определенному сословию (со всеми его предрассудками) — первые интеллигенты в современном объеме этого понятия, в новых, изменившихся условиях продолжали дело, смело начатое их учителями — носителями живой, развивающейся христианской мысли. Именно она пронизывает основные течения просветительского искусства, рационалистические и эмоциональные начала которого неотделимы от общехристианской этики.

Все это дает основания говорить о «христианском Просвещении» как составной части эпохи, имея в виду не только создателей и носителей новых идей, но и новые ориентиры, мировоззренческие принципы и саму аксиологическую основу этого движения.

«Христианское Просвещение» будучи оппозиционным по отношению к деистическим и материалистическим течениям, количественно преобладало. А в период кризиса, вызванного французской революцией, именно оно открывало перспективы на следующую эпоху — Романтизм. Его появление на волне христианского

мировосприятия и светской идеалистической философии было закономерно, ибо подготовлено именно «христианским Просвещением».

Примечания

- ¹ Это, в частности, выразилось в отмене давнего осуждения теории Коперника и его полном признании.
- ² В Риме даже стали издавать протестантского философа Вольфа — одного из родоначальников немецкого Просвещения, чьи идеи получили широкий резонанс в Европе (в том числе и среди славянских народов).
- ³ Параллельно видную роль в словацком Просвещении и национальном возрождении играли представители евангелического духовенства, которое выдвинуло таких крупных писателей, как Б. Таблиц, Я. Коллар, С. Халупка и др.

Л. Н. Пушкарев
(Москва)

Юрий Крижанич — певец славянского единства

Юрий Крижанич (около 1618–1683 гг.) — хорват по национальности, католик по вероисповеданию, просветитель по призванию, выдающийся деятель общественно-политической мысли России, — вошел в мировую историографию как славянский патриот, искавший всю жизнь пути к объединению разрозненных в то время славянских народов.

Во главе объединения Крижанич ставит русский народ, отдавая лидерство в этом процессе русскому царю. Крижанич не учитывал, что в условиях XVII в. идея объединения славян была неосуществима. Более того, она стояла в стороне от столбовой дороги развития славянских стран. Его идея была чисто умозрительной. Ведь объединение славян требовало объединения церквей и вер, что было неосуществимо и нереально. Крижанич же не понимал, не чувствовал, не осознавал этого, он пытался соединить несоединимое. Его призывы не были услышаны ни в Москве, ни в Риме.

Идея славянского единства, «славянской взаимности» существовала с самых давних времен. Уже «Повесть Временных лет» говорила о славянских племенах как о некоей единой общности. Эта идея получила особую поддержку у тех народов, которые находились под иноземным игом и стремились сплотить всех славян в одну могучую силу. Особенно к этому стремились южные славяне, издавна томившиеся под гнетом османского ига. В начале своей деятельности Крижанич тоже отдал дань идее сплочения южных славян (так называемой «иллирийской идее»), но он мыслил шире: надо объединить все славянские племена!

Ватикан вначале довольно активно поддержал «иллирийскую идею», видя в ней одно из средств распространения католицизма на Балканах при посредстве католиков-хорватов: эта идея возникла при попутном ветре из Рима! Но вскоре у Крижанича эта идея выходит из-под контроля католической церкви и становится главной, доминирующей в его творчестве.

Первым этапом на пути объединения славян стало для Крижанича создание единого «всеславянского» языка, его грамматики и

книг на этом языке, доступных всем славянам. Вторым этапом стала задача создания «всеславянской истории» и объединения всех славян в целях возрождения их для новой исторической жизни, пробуждения их достоинства и ограждения их от общения с сопредельными народами — немцами, турками и татарами. Главенство России должно проявиться в вызволении западных славян из-под политики «онемечивания». В своих трудах Крижанич пытался с помощью богословских доводов обосновать необходимость объединения всех славянских народов и наметить необходимые экономические, политические, культурные и религиозные меры, обеспечивающие практическую реализацию его идеи. Наглядным воплощением его замыслов является центральное творение Крижанича — «Политика».

С легкой руки П. А. Бессонова, открывшего Крижанича читателям, его стали считать «предтечей панславизма» XIX в. и тем самым стремились доказать извечность и неизменяемость панславизма, извечность притязаний России на другие славянские земли. Панслависты утверждали, что славянские народы во главе с Россией искони стремятся противопоставить себя другим народам. Эти идеи были подхвачены некоторыми славянофилами, выступавшими за создание славянской федеративной монархии во главе с русским царем. Русские панслависты считали, что эта политика должна привести к обрусению славянских народов, к преобладанию русского языка и гегемонии самодержавной России в славянском мире.

Идея славянского единства у Крижанича не имеет ничего общего с панславизмом. Крижанич никогда и не мыслил о русификации. Вместо главенства русского языка он предлагал создание «всеславянского языка», понятного всем славянским народам. Да, Крижанич ошибочно считал Россию прародиной всех славян, он говорил о возможной поддержке славян со стороны России в их справедливой освободительной борьбе, но он никогда не помышлял о подчинении всех славян России и не заявлял об их особых путях в историческом развитии. Он не был и не мог быть предтечей, «отцом» или «инспиратором» панславизма.

Крижанич, убежденный в автохтонности русской государственности и в изначальном ее характере, не уподоблял Россию Риму и не распространял власть русского самодержавия на славянские страны. Речь шла не о создании общеславянской державы со столицей в Москве, а о помощи славянским народам в создании собственных государств с правителями из числа своих соотечественников. Он был поборником славянской взаимности во

всех сферах жизни и, как убежденный католик, стремился, чтобы все славяне объединились в лоне одной — католической — церкви.

Апологет славянского единства, Ю. Крижанич в качестве основной задачи, стоящей перед славянами, ставил развитие в славянских народах национального и политического самосознания. Крижанич был сыном XVII в., и в его творчестве переплелись потребности его родины, претензии на мировое господство папского Рима и сложные проблемы России, вступавшей в новый период своей истории. Трагедия Крижанича в том, что его идеи и деятельность не удовлетворяли ни московское правительство, ни римскую курию. Он умер, защищая славянский мир от турецких захватчиков, и лишь спустя триста лет после его смерти имя Крижанича и его труды были достойно оценены и получили международное признание. Идея единства человечества продолжает волновать народы. Об этом так написал Велимир Хлебников:

Лети, созвездье человечье,
Все дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор!

Л. В. Горина
(Москва)

Марин Дринов и Москва

Марин Дринов был болгарским и российским историком, активным общественным деятелем. Более тридцати лет он работал профессором Харьковского университета, внес значительный вклад в развитие исторической науки России и Болгарии.

М. Дринов родился 20 октября 1838 г. в маленьком болгарском городке Панагюриште, в семье бедного многодетного ремесленника. Первоначальное образование он получил на родине. Проработав три года учителем, М. Дринов и его друг и земляк Нешо Бончев отправились по проторенной для болгарских эмигрантов дорожке в далекую Россию продолжить образование. Им помогла местная панагюрская община, предоставившая друзьям материальное обеспечение — без малого 5 тысяч грошей. Поучительный это пример: Болгария в ту пору не была свободной страной, но сохраняла желание поддерживать культуру из последних сил и средств.

Осенью 1858 г. Дринов был зачислен в Киевскую духовную семинарию. Выбор был не случаен — Дринов воспитывался в глубоко религиозной семье. Кроме того, Киев с его мягким климатом вполне подходил уроженцу южных краев. Он обучался в среднем отделении семинарии, где изучил многочисленные богословские и светские дисциплины. Семинарию М. Дринов окончил с отличными результатами весной 1861 г. Казалось бы, ничто не мешает продолжить духовное образование. Однако Дринов сам круто меняет свою судьбу, задумав получить высшее светское образование.

В дальнейшем жизнь Дринова связана с Москвой, ибо он решает поступить на историко-филологический факультет Московского университета, для чего приезжает в марте 1861 г. в древнюю российскую столицу. Поселился Дринов у своего двоюродного дяди — Тодорова Хаджи Пейова и тотчас же приступил к подготовке к вступительным экзаменам, пользуясь советами и помощью соотечественников — Константина Герова и Райко Жинзифова, которые в ту пору уже учились в Московском университете.

М. Дринов опоздал на весенний прием в университет и сдавал экзамены летом, с 8 по 16 августа. Так случилось, что вместе с ним экзамены держали будущие светила российской науки — О. М. Ключевский и Н. П. Кондаков.

Практика приема вступительных экзаменов в Московский университет той далекой поры может повергнуть в изумление сегодняшнего абитуриента и экзаменатора: экзаменов было слишком много, и следовали они один за другим вплотную, каждый день или даже дважды в день. Простой перечень экзаменов впечатляет: 8 августа Дринов писал сочинение на тему «Мое воспитание». 9-го сдавал два предмета — русскую словесность и Закон Божий, 10-го тоже два экзамена — историю и географию, а затем — математику, физику, латинский и греческий языки. Экзамены завершались немецким диктантом и устными переводами с немецкого и французского. И экзаменаторы были весьма строги. Особенно серьезные требования предъявлялись к знанию русского языка. Принимавший этот экзамен профессор Ф. И. Буслаев специально предупреждал абитуриентов, что одна орфографическая ошибка отнимает право на поступление в университет¹.

Одолев тяжелые вступительные экзамены, Дринов 1 сентября 1861 г. пришел на первую в его жизни университетскую лекцию, которую читал как раз строгий экзаменатор, профессор историко-филологического факультета Московского университета Ф. И. Буслаев. Лекция эта была посвящена истории древней русской словесности. Именно Ф. И. Буслаев стал наиболее близким первокурсникам человеком. Он приглашал всех желающих студентов пожаловать к нему в гости по пятницам от 6 до 10 час. вечера для получения советов и разного рода разъяснений, т. е. на дружескую беседу, чем студенты охотно пользовались.

Буслаева в этот первый университетский день Дринова сменил профессор богословия Н. А. Сергиевский. Занятия по латинской стилистике провел Э. Ф. Клин, затем была лекция С. В. Ешевского — профессора всеобщей истории и, наконец, К. Герца по истории искусства. В тот же день (для желающих) была прочитана лекция по латинскому языку.

Как же жилось Дринову в Москве в его первые студенческие годы? Во-первых, он не был одинок. Дружеские связи достаточно общительный Дринов завел почти сразу же, например, с Василием Осиповичем Ключевским — своим сокурсником. Особенно тесные приятельские отношения установились с обучавшимися в университете болгарскими студентами — Н. Бончевым, Р. Жизнифовым и П. Каравеловым. Но жизнь не была безоблачной. Несмотря на то, что он был освобожден от платы за обучение и получал пособие, половину которого выдавал Славянский комитет, а другую часть — граф Д. А. Толстой³, тем не менее средств на жизнь не хватало и приходилось их добывать, давая платные уроки еще на первом курсе.

Будучи второкурсником, Дринов начал слушать лекции по славянской филологии — предмету, ставшему впоследствии его профессией. Эти занятия вел профессор О. М. Бодянский. Число предметов и лекций увеличивалось. С профессорами Дринову «повезло». Лекции по русской истории читал С. М. Соловьев, по всеобщей — С. В. Ешевский. Уже говорилось о Ф. И. Буслаеве. Это был цвет московской университетской интеллигенции. Само университетское образование имело солидный фундаментальный характер. Вот как выглядело, например, расписание учебных предметов на третьем курсе факультета, где обучался Дринов: в понедельник студенты слушали лекции по греческой словесности, историю философии и славянские наречия. Во вторник — русскую историю, римскую словесность, логику и всеобщую историю. В среду изучали русскую словесность, греческую словесность, римские древности, сравнительную грамматику славянских наречий⁴.

Уже упоминалось, что Дринов давал частные уроки. Однажды он устроился репетитором в помещичьей семье. Свое житье-бытье в ту пору он с юмором описал Н. Бончеву, сообщив, что встретил устойчивый уклад жизни с обязательными в одно и то же время завтраками, обедами и ужинами, игрой в карты, жмурки и горелки, а также «непременными беседами с хозяином о политике, с хозяйкой — о чем попало, с сестрой хозяйки — о литературе и политике»⁵.

20 ноября 1865 г. Дринов окончил историко-филологический факультет Московского университета со степенью, получив звание «кандидата». И в конце того же года определился домашним учителем в семью княгини Е. М. Голицыной. Москву пришлось на время оставить, ибо княжеская семья выехала за границу на долгие пять лет.

Человека, его внутренний мир, духовную культуру формируют не только книжные знания. Необходимо знакомство — живое и активное — с культурой и жизнью других стран. Этот очевидный вывод хочется повторить, имея в виду творческий опыт Марина Дринова. Он посещает Польшу и Австрию, почти год живет в Швейцарии, более двух лет в Чехии. Важно для творческой личности не остановиться в научном росте. Это очевидно для Дринова. Будучи в Женеве, он усердно занимается в публичной библиотеке, изучает историю западноевропейских стран, составляет собственную библиотеку, совершенствуется в английском и итальянском языках. Знакомство с культурой других народов — это и личные, нередко дружеские, контакты: их Дринов охотно устанавливает.

Он часто пишет друзьям и коллегам пространные письма. Почти забытый ныне способ общения людей путем обстоятельной пере-

писки можно лишь ностальгически похвалить. Богатейшая переписка ученых особенно прошлого и начала нынешнего века — удивительный духовный мост между людьми и народами. Эти письма нередко занимали десятки страниц и за их строками встает сохраненная для нас эпоха.

Особенно быстро установились дружеские связи Дринова с чешскими учеными Ф. Палацким, Ф. Ригером, Ф. Браунером. Его другом становится А. Патера, работавший тогда в библиотеке чешского музея.

Для каждого ученого наступает время, когда накопленные знания становятся стартовой базой для написания собственных трудов. Таким стал для Дринова сентябрь 1866 г., когда он написал первую статью на тему для него чрезвычайно важную — об опасности для формирующейся болгарской нации политики высшего греческого духовенства (фанариотов) и представителей католических кругов (иезуитов)⁶. Дело в том, что еще со времен завоевания Болгарии османской Турцией болгарская церковь потеряла самостоятельность и была подчинена Константинопольской патриархии, что пагубно сказалось на духовном развитии болгарского народа. Следует сразу же сказать, что Дринова более всего интересовали проблемы духовные, их он считал наиболее важными. Главную роль в постановке и решении этих проблем он отводил интеллигенции, о чем и поведал в следующей своей статье «Письма к болгарской интеллигенции»⁷.

В 1869 г. Дринов публикует два фундаментальных научных труда — один о происхождении болгарского народа, другой по истории болгарской церкви⁸. Оба сочинения выходят в свет в Вене. Ученый был убежден в том, что создаваемые им сочинения должны иметь не только научный интерес, но и быть полезными обществу. В частности, болгарский народ должен знать свою этническую и церковную историю, посему он и писал книги на эту тему.

Дринов оказался прав — за короткое время эти его сочинения о происхождении болгарского народа и истории болгарской церкви стали широко известны в Болгарии, России и даже в Европе.

Ученый справедливо полагал, что для развития культуры необходимы соответствующие организационные структуры. Например, научно-просветительские общества. Об этом он говорил в своих статьях, этому посвящает и практические дела. Дринов так много сделал для создания болгарского просветительского общества, образованного, наконец, в Браиле (Валахия), что был избран его председателем, невзирая на то, что сам он на учредительном собрании не присутствовал. Это случилось в 1869 г. Общество

стало именоваться Болгарским научным обществом (БКД), в основу его деятельности легли многие научные идеи М. Дринова. Иначе, наверное, и быть не могло, поскольку свои идеи ученый постоянно совершенствовал и оттачивал в неустанных научных поисках, чему несомненно способствовали и его упорные поиски новых документов и источников по истории болгарского народа.

Этим поискам помогало и его пребывание в Европе, в частности в Италии, где ему удалось познакомиться с богатыми рукописными собраниями. Наверное, небезынтересно узнать, что рукописи даже в библиотеке Ватикана выдавались не позднее чем через 10–15 дней после подачи соответствующего прошения, что весьма облегчало работу.

В сентябре 1870 г. вместе с княжеской семьей Дринов вернулся в любимую им Москву, которую он оставил зимой 1865 г., будучи тогда простым выпускником Московского университета. Теперь в Москву возвратился ученый, хорошо известный в научных кругах, председатель Болгарского научного общества. И в то же время у него нет ученых степеней и званий. Коль скоро он решил остаться в России и трудиться на поприще науки, все это стало необходимостью. 32-летний Дринов принимается за подготовку к полагающемуся магистерскому экзамену с тем, чтобы защитить затем диссертацию в Московском университете. Важна тема диссертации — это история заселения Балканского полуострова славянами.

В жизни каждого настоящего ученого трудностей не мало. А их преодоление легче, если есть дружеская поддержка и помощь. Проблем у Дринова было предостаточно: он жил вдали от родины, перебивался частными уроками. Однако при этом была и дружеская поддержка. В работе над диссертацией помогал его учитель — профессор О. М. Бодянский. Он, в частности, способствовал публикации магистерского труда Дринова. А при содействии профессора Харьковского университета Н. А. Лавровского Дринов был утвержден стипендиатом Харьковского университета «с целью приготовления к профессорскому званию»⁹, как говорили в ту пору.

Дринов защитил свой магистерский труд, посвященный заселению Балканского полуострова славянами, в мае 1873 г. на заседании Ученого совета Московского университета и получил после защиты ученую степень магистра славянской словесности. Теперь можно было переезжать в Харьков.

В судьбе Дринова появился еще один город, в нем ему было суждено прожить и проработать всю жизнь. Значило ли это, что Харьков затмил или оттеснил Москву на второй план? Вовсе нет.

Москва продолжала занимать в его сердце свое, очень важное место, равно как и Московский университет.

В начале 1874 г. Дринов снова в Москве, в доме Голицыных, в ожидании разрешения из Петербурга на длительную заграничную поездку. Весь май, июнь и июль 1874 г. ученый проводит в Москве. Дринов чрезвычайно занят: он пишет на сей раз докторскую диссертацию на тему «Южные славяне и Византия в X в.». В мае 1875 г. он вновь в Москве, где завершает написание текста докторской. И эта работа появляется на страницах московских «Чтений».

23 марта 1876 г. Дринов на заседании Совета Московского университета защищает докторскую диссертацию. И опять в стенах Московского университета разворачивается блестящий диспут-экспромт, решительно отличающийся от принятого нынче порядка защиты диссертаций, с его обязательным и скучным ритуалом подачи письменных отзывов на представленное сочинение задолго до его защиты. А в те далекие от нас годы на защитах имела место действительная борьба мнений. «Пятеро боролись со мной, но не могли одолеть»¹⁰, — писал Дринов в одном из своих писем Н. Бончеву. Эти пятеро были: А. Л. Дювернуа — лингвист и специалист в области славянской культуры, А. М. Иванцов-Платонов — доктор богословия и профессор кафедры церковной истории Московского университета, Иловайский — историк и публицист и, наконец, профессор канонического права Павлов. Дринов произнес блестящую защитительную речь, заявив высокому собранию: «Дорожа научной правдой более всего, я с тем большей благодарностью выслушаю ваши справедливые замечания, хотя бы они были не слишком лестными для меня»¹¹.

Значила ли докторская защита Дронова, что он прощался с Москвой? Вовсе нет. Хотя, конечно, связь со старой столицей видоизменилась, ведь Дринов стал жителем Харькова, привык к нему, в известной степени полюбил. Как правило, завершая свои преподавательские дела в Харьковском университете, он дважды в году — зимой и летом — приезжал в Москву. С какой целью? Во-первых, по делам научным, для участия в научных собраниях, конференциях, для работы в библиотеках и архивах. По делам общественным: председатель Болгарского научного общества Дринов многие вопросы руководства решал в Москве. Здесь же он встречался с земляками, только что приехавшими из Болгарии или постоянно живущими в России. Одна из таких весьма важных встреч состоялась у Дронова зимой в 1876 г. с прибывшими в Москву участниками Апрельского восстания в Болгарии.

Весной 1877 г. Дринов приехал в Москву по очень важному поводу. 11 (24) мая этого года в день св. Кирилла и Мефодия он обвенчался в

университетской церкви св. Татьяны с Маргаритой Ивановной Вильямс.

В Москве Дринов дружил не только с земляками — Н. Бончевым, Р. Жинзифовым, П. Каравеловым, но и с деятелями пореформенного славянофильства, в частности, с И. С. Аксаковым. Их связывали деловые отношения, общие заботы об учащейся в России болгарской молодежи, контактах между Московским славянским комитетом и БКД. Между Дриновым и Аксаковым была известная духовная близость. В 1886 г. Дринов даже опубликовал статью-воспоминание, в которой весьма уважительно отозвался о деятельности патриарха славянофильства С. Т. Аксакова, а также А. С. Хомякова и братьев Киреевских. Дринов назвал их «московскими патриотами»¹², которые рано обратили внимание на судьбу и положение болгарского народа. Дринов подчеркивал, что М. П. Погодин и С. Т. Аксаков оказали большую помощь Юрию Венелину в его научных занятиях болгарской историей. Московский славянский комитет, по мнению Дринова, «развивал в русском народе славянские идеи и симпатии, собирал материальную помощь для поддержания народных дел славянских племен, особенно болгар»¹³.

О самом И. С. Аксакове Дринов отзывался с большой теплотой, считал, что для болгарского народа он сделал «много доброго» и даже «вывел славянофильство вообще и особенно болгаролюбие из узкого Московского славянофильского круга и разлил по всей широкой русской земле, по всем пластам русского народа»¹⁴. Дринов подробно описывал знаменитые аксаковские вечера, которые посещали живущие в Москве болгары. Вечера, где обсуждались «различные русские и славянские вопросы». Дринов полагал, что заслути Аксакова в деле политического возрождения болгар еще более значительны, чем в деле духовного. Ведь «Аксаков развил широкую деятельность во время Русско-турецкой войны с тем, чтобы война завершилась освобождением всех болгарских земель, а не только освобождением Придунайской Болгарии». Дринов напоминал, что именно Аксаков подал мысль о народном болгарском ополчении, нашел для него необходимые материальные средства и даже принял участие в разработке формы одежды для болгарских ополченческих дружин. Дринов очень высоко ценил выступление Аксакова против решений Берлинского конгресса, в частности его знаменитую речь на собрании Московского славянского комитета, «после которой русское правительство вынуждено было разогнать это общество, а его опасного председателя удалить из Москвы на несколько месяцев»¹⁵.

Именно из Москвы Дринов нередко посылал письма своему чешскому другу Адольфу Патере.

Прибыв в Москву 28 сентября 1870 г., Дринов уже на следующий день написал большое письмо в Прагу, в котором подробно сообщал о своем путешествии по Балканскому полуострову, о посещении Сербии, Валахии, о трудностях в работе едва возникшего Болгарского научного общества. Дринов писал также о посещении им Одессы и встрече с русским славистом В. И. Григоровичем. В письмах из Москвы он всякий раз старается сообщить А. Патере свои московские адреса: в сентябре 1879 г. он живет «по Тверской, д. Дашкевича»¹⁶, а в октябре — «на Пречистенке, д. Аладыной»¹⁷. Из московского письма от 18 октября 1870 г. узнаем, что М. Дринов часто общается с Ф. И. Буслаевым, лекции которого по древней русской словесности он слушал, будучи студентом Московского университета.

М. Дринов непременно старается уведомить пражского друга о переменах в своем житье-бытье, о новых научных планах. «Я, Pape Pateto, решил держать магистерский экзамен; подал уже прошение, и вот жду со дня на день, что меня позовут»¹⁸, — писал он в Прагу, собравшись защищать магистерскую диссертацию. В другом письме сообщалось о начавшихся переговорах с Харьковским университетом относительно возможностей работы там. «Я пишу о колонизации Балканского полуострова славянами, если есть у Вас какие-нибудь новости по этому предмету, привезите»¹⁹, — просил он, ожидая приезда А. Патеры в Москву.

В судьбе Дринова велика роль московской профессуры, о которой отчасти уже говорилось. Возьмем, к примеру, одного из учителей Дринова — Осипа Максимовича Бодянского. В 1842 г. Бодянский был профессором кафедры истории и литературы славянских наречий Московского университета. В 1845 г. он становится секретарем Общества истории и древностей российских при Московском университете и редактором его периодического издания — «Чтений». Свою докторскую диссертацию Бодянский посвятил «величайшей» теме. Он защищал труд о времени происхождения славянских письмен. Это было в 1855 г. Своим студентам, в числе которых был и Дринов, он читал славистические лекции, в том числе по языку, литературе и истории зарубежных славян. Весьма интересным источником, позволяющим представить отношения Дринова и Бодянского, является их переписка.

Первое письмо, отправленное Дриновым Бодянскому, датировано 11 сентября 1872 г.²⁰ В тот год была ранняя, холодная осень. Дринов как домашний учитель детей Голицыных проживает с ними в Орловской губернии и пытается закончить кандидатскую диссертацию. Письмо Бодянскому отправлено со станции Алек-

сандровка Московско-Курской железной дороги. Чуть раньше Дринов отправил письмо своему другу Н. Бончеву.

«В селе как в темнице — не доходят никакие новости ниоткуда. Работаю, но работа не спорится, потому что нет при себе библиотеки... в комнате не более 5–7 градусов»²¹. В письме, посланном из Александровки О. М. Бодянскому, другие мотивы. Но в целом по письму можно судить, что учитель и ученик достаточно близки, коль скоро Дринов просит Бодянского переслать ему в деревню причитающиеся ему от Харьковского университета деньги для напечатания диссертации, а также осмеливается отдать Бодянскому «первые две главы не совсем в исправном виде», так что «при печатании их Вам, вероятно, придется нередко наводить справки для проверки цитат, исправлять слог, чистить иностранные слова и пр., что вместе с корректурой будет Вам стоить много труда и времени». Письмо завершает искренняя подпись Дринова — «Свидетельствую Вам мое глубокое уважение и душевную благодарность, с которыми остаюсь Вашим покорнейшим учеником»²².

Прошло три года. Дринов уже магистр славянской филологии, завершает работу над докторской диссертацией. Бодянскому в Москву он пишет из Праги, куда прибыл после двухмесячного путешествия по Балканам. Текст новой диссертации он намерен снова опубликовать в «Чтениях», редактируемых Бодянским. О проблемах, встающих в связи с этой публикацией, он говорит в письме. Сообщает о своих впечатлениях от путешествия по Балканам. Дата защиты докторской приближалась. Дринов, находящийся в Праге, отправляет письма своему университетскому учителю. И очень аккуратно, не задерживаясь с ответом, пишет своему ученику московский профессор, стараясь помочь Дринову накануне защиты своими советами, вплоть до таких, когда нужно вернуться в Россию из Праги.

И опять-таки современного читателя может удивить то обстоятельство, что рукопись авторского сочинения, в данном случае текст докторской диссертации, можно было сдать в издательство в неоконченном виде. Рукопись работы Дринова была сдана без вступления и заключения. Будучи в Чехии, Дринов эти недостающие части своей работы дописал и переслал Бодянскому, уведомив своего профессора соответствующим письмом. «Дня четыре тому назад, — писал Дринов, — отправил Вам в застрахованном конверте конец моей статьи „Южные славяне и Византия в X в.“ и предисловие к ней. Покорнейше прошу сделать в предисловии, если только оно не будет напечатано ко времени прибытия к Вам сего письма, следующую небольшую поправку: первые два предложения, до

первой точки выкинуть совсем... а в следующем за ними периоде вместо слов „истории того времени“ поставить — „истории Х в.“. Для явней ясности. Прилагаю при сем начало предисловия в исправленном таким образом виде»²³. Столь важное послание Дринова было получено профессором Бодянским вовремя: почта в тудалекую от нас пору работала не в пример лучше современной — письмо, отправленное из Праги, пришло в Москву дня через четыре.

Важно отметить, что рукописи обеих диссертаций Дринова сейчас сохраняются в Москве, в архиве Общества истории и древностей российских при Московском университете.

Абсолютно справедливо заключение болгарского ученого Л. Минковой о том, что «Бодянский проявлял особенную заботу о своих учениках из поработанных славянских стран. В тесной связи с ним были все болгары, обучавшиеся на историко-филологическом факультете Московского университета в 40–60-е годы прошлого века: Николай Катранов, Любен Каравелов, Райко Жинзифов и др. В его архиве содержатся письма к нему от Савы Филаретова, Захария Княжеского, Ивана Шопова, Спиридона и Николая Палаузовых и др.... Болгары, учившиеся у Бодянского, любят и уважают своего профессора, часто обращаются к нему за помощью и советом. И после завершения университета они находят поддержку в своих научных занятиях, как стало, например, с Любеном Каравеловым и Марином Дриновым»²⁴.

Еще один московский профессор, с которым судьба связала Дринова, Нил Александрович Попов, — специалист в области русской и славянской истории. С ним Дринов часто переписывался по делам общественным, в частности по делам работы Болгарского научного общества, и по личным делам также. Судя по всему, приезжая в Москву, Дринов непременно виделся с Н. А. Поповым. В одном из писем Дринова к Н. А. Попову сообщается, что они обмениваются книгами. «Спешу возвратить Вам историю Палацкого, остальные Ваши книги возвращу по приезде в Москву», — сообщает Дринов в письме от 5 сентября 1872 г.²⁵. Нил Попов являлся секретарем Московского славянского благотворительного комитета, стипендиатом которого во времена студенчества был Дринов. Именно к Дринову и обратился Попов, предложив ему учредить особое отделение Комитета в Харькове.

Жизнь Дринова-историка и общественного деятеля сложилась далеко не просто. Когда весной 1877 г. началась война России против Турции и не за горами было освобождение Болгарии от многовекового османского гнета, Дринов стал сотрудником Русской гражданской канцелярии в Болгарии, возглавляемой кн. В. А. Черкасским.

Форсировав Дунай, русские войска начали освобождение Болгарии в июне 1877 г. Немногим позже там появилась русская гражданская канцелярия и М. Дринов. В конце июля 1877 г. он прибыл в Свиштов, первый болгарский город, освобожденный русскими войсками, а затем направился в Тырново — средневековую столицу болгарских царей. Занялся он там важнейшим делом — осмотром и регистрацией уцелевших памятников средневековой болгарской культуры. После освобождения Софии русскими войсками зимой 1877 г. Дринов был назначен вице-губернатором Софийской области. Еще до войны он выдвигал идею сделать Софию столицей освобожденной Болгарии. Идея эта затем воплотилась в жизнь.

В мае 1878 г. Дринов получил новую должность — он возглавил Отдел народного просвещения и духовных дел, т. е. в сущности стал первым министром культуры Болгарии, занимаясь одновременно множеством дел, прямо к культуре не относящихся. Он участвует в организации системы власти в только что освобожденной стране, организует сбор средств для помощи раненым и беженцам. Главной для него стала работа по налаживанию системы народного образования и упорядочению духовных дел в Болгарии. Более подходящую кандидатуру на пост министра культуры Болгарии вряд ли можно было в ту пору отыскать: У Дринова для этого было все необходимое — знания, понимание проблем, умение их решать. Так, еще до освобождения Болгарии он страстно отстаивал право болгарского народа на самостоятельную церковь. И поэтому, когда решениями Берлинского конгресса, завершавшими войну, единая болгарская народность и церковь были разделены, Дринов специально занимался решением этого сложного вопроса. С помощью и участием Дринова в Болгарии восстанавливались разоренные храмы, открывались духовные училища, греческое богослужение было повсеместно заменено на болгарское. Одной из его главных забот стали народные училища, составление учебных программ, вся складывающаяся система обучения. В Болгарии впервые открылись гимназии, а также педагогические курсы для учителей. Дринов содействовал открытию в Софии публичной библиотеки. Можно и далее продолжать перечень этих бесконечных важнейших дел. Например, Дринову довелось выполнять многие задачи в связи с подготовкой и принятием первой болгарской конституции, он редактировал ряд статей ее проекта. Весь огромный свод законов (русский проект Конституции) был переведен на болгарский язык специальной комиссией под руководством Дринова. Все шло к тому, что Дринов должен был и далее трудиться министром культуры на ро-

дине, уже свободной от иноземного ига, или занять еще более важный пост, каковой ему и был впоследствии предложен. Однако...

В августе 1879 г. Дринов вернулся в Харьков и более его не покидал до конца своих дней. Почему? Собственно говоря, Дринов мог не только продолжать важную административную деятельность в Болгарии, но и заняться там научной работой. Правда, он не мог тогда, в конце 70-х годов, стать университетским преподавателем по той простой причине, что высшей школы в Болгарии еще не было, она была создана лишь спустя десять лет. Он мог, естественно, перевезти на родину свою семью — жену и детей, тем более что его многочисленная семья проживала в Панагюриште. Мог, но ничего этого не сделал, предпочтя Россию, Харьковский университет и оставив исследователям своей жизни решать вопрос, почему он на родину не вернулся. Поскольку внятного ответа самого Дринова на сей вопрос нет, то оставим его открытым, подчеркнув, что Россию он предпочел Болгарии, а точнее — не предпочел, а соединил своей жизнью и творчеством две древние славянские культуры — болгарскую и русскую, считая служение им обоим главным делом своей жизни и доказав своим творчеством, что культуру делить не стоит — от объединения, а не разделения она становится богаче, о чем нам не стоит забывать.

Дринов работал профессором Харьковского университета вплоть до своей кончины в феврале 1906 г. А Москву он не забывал никогда. Москву он просто любил, о чем красноречиво свидетельствуют следующие строчки письма Дринова: «Я прыгаю как сумасшедший от радости, когда мне подадут письмо из Москвы — Москва, Москва, милая моя, мне очень нравится московская братия и жизнь»²⁶.

Примечания

- ¹ В. О. Ключевский. Письма, дневники, афоризмы и мысли об истории. М., 1968, с. 26.
- ² Первые дни в университете (Отрывки из воспоминаний А. И. Кирпичникова) // Воспоминания студенческой жизни. М., 1899, с. 36.
- ³ Н. А. Попов. Из истории благотворительного комитета в Москве. М., 1872, с. 216.
- ⁴ ЦГИАМ, ф. 418, оп. 32, ед. хр. 260, л. 2.
- ⁵ БИА, ф. 111, ед. хр. 2, л. 23–24.
- ⁶ М. Дринов. Страшни ли за народността ни фонариотите и йезуитите // Съч. на М. С. Дринова, т. 3.

- ⁷ М. Дринов. Поглед върху произхождането на българския народ и началото на българския история. Вена, 1869.
- ⁸ Исторически преглед на българската църква от самото ѝ начало и до днес. Вена, 1869.
- ⁹ БИА, ф. 111, ед. хр. 166, л. 5.
- ¹⁰ БИВ, ф. 111, ед. хр. 2, л. 178.
- ¹¹ Там же, ед. хр. 13, л. 191–192.
- ¹² М. Дринов. Спомен за Ивана Сергеевича Аксакова // Съч. на М. С. Дринова. Т. 3, с. 479.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ Там же, с. 483.
- ¹⁵ Там же, с. 487.
- ¹⁶ Literární Archiv Památníki Pisemniství (ZANP). Pozostalost: A. Patera.
- ¹⁷ Там же.
- ¹⁸ Тем же.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Л. Минкова. Писма на М. Дринов до О. М. Бодянски и Н. А. Попов, съхранявани в архивите на СССР // Известия на народната библиотека «Кирил и Методий», 1971, т. 12–18, с. 291.
- ²¹ БИВ, ф. 111, ед. хр. 2, л. 127–128.
- ²² Л. Минкова. Писма на М. Дринов..., с. 291.
- ²³ Там же, с. 293–294.
- ²⁴ Там же, с. 288.
- ²⁵ Там же, с. 296.
- ²⁶ БИА, ф. 111, ед. хр. 2, л. 49.

М. Г. Смольянинова
(Москва)

Любен Каравелов в Москве

Специфическая особенность становления национальной культуры Болгарии в эпоху Возрождения — создание эмигрантских центров развития болгарской литературы. Поскольку в Османской империи власти часто запрещали вести культурно-просветительную работу, издавать литературные произведения (разумеется, если они не отличались туркофильской направленностью), возник ряд центров культурного развития за пределами Болгарии, где болгарские эмигранты вели активную борьбу за освобождение родины и просвещение нации. Литература эмигрантов зачастую оказывалась более выразительной, чем зажатое в тиски цензуры, во многом закрытое для передовых веяний литературное творчество внутри страны. Эти произведения нередко являлись авангардом болгарского литературного процесса, определяя направление его развития.

Москва внесла в национально-культурное возрождение болгарского народа немалую лепту. Именно здесь молодой историк Ю.И. Венелин в конце 20-х гг. прошлого столетия открыл для ученого мира, общественности России и Европы болгар — славянский народ, предки которого внесли большой вклад в древнюю общеславянскую культуру, народ, историческими превратностями судьбы ввергнутый в многовековое забвение. Ю.И. Венелин призвал россиян оказать помощь единоверным братьям-болгарам в их возрождении. «Пусть иностранцы, по неведению ли или по нерадению, мало о них заботятся, но тем непростительнее нам забыть болгар, из рук коих мы получили крещение, которые нас научили писать, читать, на коих природном языке совершается наше богослужение, на коих языке, большею частью, писали мы почти до времен Ломоносова», — отмечал Ю.И. Венелин в своем знаменитом труде «Древние и нынешние болгары...»¹. Труд этот сыграл значительную роль в подъеме национального самосознания болгар и развитии их национальной культуры. Благодарные болгары на могиле рано умершего Ю.И. Венелина (он похоронен на кладбище в Даниловом монастыре в Москве) воздвигли беломраморный памятник, на котором было начертано: «Напомнил свету о забытом, но некогда славном, могущественном племени болгар, и пламенно желал видеть его возрождение».

Москва с ее Университетом стала крупным центром, куда, начиная с 40-х гг. XIX в. молодые болгары стекались для получения образования. «О, если бы несколько болгар могли образоваться в Московском университете!» — восклицал в 1842 г. Георгий Бусилин, первый болгарин, поступивший в университет. С тех пор до освобождения Болгарии в 1878 г. это учебное заведение служило источником знаний для многих болгар, стремившихся к образованию и жаждавших деятельности на благо родного народа. Многие болгарские питомцы университета стали крупными писателями и критиками, учителями и учеными, общественными, культурными и политическими деятелями, составившими значительную часть формировавшейся национальной интеллигенции, внесшими большой вклад в развитие науки, культуры, литературы, эстетики, педагогики. Среди них — Нешо Бончев, Марин Дринов, Райко Жинзифов, Любен Каравелов, Константин Миладинов, Никола Михайловский, Васил Попович, Илларион Стоянов, Савва Филаретов и многие другие. В Московском университете учился болгарский поэт Никола Катранов — прототип Инсарова в романе И. С. Тургенева «Накануне». В 40–70-е гг. прошлого века в Москве училось более 100 (а всего в России — более 700) болгар, которые, как правило, получали материальную поддержку со стороны русских государственных учреждений и общественных организаций.

Москва в середине XIX в. была одним из центров болгарского книгопечатания в России. Здесь были опубликованы на болгарском языке книги Георгия Бусилина, Константина Миладинова, Райко Жинзифова, Захария Княжеского и др. Здесь же в начале 60-х гг. группой болгарских студентов издавался журнал «Братский труд», в четырех номерах которого были опубликованы сочинения, статьи и переводы Любена Каравелова, Райко Жинзифова, Василя Поповича, Нешо Бончева и др. В Москве же увидели свет и несколько книг болгарских авторов на русском языке, в частности, исторические труды Марина Дринова — «Заселение Балканского полуострова славянами» (1873) и «Южные славяне и Византия в X веке» (1876) и др.

Многие болгары, продолжавшие после завершения учебы жить в Москве, сотрудничали в русских (московских, петербургских и др.) газетах и журналах. Они были тесно связаны с представителями московской профессуры (М. П. Погодиным, О. М. Бодянским, С. П. Шевыревым и др.), славянофильства и других общественно-политических течений.

В Москве увидели свет и многие труды русских ученых, посвященные истории и культуре возрождавшегося болгарского на-

рода. Кроме уже упомянутого труда Ю. И. Венелина «Древние и нынешние болгаре...», здесь была опубликована его книга «О зародыше новой болгарской литературы» (1838), а также известный труд А. Д. Черткова «О переводе Манасиной летописи на словенский язык по двум спискам: Ватиканскому и Патриаршей библиотеки, с очерком истории болгар» (1842), книга «Болгарские песни из сборника Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар» П. А. Бессонова (1855) и др. Москва с ее общественными и частными библиотеками в XIX в. стала в России одним из важнейших центров собирания и хранения болгарских рукописей и печатных книг — ценнейшего культурного наследия болгарского народа.

Большую помощь болгарам, стремившимся получить образование, оказывали славянофилы. В 1858 г. в Москве был создан Московский славянский комитет, работавший вплоть до 1878 г. Славянофилы поддерживали молодых болгар, оказывая им материальную помощь, помогая советами, изданием их трудов. Иван Аксаков периодически публиковал произведения В. Поповича, Р. Жинзифова в журнале «Русская беседа», в газете «День». Болгары жадно впитывали не только идеи славянофилов, но и мысли революционных демократов — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева. Сплав этих веяний захватывал болгар, содействовал утончению их сознания, выработке собственных позиций. И потому из московских воспитанников выросли в высшей степени богатые в интеллектуальном и творческом плане деятели болгарской науки и культуры. Они сыграли выдающуюся роль в формировании болгарской культуры как в эпоху Возрождения, так и в период после Освобождения Болгарии.

В Москве зарождалась новая болгарская литература: Нешо Бончев здесь сформировался как первый профессиональный литературный критик, Райко Жинзифов — как публицист и поэт, Любен Каравелов — как талантливый беллетрист.

Одна из интереснейших особенностей литературы болгарского Возрождения — полилингвизм ряда писателей. Это явление исторически объяснимо: болгарская молодежь обучалась в России и Греции, во Франции и Англии, в Сербии и Румынии и в других странах, поэтому некоторые писатели создавали произведения на двух-трех и более языках. Таким был Петр Берон, издававший свои труды на болгарском, французском, немецком, греческом и латинском языках. Никола Пиколо писал стихи на греческом (сборники «Занятия любителя муз», 1838 г. и «Утехи», 1839 г.) и французском языках, владея также русским, английским, румынским, латинским, итальянским, немецким языками. Стихотворец

Георгий Пешков сочинял на болгарском, румынском и греческом языках. Дмитрий Великсин (1840–1896) творил на болгарском, французском и румынском языках. Он был студентом Сорбонны и одновременно посещал курсы французской литературы в Коллеж де Франс, и его произведение «Раны Болгарии» («Les plaies de la Bulgarie», Galaz, 1867), повествующее о рабской участи болгарского народа, и поэма «Лебединая песня болгарского изгнанника» («Le chant de cygne d'un exilé Bulgare»), посвященная Г. Раковскому, написаны на французском языке. Григор Пырличев писал на болгарском и греческом языках. Парадокс болгарского литературного развития состоял в том, что этот талантливый художник создал на греческом языке поэтические шедевры — «Воевода» (1860) и «Скандербек» (1861), тогда как его стихотворения, написанные на родном языке, не стали крупным литературным явлением (язык их был искусственным, архаизированным). Пырличев обучался в Афинах. Здесь его поэма «Арматолос» («Воевода»), написанная на греческом языке, завоевала в 1860 г. первую награду на ежегодном поэтическом конкурсе, а сам поэт был увенчан лавровым венком. Греки по достоинству оценили редкий дар Пырличева и, назвав его «вторым Гомером», предложили ему королевскую стипендию для продолжения образования в Оксфорде или Берлине. Однако поэт отказался от нее и предпочел вернуться в Болгарию. Воспитанный на лучших образцах греческой литературы, испытавший на себе ее сильное влияние, поэт по возвращении на родину начинает бороться с засилием греческого языка в училищах и церквях. Диалектика развития литературных связей в Болгарии вела от сильного увлечения греческой культурой к отталкиванию от эллинизации болгар, к борьбе с грекоманией.

Во второй половине XIX в. все больше молодых болгар едет учиться в Россию. Некоторые из них, обратившись к литературному труду, писали по-русски. Так, рассказ Василя Поповича «Поездка в виноградник», повествующий о страданиях болгарского народа под османским игом, написан на русском языке и опубликован в журнале «Русская беседа» в 1859 г. Обучавшийся в России В. Друмев также писал рассказы на русском языке: «Из одесской жизни», «Из жизни болгар в Киеве», «Из жизни студентов в России» (1865–1869). Разумеется, написанию произведений на чужом языке предшествовало углубленное изучение литературы данной страны, что, как правило, отражалось в создаваемых сочинениях. В незавершенном рассказе «Из жизни студентов в России», носящем очерковый характер, автор размышляет о горькой судьбе «маленького» человека, о социальной несправедливости, царящей

в обществе. Отзвуки «Шинели» Гоголя, «Бедных людей» Достоевского, воздействие «натуральной школы» весьма ощутимы в этом рассказе, анализирующем русскую действительность.

Десять лет прожил в Москве Л. Каравелов (1857–1866). Эти годы сыграли важную роль в формировании его мировоззрения, в пробуждении интереса к литературе. Серьезное знакомство с русской художественной литературой и эстетической мыслью, несомненно, отразились на идейно-творческих позициях болгарского писателя.

В 1858 г. Каравелов стал вольнослушателем историко-филологического факультета Московского университета. Вплоть до 1864 г. он посещал университетские лекции (в частности, лекции О. М. Бодянского по «славянским наречиям», С. М. Соловьева по русской истории, С. В. Ешевского по всеобщей истории), в течение пяти лет получая стипендию члена Славянского благотворительного комитета В. А. Кокорева. Каравелов сблизился со славянофилами и учеными-славистами М. П. Погодиным, В. И. Ламанским, А. И. Афанасьевым, Н. А. Поповым и др. В то же время он посещал запрещенные революционные кружки, за что подвергался обыску и полицейскому надзору. Юноша зачитывался произведениями Гоголя, Достоевского, Шевченко, Вовчок, Чернышевского, Писарева, Белинского.

Первые стихи, переводы, критические статьи Каравелова были напечатаны в 1860 г. в журнале «Братски труд» — органе Московской болгарской дружины, объединявшей группу молодых соотечественников, обучавшихся в Москве. В 1861 г. опубликован его сборник «Памятники народного быта болгар», в котором представлены национальные сказки, пословицы, поговорки, описаны народные обряды, поверья, обычаи. В работе над этой книгой Каравелову помогал русский этнограф, публицист, историк, участник революционного движения Иван Прыжов. Подготовка и опубликование «Памятников...» — это в какой-то степени и заслуга Ю. Венелина, призвавшего болгарскую интеллигенцию собирать национальный фольклор.

Повести и рассказы Каравелов писал на русском языке. Единственное беллетристическое произведение, написанное им в Москве по-болгарски, — это рассказ «Божко» (1858). Однако при жизни писателя этот рассказ не был опубликован на болгарском языке. Каравелов опубликовал его в «Русских ведомостях» в 1866 г.

Следующее свое сочинение Каравелов пишет уже на русском языке — «Рассказ няни (из русской жизни)». Это произведение, написанное, видимо, в 1859 г. — первая попытка молодого болгарского писателя обратиться к русскому читателю.

рина мыслить и писать по-русски, попытка еще весьма неуверенная. Билингвизм Каравелова в этот период следует определить как продуктивный субординативный, ибо в произведении, написанном на русском языке, встречаются ошибки, нарушение закономерностей языковой системы. На его рукописи есть правка, сделанная Иваном Прыжовым. Каравелов сам чувствовал несовершенство своего произведения и никогда не публиковал его при жизни ни на русском, ни на болгарском языке. Впервые рассказ был опубликован лишь в 1964 г.²

Начиная с 1860 г. и до конца жизни Каравелов писал беллетристику по-русски, блестяще овладев языком за сравнительно короткое время. В 1860 г. в газете «Наше время» опубликован на русском языке его рассказ «„Атаман“. (Из болгарских нравов)». Лишь через десять лет он был переведен писателем на болгарский язык и под заглавием «Воевода» напечатан в издававшейся им газете «Свобода». Затем в русской периодической печати появляются повести и рассказы Каравелова «Неда» («Русский вестник», 1861 г.), «Бедное семейство» («Русские ведомости», 1862 г.), «Дончо», «На чужой могиле без слез плачут», «Турецкий паша» («Санкт-Петербургские ведомости» — 1864, 1866, 1866 гг.). В 1867 г. на страницах «Отечественных записок» увидело свет лучшее произведение болгарской возрожденческой беллетристики — повесть Л. Каравелова «Болгары старого времени». Затем все его повести и рассказы, опубликованные в русской периодике, были объединены в сборник «Страницы из книги страданий болгарского племени» (М., 1868 г.). В предисловии к этой книге Л. Каравелов написал: «Эти слабые очерки быта несчастной моей родины писаны мною на Руси, и теперь я братски посвящаю их тем русским людям, сердцу которых близко великое дело славянской свободы»³. В прозе болгарского писателя ощутимо влияние русской и украинской литературы (прежде всего произведений Н. В. Гоголя, Н. Г. Чернышевского, М. Вовчок)⁴.

Исследуя особенности художественного стиля произведений, опубликованных Каравеловым в Москве, можно заметить воздействие родного (болгарского) языка на иностранный (русский). Речь, порождаемая билингвом, обнаруживает элементы двух языковых систем, которыми владеет автор. Например, описывая костюм болгарского пастуха в повести «Турецкий паша», писатель обильно начинил русский текст болгарской лексикой. Введение в повествование болгарских слов придает ему особый колорит: «Пастух, одетый в белые узкие брюки, в кожух со складками назад, разукрашенный разноцветными сафьяновыми лоскутками, в

кожаные лапти, белые онучки, обернутые черными ремнями вплоть до самых колен, опоясанный красным поясом, на котором привязаны на цепочках ножик, огниво, *кисия* из кожи с табаком и пара ложек в футляре, красиво сплетенном; *чанта*, надетая через плечо, висит у него на левом боку, и в ней хранится все его хозяйство; за поясом — пистолет, а на плече *гега* (посох) и на голове черная баранья шапка. Вот весь костюм болгарского *шопа* пастуха... На огне варилась пища пастухов, *триеница* (похлебка из муки)»⁵. Как видим, в этом небольшом отрывке русский читатель сталкивался с болгарскими словами: *кисия*, *чанта*, *гега*, *шоп*, *триеница*. Болгарские слова писатель-биллингвист выделяет курсивом. Некоторые слова Каравелов поясняет: *гега*, *триеница*, другие же (*чанта*) — в тех случаях, когда назначение предмета ясно русскому читателю из контекста — писатель дает без пояснений.

Анализ произведений Любена Каравелова, опубликованных в Москве, позволяет сделать вывод, что у автора-биллингва болгарский язык сопрягается с русским, как бы накладывается на него. Каравелов комбинирует элементы двух языковых систем на лексическом, семантическом и синтаксическом уровнях, привлекая элементы родного языка во фразеологию, синтаксис и лексику иностранного. Этот стилистический прием он использует в соответствии с существующими в русском языке тенденциями фразеологического и лексического творчества, а также синтаксического словорасположения. В результате такой контаминации русский язык Каравелова не только обладает специфической образностью, сочностью, экспрессией, но и соответствует языковой норме русского языка. Начиная с 1860 г. биллингвизм писателя можно считать продуктивным, ибо произведения биллингва, принадлежащие вторичной языковой системе, построены в соответствии с ее законами.

В автопереводах, в болгарских редакциях рассказов и повестей, созданных писателем в Москве (нередко значительно расширенных, переработанных), основой языка является речь болгарского народа. Стихия народной речи сочетается со стихией книжной словесной культуры. В то же время в них чувствуется глубокое, разностороннее воздействие русского языка. В болгарской народной речи отрицание обычно стоит только при сказуемом и уже через него соотносится с другими частями речи (например «не искаме думи, а дела»). Каравелов же под воздействием русского языка довольно часто ставит отрицание непосредственно перед тем словом, которое логически отрицается («искаме не думи, а дела»). Такая практика обогатила синтаксис болгарского литератур-

ного языка. Влияние русского языка испытывает не только Любен Каравелов, но и другие писатели того времени. Но, безусловно, в произведениях Каравелова воздействие русского языка наиболее ощутимо. Подобное явление носит диалектический характер. Порой оно благотворно, однако в некоторых случаях Л. Каравелов злоупотреблял русизмами. Видимо, слишком глубокие следы вторичная языковая система оставила в его сознании. Например, он употребляет предлог *из* вместо *от* («той и из водата правил вино»), предлог *после* вместо *след*: *после това* — вместо *след това*. В его сочинениях можно встретить русские формы причастий и отглагольных прилагательных (*убежден* — вместо *убеден*, *просвещена* — вместо *просветена*). В своем дальнейшем развитии литературный язык впитал из этих заимствований то, что было органично для системы болгарского языка, и отбросил то, что было ему чуждо. Билингвизм Каравелова был прогрессивным явлением для развития родного языка (так же как в XIX в. в русской литературе был прогрессивным фактором билингвизм многих русских писателей, в творчестве которых широко представлен французский язык).

Творчество Л. Каравелова закладывало основы болгарского литературного языка в период национального Возрождения. В нем народная речь скрещивалась, сопрягалась с новыми стилистическими языковыми формами и элементами, нередко привлеченными из русской литературы, и обогащалась благодаря этому. Оставаясь глубоко национальным болгарским писателем, Любен Каравелов способствовал укреплению болгарского языка, отбирая из народного говора лучшее, яркое, самобытное, дополняя его элементами из других языков.

Синтез национальной и иных языковых стихий, творческое взаимодействие двух и более языковых систем у Л. Каравелова и других многоязычных писателей эпохи национального Возрождения способствовало обогащению болгарского языка и явились предпосылкой того, что этот язык стал необычайно богатым по лексическому составу, фразеологической образности, синтаксическим конструкциям.

Некоторые исследователи полагают, что правомерно говорить о полилингвизме Каравелова, имея в виду его произведения, вышедшие в Сербии. Действительно, Л. Каравелов опубликовал в Сербии ряд произведений на сербохорватском языке: в 1868 г. — повесть «*Je ли крива судбина?*» («Виновата ли судьба?»), в 1869 г. — повести «*Сока*», «*Наказао је бог*» («Наказал ее бог»), «*Горка судбина*» («Горькая судьба»). Если художественные произведения,

написанные Каравеловым на русском языке, повествовали о болгарской действительности, то в сербском цикле болгарский писатель критиковал недуги сербского общества. Эти сочинения Каравелова, как отмечал сербский критик XIX в. Светозар Маркович, фактически способствовали становлению реализма в Сербии. В то же время, будучи учеником русской реалистической школы, Каравелов стал своеобразным проводником влияния русской литературы на сербскую. Однако спорным остается вопрос о том, на каком языке написаны эти произведения Каравелова, так как в архиве писателя рукописи данных сочинений на сербохорватском языке не обнаружены. Между тем рукопись повести «Виновата ли судьба?» на русском языке существует, она опубликована в 1964 г.⁶. Думается, обоснованы предположения исследователя Д. Лекова о том, что произведения сербского цикла написаны Каравеловым первоначально на русском языке, а затем переведены на сербохорватский⁷.

Знаменательно, что даже художественные произведения, написанные Каравеловым в последние годы жизни, изданные им на болгарском языке в 1878 г. («Нено», «Воздастся ли им?») и никогда не издававшиеся писателем на русском, имеют русские варианты — сочинитель писал их по-русски, а затем делал автоперевод на болгарский язык. Следовательно, языком художественного мышления при написании беллетристики для Каравелова до конца дней оставался русский.

Любен Каравелов писал повести и рассказы по-русски, а стихотворения по-болгарски. Интересно, что Тарас Шевченко так же создавал поэтические произведения на родном украинском языке, тогда как вся его проза, включая дневники, написана по-русски. Ф. И. Тютчев использовал русский язык только в поэзии, публицистика же и письма написаны по-французски или по-немецки. Поэмы Григора Пырличева написаны на греческом языке, а автобиография — на болгарском. Таким образом, языки, на которых пишет мультилингвист, часто бывают закреплены за определенными «сферами действия».

Каравелов публиковал свои произведения в четырех странах (России, Сербии, Румынии и Болгарии), причем он всегда учитывал адресат, соотносил свои творения с реципиентом. Писатель тонко чувствовал различия в литературных вкусах, потребностях читателей этих стран. В России он публиковал повести и рассказы, посвященные «страданиям болгарского племени». Именно эта проблематика чрезвычайно интересовала русскую публику, особенно славянофильские круги. В Сербии он сразу переключил-

ся с болгарской проблематики на сербскую (да еще и остросовременную), и его сочинения пользовались успехом у местного читателя. Переводя произведения, созданные в России, на болгарский язык, писатель существенно перерабатывал их с учетом восприятия болгарским читателем этих творений.

Каждая национальная литература формируется не изолированно, а в рамках межлитературного процесса. Значение автора, пишущего более чем на одном языке, возрастает. Саят-Нова внес вклад в развитие армянской, грузинской и азербайджанской литератур, Ян Коллар и Шафарик — в развитие чешской и словацкой литератур. Владимир Набоков оставил яркий след в русской и американской словесности, Чингиз Айтматов — в киргизской и русской литературах.

Своеобразие развития литературы эпохи болгарского Возрождения (в частности, полилингвизм ряда писателей) Болгарии той поры оказало воздействие на литературный процесс других стран. Так, поэзия Д. Великсина вошла в историю не только болгарской, но и румынской литературы, Григор Пырличев не только болгарский, но и балканский писатель, его творчество — олицетворение культурного единства балканских народов. Будучи болгаринном, он писал об албанском национальном герое Скандербеге на греческом языке. Любен Каравелов — прежде всего болгарский писатель, но в то же время он и общеславянский литератор. Его творчество оказало воздействие на ход литературного процесса не только Болгарии, но и Сербии и России. Таким образом, можно с уверенностью говорить о межлитературной принадлежности ряда болгарских писателей эпохи Национального Возрождения.

Многоязычие болгарских писателей наложило яркий, своеобразный отпечаток на литературный процесс эпохи Возрождения и на развитие болгарской литературы в целом.

Примечания

- ¹ См.: Ю. И. Венелин. Древние и нынешние болгаре... М., 1829. с. 16.
- ² См.: Из архива на Любен Каравелов. Ръкописи, материали, документи. Подбрали, подготвили за печат Д. Леков, Л. Минкова, Цв. Унджиева. София, 1964, с. 122–137.
- ³ Л. Каравелов. Страници из книги страданий болгарского племени. М., 1868, с. 3.
- ⁴ См. работы: Цв. Унджиева. Любен Каравелов. София, 1968; Д. Леков. Проблеми на българската през Възраждането. София, 1970; Л. Мин-

- кова. Украинската литература в контекста на преводната литература на Българското Възраждане // Славянская филология, т. 18. Доклади и статии на IX международен конгрес на славистите. София, 1983, с. 231–240.
- ⁵ Л. Каравелов. Страници из книги..., с 9.
- ⁶ Из архива на Любен Каравелов...
- ⁷ Д. Леков. За белетристика на Любен Каравелов // Л. Каравелов. Избрани творби. София, 1985, с. 357–358.

А. Н. Горяинов
(Москва)

Академик В. И. Вернадский о «славянской идее», славянском научном сотрудничестве и культурном единстве

«Славянская идея» интересовала, как известно, отечественных идеологов и политиков самой различной ориентации и в самых разных аспектах. Мы знаем, что в исследование и обоснование феномена «славянской взаимности» большой вклад внесли ученые гуманитарных специальностей — философы, филологи, историки. Однако до сих пор нет еще работ, посвященных отношению к данному кругу вопросов других российских интеллектуалов. Среди последних внимание привлекает великий русский естествоиспытатель и историк науки Владимир Иванович Вернадский (1863–1945). В энциклопедических изданиях и справочниках обычно отмечается, что академик Вернадский был основоположником ряда химических и геологических наук, что его учение о живом веществе, биосфере и ноосфере, другие идеи оказали существенное влияние на возникновение и развитие многих естественнонаучных дисциплин, что, наконец, ученый был одним из создателей философской системы антропокосмизма, в которой естественно-исторические, природные и социально-гуманитарные тенденции развития науки сливаются в единое целое. В то же время мало говорится о практической деятельности ученого в таких гуманитарных областях, как народное просвещение, благотворительность, политика и особенно о его взглядах на различные проблемы социальной сферы.

Изучение опубликованных документов из наследия В. И. Вернадского, знакомство с некоторыми материалами его архива позволяют с достаточной определенностью говорить, что интерес Вернадского к славянам, их родству, общности культур и другим вопросам, связанным с идеями «славянского единства», был устойчивым и прошел через всю жизнь ученого. Необыкновенное внимание Вернадский проявил к славянским народам еще в детском возрасте, что было связано, вероятно, и со знакомством его с семейными преданиями об участии предков с отцовской стороны в освободительной

войне украинского народа под руководством Б. Хмельницкого, и с влиянием родственников со стороны матери (она имела общих предков с В. Г. Короленко и была племянницей одного из организаторов Кирилло-мефодиевского общества, автора рукописного сочинения по истории права поморских славян Н. И. Гулака), и наконец, с путешествием в десятилетнем возрасте вместе с семьей за границу, во время которого наиболее сильное впечатление на Вернадского произвела Прага. «Очень помнится Прага, — вспоминал об этом путешествии уже в конце жизни ученый. — Но бытовые впечатления... Отец много мне рассказывал о Чехии...»¹.

В 1876 г., в 13 лет, «поворотом» в жизни стало для Вернадского увлечение историей, возникшее под воздействием сербо-черногорско-турецкой войны 1876 г. К 1878–1879 гг. относится первая из сохранившихся тетрадей Вернадского с выписками по политическим, общественным и культурным вопросам, озаглавленная «Заметки по взаимным отношениям славян между собою и с другими нациями: Материалы»². В 1879–1880 гг. выписки были продолжены в тетрадях «Борьба славян за существование»³ и «Сношения народов»⁴. Тематика тетрадей шире их названий. Там подобраны материалы о многих европейских и азиатских странах, о еврейском и американском народах. Однако юношу интересовали прежде всего взаимоотношения зарубежных стран с Россией как славянской державой; очень большое место в тетрадях занимают также материалы, посвященные западным и южным славянам, их связям с Россией, украинскому народу, славяно-германским отношениям, славянофильству. Выписки свидетельствуют о широте кругозора молодого Вернадского, его способностях к языкам (впоследствии ученый писал, что читает на всех славянских, романских и германских языках)⁵, врожденном умении разыскивать и привлекать материал из нетрадиционных и неожиданных источников (львовская газета «Слово», глава о Триесте из книги «Italia irredenta», ходившая в рукописи речь председателя Московского славянского комитета И. С. Аксакова).

Вступая в жизнь, В. И. Вернадский формировался, с одной стороны, как талантливый ученый, а с другой — как убежденный демократ. С демократических позиций он подходил и к национальному вопросу вообще, и к вопросу о взаимоотношении русского и других славянских народов в частности. Это отчетливо проявилось в письмах Вернадского жене. В одном из них Владимир Иванович признавался, что «никогда не был поклонником общины»⁶. В этой связи понятно отрицательное отношение Вернадского к теориям русских славянофилов. Характеризуя одного из своих товарищей, он отмечал только два его недостатка — «славянофил немножко и прежде был православный ортодокс»⁷.

Наиболее развернуто свое отношение к «славянскому вопросу» Вернадский выразил в 1906 г. в статье «Из заграничных впечатлений»⁸. Толчком для написания статьи стало месячное пребывание в Северной Чехии во время одной из многочисленных заграничных поездок уже давно сложившегося к тому времени специалиста, видного деятеля кадетской партии. Отметив огромное влияние революционных событий в России на жизнь западноевропейских стран, их внутреннюю и внешнюю политику, Вернадский рассказывает о «вековой национальной борьбе между немцами и чехами» и отмечает, что в Чехии «тождество национальных интересов с демократическими сказывается очень резко».

В чешском общественном мнении В. И. Вернадский выделяет три направления: а) социалистическое, печать которого рассматривает русское освобождение «исключительно с точки зрения интересов пролетариата и видит в нем только эту одну его сторону»; б) либеральное, в прессе которого «чувствуется симпатия свободных людей к людям, борющимся за свободу», в) консервативное, располагающее наиболее влиятельными органами печати, выступающими против демократических перемен в России.

Политические пристрастия чешских консерваторов Вернадский связывал, с одной стороны, с их антисемитизмом, а с другой — с ориентацией на Россию как на «внешнюю опору» в борьбе против германизации. «Для нас этот вопрос, — продолжал ученый, — интересен и важен в связи с более общим славянским вопросом... Русские граждане обязаны теперь же выяснить для себя столь чуждые им раньше вопросы внешней политики. Среди них может быть ближайшим для нас является в настоящую минуту вопрос междуславянского общения». Вернадский не сомневался в «невозможности какой бы то ни было гегемонии интересов славянских народностей в российском государстве». «Панславизм или славянофильство, — писал он, — не могут иметь для нас никакого политического значения... Новая Россия, благодаря своей обширности и этническому составу; имеет круг интересов, выходящих далеко за пределы национального государства, даже если расширить национальность до понятия широкой племенной группы — славянства». «Для нас славянский вопрос есть вопрос культуры, а не политики» — заключал статью Вернадский. Культурное единство славян и близость славянских языков он ценил очень высоко как инструмент, обеспечивающий литературе и науке русского народа и «более мелких славянских племен» широкий круг распространения, а также культурное влияние «среди сплошных масс великих мировых народных тел».

Несколько абзацев статьи Вернадского посвящены политике России в Польше. Он настаивал на необходимости решения «старого русско-польского спора» «на основе справедливости», под которой понимал «политическое возрождение как единого целого в новых государственных формах в виде автономной провинции России высококультурного польского народа». Таким образом, Вернадский разделял в польском вопросе позицию П. Н. Милюкова и других своих соратников по кадетской партии.

Надо сказать, что свое понимание событий, разворачивавшихся в Польше в конце XIX — начале XX в., ученый в значительной части основывал на личных наблюдениях и размышлениях. В 1916 г. он работал над большой рукописью по польскому вопросу, в которой использовал впечатления от посещения разных частей разделенной Польши до начала Первой мировой войны⁹. Эти впечатления были изложены им также непосредственно во время поездок в письмах жене.

Вернадский обратил внимание прежде всего на борьбу польского народа за сохранение национального своеобразия и национальной культуры. Посетив в 1894 г. Краков и Галицию, он отмечал, что в Австро-Венгрии царит «полная и разнообразная неполноправность»¹⁰, в условиях которой Краков сумел сохранить чисто польский характер и образовал «как бы умственный и духовный центр живучей польской отрасли славянского племени»¹¹. Побывав несколько лет спустя в Торуня, в прусской Польше, Вернадский писал, что встретился там с «борьбой не на жизнь, а на смерть систематически вытравливаемой из родной земли... польской расы. Вся сила экономической государственной прусской машины, безжалостной и развращающей, была поколениями направлена на эту цель... Поляки проявили здесь — не польское дворянство, а польский народ, — поразительную силу споротивления. Их не удалось и не удастся вытравить из родной земли...»¹².

Сохранилось письмо жене, в котором Вернадский излагает свои наблюдения об отношении торуньских поляков к русским. «Здесь поляки — отмечал он, — сторонники русских и России, как чехи и другие славяне...»¹³. Иную картину Вернадский вынужден был констатировать после посещения Варшавы. «Этот город нам чужой, — писал Вернадский, — весь тон в Варшаве задает неслужилый человек, тесно связанный с западной кипучей жизнью... и совсем чужой и чуждый, враждебный всему русскому...»¹⁴. Отчуждение поляков от русских вызвано, по мнению ученого, взаимными ошибками в политике, а также особенностями славянского характера. К недостаткам последнего, сыгравшим отрицательную роль в русско-польских от-

ношениях, он причисляет «малую политическую мудрость славян», их «мягкость мысли» и ее слабую осознанность, лень и неэнергичность¹⁵. Россию Вернадский упрекает в усилении с конца XIX в. «национальной и религиозной нетерпимости и ненависти» к полякам, в попытках воспрепятствовать установлению связей между русской, австрийской и прусской частями Польши.

Что же касается поляков Российской империи, то они, по мнению ученого, демонстрируют «полное непонимание окружающей жизни», развивающейся по капиталистическому пути¹⁷. Появление новых капиталистов, считает Вернадский, неизбежно приведет к переходу народных масс «к иной политической деятельности», вызовет дальнейшее усиление польского рабочего и социалистического движения, а также упрочит экономическую зависимость Польши от России¹⁸.

Вернадский считал, что возможности развития всех частей разделенной Польши связаны с демократизацией различных сторон жизни общества. Отмечая безотрадное положение украинского населения в австрийской Галиции, он считал, что на ее примере «видно, однако, глубокое и коренное значение всякого, хотя бы и очень плохого, конституционного режима в жизни страны», который создает возможности борьбы с «ненормальностями»¹⁹.

Сильную, хотя и незаметную на первый взгляд демократизацию жизни Вернадский отмечал и в русской Польше, где капиталистические отношения нивелируют уже, по его мнению, влияние шляхты. «Только одним путем, путем возврата к народному сознанию, путем чистых демократических идеалов возможна сильная и живая жизнь польского общества и польской нации» — писал Вернадский в одном из писем жене²⁰. Он считал, что условия, сложившиеся в польских землях в конце XIX в., «делают демократический идеал более доступным, чем когда бы то ни было раньше»²¹. Выше уже отмечалось признание Вернадским капиталистического пути развития польских земель. Именно это направление ученый и считает главным фактором, благоприятствующим демократизации. Наряду с ним он отмечает воздействие на ситуацию в Польше бурного развития науки, техники и международного обмена.

На роли славянской науки Вернадский остановился в своих работах наиболее подробно. В упомянутой выше рукописи по польскому вопросу он отмечал полную невыясненность культурной роли славян в истории мировой научной мысли и писал о своих занятиях культурой сербов, чехов, об изучении старой польской культуры и культурных центров на ее территории. Те же мотивы звучат в письмах жене: Вернадский постоянно пишет ей о знакомстве с учеными

из славянских стран, о чтении научных трудов классиков славянской науки, о посещении в славянских землях интересных естественноисторических и историко-научных объектов.

После Октябрьского переворота оставшийся на родине ученый несмотря на гонения большевиков в отношении всех проявлений идеи «славянской взаимности» и попыток искоренить славяноведение²², пытался защищать преследуемых славистов (В. Н. Бенешевича, М. Н. Сперанского) и продолжал следить за развитием науки в славянских странах. «Сейчас связь со славянской наукой чрезвычайно важна, — писал он в 1925 г. академику А. Е. Ферсману, — и она будет играть еще большую роль в русской ученой жизни...»²³.

К вопросу о межславянских научных связях Вернадский вновь обратился во время войны с фашистской Германией. Находясь в 1942 г. в эвакуации в Казахстане, он разрабатывал свое знаменитое учение о ноосфере. Основная идея Вернадского состояла в том, что биосфера Земли в ходе своей эволюции достигает состояния, в котором разум и работа человека не просто воздействуют на нее, а превращаются в самостоятельную геологическую силу, устанавливая таким образом связь между геологическими процессами и историей человечества. С точки зрения этой связи Вернадский пытался рассматривать все военные события и прогнозировать послевоенное развитие мира. «Я смотрю на все точки зрения ноосферы, — писал он 28 декабря 1941 г. академику А. Е. Ферсману, — и думаю, что в буре и грозе, в ужасе и страданиях стихийно родится новое прекрасное будущее человечества»²⁴.

«Прекрасное будущее» Вернадский связывал прежде всего с победой над фашизмом. В 1942 г. он обдумывает вопросы послевоенного развития науки и предпринимает усилия, чтобы заинтересовать руководителей Академии наук организацией после войны международного научного сотрудничества. В этом ракурсе написана статья «Мысли натуралиста об организации славянской научной работы на фоне мировой науки», написанная по предложению московского Всеславянского комитета²⁵. Статья датирована 10 июня 1942 г. В ней Вернадский попытался подойти к вопросу о задачах развития научного сотрудничества славянских народов, отталкиваясь от понятия ноосферы.

В статье три раздела. В первом тезисно излагаются основы учения о ноосфере, во втором даны краткие сведения о борьбе славянских народов за национальную самобытность, о славяноведении, об истории научного сотрудничества славянских академий. Заключает статью раздел о перспективах и практических задачах восстановления науки в славянских странах. Для решения этих задач Вернадский

предлагал как можно скорее создать специальный научный центр из представителей славянских академических и научных обществ.

Наиболее интересна для славяноведов вторая часть статьи. Из нее видно, что Вернадский был знаком с «Историей славянской филологии» И. В. Ягича, хорошо знал об организованном до Первой мировой войны по инициативе Академии наук Союзе славянских академий и об издании в России крупной серии обзорных работ «Энциклопедия славянской филологии». Он отмечает большую роль славяноведения в культурной жизни западных и южных славян, утверждая вместе с тем, что оно «не играло сколько-нибудь заметной роли в культуре». В последних абзацах раздела Вернадский характеризует политическую обстановку, в которой оказались славянские народы в межвоенный период, национальные противоречия в славянских странах, деятельность Украинской и Белорусской академий наук. Примечательно высказывание ученого о «некоторых инцидентах» при национально-культурном возрождении Украины и Белоруссии. Оно свидетельствует о желании Вернадского объективно оценивать явления советской действительности.

Статья Вернадского, по-видимому, осталась неопубликованной, во всяком случае в изданиях Всеславянского комитета она не печаталась. Тем не менее, Вернадский продолжал сотрудничать с Всеславянским комитетом и его органом — журналом «Славяне». В конце сентября 1942 г. он сообщал в письме своему ученику Б. Л. Личкову, что хочет «написать заметки по истории Украинской академии наук для журнала „Славяне“ ...»²⁶. Заметки Вернадского также не увидели света. Эта работа, имевшая характер воспоминаний о связях ученого с Украиной, оказалась последней работой Вернадского, посвященной науке славянских народов²⁷.

Нет, таким образом, сомнений, что В. И. Вернадский на протяжении всей своей жизни проявлял глубокий интерес к славянам, славянскому вопросу и славянской культуре, активно изучал науку зарубежных славян. Этот аспект деятельности ученого заслуживает внимания исследователей как потому, что вносит новые штрихи в биографию великого естествоиспытателя, так и ввиду того, что свидетельствует об интересе к родственным славянским народам представителя передовой интеллигенции России.

Примечания

¹ В. И. Вернадский. Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М., 1981, с. 19–20.

- ² АРАН, ф. 518, оп. 1, д. 208.
- ³ Там же, д. 209.
- ⁴ Там же, д. 210.
- ⁵ В. И. Вернадский. Страницы автобиографии..., с. 26.
- ⁶ В. И. Вернадский. Письма Н. Е. Вернадской. М., 1988, кн. 1, с. 51.
- ⁷ Там же, с. 122–123.
- ⁸ В. И. Вернадский. Из заграничных впечатлений // Речь. СПб., 1906, 21 сент.
- ⁹ АРАН, ф. 518, оп. 2, д. 68. Отрывок из рукописи опубликован в кн.: В. И. Вернадский. Труды по всеобщей истории науки. 2-е изд. М., 1988, с. 211–213.
- ¹⁰ В. И. Вернадский. Письма Н. Е. Вернадской. М., 1994, кн. 3, с. 120.
- ¹¹ Там же, с. 107–108.
- ¹² В. И. Вернадский. Труды..., с. 213.
- ¹³ В. И. Вернадский. Страницы автобиографии..., с. 190.
- ¹⁴ В. И. Вернадский. Письма Н. Е. Вернадской..., кн. 3, с. 100–106.
- ¹⁵ Там же.
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ Там же.
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ Там же, с. 122.
- ²⁰ Там же, с. 100–106.
- ²¹ Там же.
- ²² См.: А. Н. Горяинов. Трактовка славянської взаємності і славянознавства радянськими ученими (1920–1930-е роки) // L'idea dell' unità e della reciprocità slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. Roma, 1994, р. 81–92.
- ²³ В. И. Вернадский. Письма В. И. Вернадского А. Е. Ферсману. М., 1985, с. 105.
- ²⁴ Там же, с. 210–211.
- ²⁵ АРАН, ф. 518, оп. 1, д. 220г.
- ²⁶ В. И. Вернадский. Переписка с Б. Л. Личковым, 1940–1944. М., 1980, с. 111–112.
- ²⁷ АРАН, ф. 518, оп. 1, д. 218. Отрывки опубликованы в кн.: К. М. Сытник, Е. М. Апанович, С. М. Стойко. В. И. Вернадский: Жизнь и деятельность на Украине. 2-е изд. Киев, 1988, с. 227–287.

Т. И. Вендина
(Москва)

Общеславянский лингвистический атлас и сравнительно-историческое языкознание

Общеславянский лингвистический атлас имеет, как известно, прежде всего сравнительно-историческую направленность, поскольку в основе его лежит генетический принцип установления диахронического тождества слов и морфем, реконструируемых для позднего праславянского периода. Эта диахроническая направленность Атласа особенно ярко проявляется в его фонетико-грамматической серии, тесно связанной с проблемами сравнительно-исторического языкознания. В рамках этой серии осуществлена публикация первых томов Атласа — «Рефлексы *ǣ» [Белград, 1988], «Рефлексы *ǫ» [Москва, 1990], «Рефлексы *ǫ» [Варшава, 1990], «Рефлексы *ьr, *ьr, *ьl, *ьl» [Варшава, 1994].

Выход в свет этих томов впервые позволил реально представить лингвистический ландшафт Славии во всей его сложности и многообразии.

На картах Атласа отчетливо выявляется дифференциация славянских диалектов в зависимости от особенностей развития праславянских континуантов. Давний спор А. И. Соболевского и А. А. Шахматова относительно предпочтения диалектных или исторических данных для изучения истории языка благодаря Атласу получает принципиально новое решение, поскольку на картах, репрезентирующих синхронный срез современных славянских диалектов, фактор пространства оказывается неразрывно связан с фактором времени. Но что более ценно, с выходом Атласа впервые появилась возможность «исторического прочтения» карт и ареалов, поскольку на них представлено не только «единство времени» и «единство места», но и «единство действия», а именно: процесс развития элементов праславянской системы во всем их диалектном разнообразии. Именно это диалектное разнообразие континуантов позволяет проследить, как совмещаются на пространственной оси различные языковые реализации праславянской фонемы и установить типологическую направленность и последова-

тельность различных стадий ее фонетических преобразований. Столь высокая историческая информативность диалектного ландшафта Славии, как справедливо отмечал Н. И. Толстой, «объясняется в первую очередь фактором неравномерного развития отдельных систем, отдельных уровней системы и даже отдельных элементов системы» [Толстой, 1983, с. 185]. Иными словами, карты Атласа дают возможность увидеть «развернутую диахронию в пространстве» и перейти на лингвоареальную парадигму исследования, по-новому осмыслить исторические процессы, связанные с происхождением и развитием праславянских единиц.

Давая представление о шкале возможных и допустимых перемещений в исторической эволюции праславянских вокалов и их диалектной дистрибуции, карты уже первых томов Атласа позволяют критически оценить существующие гипотезы, связанные с фонетической субституцией праславянских элементов в позднепраславянском и современных славянских языках.

Особенно ценным представляется наличие в каждом томе Атласа так называемых обобщающих карт. Картографируемые явления предстают на этих картах в своей системной обусловленности, поскольку материал каждого тома составляют не отдельные, случайно выбранные лексемы (кочующие нередко из одной сравнительно-исторической грамматики в другую), а строго отобранные (в соответствии с программой Атласа) словоформы, которые позволяют проследить судьбу праславянской единицы во всех релевантных для нее и для каждой частной диалектной системы позициях. Обобщающие карты Атласа являются по своей сути интерпретационными, поскольку на них репрезентируются результаты сопоставления современных континуантов с более ранними, при этом факты, которые не являются продолжением развития собственно праславянских единиц, элиминируются. На карте получают отражение не только условия возникновения фонетических рефлексов, но и их позиционное поведение (отношение к ударению, вокальному количеству и консонантному окружению). После тщательного, скрупулезного анализа авторами карт материалов всего тома (анализа, который можно сравнить, пожалуй, с работой археологов, последовательно снимающих более поздние напластования) искомая информация предстает на обобщающих картах в «чистом виде», что делает эти карты бесценным вкладом в сравнительно-историческое языкознание.

Так, в частности, если обратиться к первому фонетическому тому ОЛА «Рефлексы *ѣ», то нетрудно увидеть, что картина, вырисовывающаяся на его картах, во многом не соответствует суще-

ствовавшим ранее представлениям о фонетической сущности этого праславянского вокала.

Как известно, вопрос о фонетической субституции **ě* до сих пор остается одним из самых сложных в истории сравнительно-исторического языкознания. Слова проф. Т. Флоринского, сказанные им более ста лет назад, о том, что «*ě* с точки зрения своей физиологической природы все еще остается загадочным звуком» [Флоринский, 1895, с. 76], являются актуальными и сегодня. Эта загадочность «*ятя*» во многом объясняется его происхождением, поскольку он связывается не только с **ě* долгим, но и с **ě* кратким в сочетаниях типа **tert*, **telt* (по крайней мере для южнославянских, чешского и словацкого языков), **ř* носовым, дифтонгами **oi*, **ai* и даже **ia*, его двусмысленным обозначением в глаголице, а также удивительным многообразием рефлексов.

И в этом отношении Атлас предлагает исследователям богатейший материал, который впервые позволяет выявить в мельчайших деталях весь спектр современных рефлексов **ě* (а их насчитывается более 70) и соотнести их с гипотетическим **ě*.

Если попытаться схематически изложить существо «проблемы **ě*», то оно сводится к следующему: какова была фонетическая природа **ě* (являлся ли он дифтонгом или монофтонгом) и что представлял собой **ě* в звуковом отношении (если это был дифтонг, то каковы были его компоненты, если монофтонг, то каково было его качество).

Сторонники однородной артикуляции **ě* полагают, что он представлял собой либо обычный долгий *ě* (Ф. И. Буслаев, Н. Ван-Вейк, М. Фасмер, Т. Милевский, З. Штибер), либо долгий закрытый *ě* (Ф. Миклошич, А. Лескин), либо широкий, открытый гласный переднего ряда *'ä*, коррелирующий с гласным непереднего ряда нижнего подъема *a* (А. Мейе, Х. Педерсен, Ф. Рамовш, Р. Бошкович, Х. Бирнбаум).

Сторонники дифтонгической артикуляции **ě* полагают, что он представлял собой дифтонг либо закрытого типа *je* (Ф. Ф. Фортунатов, Ф. Будде, Ф. Е. Корш, А. А. Шахматов, Н. Н. Дурново), либо открытого *ia*, *iä*, *ea*, *ea*, *eä* (Г. А. Ильинский, И. А. Колосов, Р. Брандт, Й. Миккола, Я. Розвадовский, А. Вайан, Г. Шевелев).

Следует, однако, признать, что нередко обе эти точки зрения совмещаются в эволюционной теории «*ятя*», когда признается, что сначала **ě* был широко открытым звуком, а затем подвергся сужению (В. Поржезинский, В. Р. Кипарский, М. Самилов).

Альтернативное решение этой проблемы содержится в работах А. Белича и А. М. Селищева, которые полагают, что праславян-

ский *ě на разных славянских территориях имел разное произношение: в одних диалектах он звучал как открытый звук нижнего подъема 'ä, в других — он был более закрытым, напряженным с повышенным подъемом языка ê.

Наконец, следует вспомнить и о «теории двух ятей» (*ě₁ и *ě₂), выдвинутой в свое время В. Ягичем и получившей поддержку Ф. Лорентца, Р. Нахтигала, С. Б. Бернштейна, В. В. Колесова и других ученых. Согласно этой теории, в праславянском языке существовало два «ята» — один произносился как широкий открытый гласный типа 'ä (он восходил к *ē долготу), другой — как узкий, напряженный ê (он восходил к дифтонгам *oi, *ai). В дальнейшем «оба ятя во всех диалектах праславянского языка совпали, причем направленность процесса была разной: в одних победил *ě₁, в других — *ě₂. В языке предков болгар установилось произношение *ě₁ (т. е. 'ä), в языке предков сербов, хорватов, словенцев *ě₂ (т. е. ê). В восточном поддиалекте праславянского языка победил *ě₂» [Бернштейн, 1961, с. 214–215].

Отсутствие лингвогеографических данных (опора лишь на отдельные, нередко случайные примеры) делало многие из этих гипотез бездоказательными, и только публикация Атласа позволила внести существенные коррективы в эти представления, по-новому их осмыслить и оценить.

Что же показывают карты первого тома Общеславянского лингвистического атласа, посвященного рефлексам *ě?

Думается, что наиболее важная информация для решения этого вопроса содержится на двух обобщающих картах Атласа — «Фонетические рефлексy *ě в позиции максимальной дифференциации» и «Фонологический статус рефлексов *ě/*ě:». Абстрагируясь от более поздних фонетических изменений, которые претерпели континуанты праславянского *ě во всех славянских языках, авторы карты «Фонологический статус рефлексов *ě/*ě:» (Б. Видоески и З. Тополинска) представили на карте «судьбу праславянской фонемы *ě в ее отношении к другим функциональным единицам праславянской системы вокализма, независимо от сегодняшней реализации этой фонемы» [ОЛА, вып. 1, с. 148]. Карта дает ответ на один из дискуссионных вопросов сравнительно-исторического языкознания, а именно: где, в каких славянских диалектах «ятя» сохранил свою фонологическую индивидуальность (т. е. свое строго определенное место в фонологической системе того или иного диалекта и соответственно — особую дистрибуцию), а где ее утратил. Материал этой карты показывает, что абсолютное сохранение фонологической индивидуальности *ě наблюдается в украинских полес-

ских (преимущественно левобережных и частично правобережных) говорах (где **ě* выступает либо в виде дифтонга *ie*, либо в виде узкого *e*), в северо-восточных говорах Словении [п. 21, 49], в отдельных кайкавских [п. 27] и штокавских [п. 52, 62, 151, 168] говорах, в которых континуантом **ě* является узкий *e*, а также в македонских [п. 106, 112], в которых **ě* продолжает гласный *a* (по фонетической транскрипции ОЛА «звук средний между *a* и *e*»).

Особого внимания заслуживает тот факт, что в ряде словенских [п. 2, 4, 6, 11–14, 16] и штокавских говоров [п. 36, 38, 49–51, 65–68, 71, 72, 74–78, 150] фонологическую индивидуальность сохранил лишь долгий **ě*; причем в основном в полифонемном рефлексе типа *ie*, *iẽ*, *iē*; *iie* и др.

Кроме этих основных ареалов сохранения фонологической индивидуальности праславянского **ě*, на карте отчетливо выделяются диалекты, в которых фонологическая индивидуальность **ě* сохраняется частично. Это прежде всего украинские говоры (за исключением полесских), в которых часть материала **ě* совпала в закрытом слоге с **e*, **o* и индивидуальность рефлексации «ять» сохраняется лишь в открытом слоге; белорусские (в основном западно-полесские и юго-западные) говоры, севернорусские говоры (значительная часть архангельских, олонецких, вологодских и костромских), а также небольшие ареалы в среднерусских (в частности, в новгородских, селигеро-торжковских, владимирско-поволжских) говорах и южнорусских (в верхнеднепровских, тульских, рязанских) говорах, в которых лишь часть материала **ě* совпала с **e*; частичное сохранение фонологической индивидуальности **ě* наблюдается и в серболужицких диалектах, поскольку часть материала **ě* здесь совпала с **e* и в зависимости от позиции с **e* носовым.

Во всех остальных славянских диалектах **ě* утратил свою фонологическую индивидуальность, совпав в большинстве русских, белорусских, польских, чешских, словацких, македонских, частично сербскохорватских и словенских диалектов с континуантами **e*, в польских и отдельных македонских, кроме того, с континуантами **a*, в македонских и частично сербскохорватских и словенских — **e* носового, в ряде словенских, кроме того, с **i* и с **ь*, в кайкавских с **ь*, в икавских — с **i*, в ряде штокавских говоров — с последовательностью фонем *ie*.

Особо следует отметить ситуацию в польских и чешских говорах, в которых «следы» фонологической индивидуальности **ě* сохраняются лишь в явлениях палатализованности/палатальности согласного, предшествующего континуанту «ять».

Не менее ценная информация содержится и на второй обобщающей карте «Фонетические рефлексy *ѣ в позиции максимальной дифференциации» (авторы А. Басара, Г. Здуньска, З. Тополинска). Будучи в своей основе сравнительно-исторической, эта карта дает представление об общих тенденциях в развитии *ѣ, его артикуляционных передвижениях. Абстрагируясь от лексических и морфологических деталей (случаев лексикализации и морфологической аналогии), авторы карты принимают во внимание лишь те рефлексy *ѣ, которые представлены в позиции максимального различия (т. е. «в позиции, в которой развитие „ять“ в наименьшей степени было обусловлено позиционно и в которой он в наибольшей степени сохранил свою специфику»). Таким образом, при изучении судьбы *ѣ в славянских диалектах впервые был применен дифференцированный подход, позволивший избежать механического суммирования его континуантов. Выводы, к которым пришли авторы, сводятся к следующему: «рефлексy праславянского *ѣ локализуется в зоне артикуляции *i*, на оси *i-e*, в зоне артикуляции *e*, на оси *e-a* и в зоне артикуляции *a*, причем на большей части славянской территории континуанты *ѣ располагаются на оси *i-e* с перевесом в сторону *e* во многих диалектах. Только в польских, в отдельных пунктах македонских и спорадически словенских диалектах рефлексация *ѣ подверглась понижению и расширению в определенных позициях» [ОЛА, вып. 1, с. 150].

Интересным является то, что карты Атласа практически не обнаруживают диалектов, в которых бы в позиции максимального различия (а именно под ударением, перед твердыми согласными) был бы последовательно представлен рефлекс типа переднего *'a* или дифтонга *ea*. Исключение составляют лишь македонские говоры в Греции (в районе Солуня) и Албании (район Корча), в которых *ѣ репрезентирует широкий *'a*, средний между *a* и *e* (пп. в Греции 112 *sfat*, *l's'ara*, *l'p'asna*, реже 113 *l'p'asuk*, *l's'ano*, *zv'ar*, 113a *sl'ap*, *sn'ak*, *ni'l'v'asta*) или широкий йотированный *ja* (п. 106 в Албании: *cvjat*, *liato*, *xrijan*). Кроме того, заслуживает внимания ситуация в словенских говорах Каринтии, а точнее в п. 148, в котором наряду с рефлексом *ea* (ср. *dëad*, *mëara*, *pëana*, *leàtə*), отмечены рефлексy узкого *e* (ср. *sëna*, *tëstə*, *səsëd*, *nedë:la*), *iə* (*snjəx*, *cujət*, *liəs*, *hliəu*), *a* (ср. *xràn*, *xläf*, *màduad*, *čujà?*).

Особо следует сказать о ситуации в болгарских диалектах. Как известно, болгарская национальная комиссия, будучи не согласна с некоторыми решениями редакционной коллегии ОЛА в отношении определения языкового статуса отдельных населенных пунктов, находящихся на территории Греции и Турции, в 1982 г.

отозвала свои материалы из Атласа, в связи с чем ОЛА начал публиковаться без болгарских материалов. Отсутствие этих материалов несколько искажает общеславянскую картину рефлексации «ять» (тем более что теория «широкого, открытого *ѣ» базировалась на данных не только старославянского языка, но и болгарских диалектов). Восполнить этот пробел мы попытались, обратившись к сведениям по болгарской диалектологии и Болгарскому диалектологическому атласу. Рефлексация *ѣ относится, как известно, к одной из важнейших диалектных изоглосс, которая разделяет болгарские говоры на западные (с рефлексом *e* во всех позициях) и восточные, в которых выделяются северо-восточные (с двумя рефлексами «ять» — *e* и *'a* с предшествующей мягкостью согласного в зависимости от ударения и качества последующего согласного) и юго-восточные (в которых рефлексом «ять» являются или только *'a* с предшествующей мягкостью согласного — восточно-рупские говоры или широкий, открытый гласный *e*, склонный к *a* — фракийские, смолянские, шуменские говоры). Таким образом, для болгарских диалектов позиция максимальной дифференциации для *ѣ с точки зрения авторов карты была бы позиция под ударением перед твердым согласным, где континуантом *ѣ является либо *e*, либо широкий, открытый гласный *e* (склонный к *a*). Именно эта рефлексация *ѣ дала в свое время А. М. Селищеву основание утверждать, что «в тех языковых группах, которые легли в основу языка славян болгарских и славян северо-западных (полабян, поморян, поляков) образование этого гласного представляло собой открытый гласный *'a*» [Селищев, 1951, с. 129].

Такая территориальная дистрибуция континуантов *ѣ позволяет, как представляется, внести коррективы в существующие гипотезы о фонетической субституции этого праславянского вокала и его судьбе в современных славянских языках.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что на большей части славянской территории современным континуантом *ѣ является *e* (рус., блр., плс., луж., чеш., слц., мак., зап.-блг., частично сх. и слн. говоры). Обширность и во многих случаях системность ареала (когда он носит практически сплошной характер), а также нередко позиционная обусловленность этого континуанта (особенно в польских и некоторых чакавских говорах) по законам лингвистической географии свидетельствует о вторичности этой континуации *ѣ (архаизмы, как известно, имеют преимущественно ограниченный, нередко островной ареал), что не позволяет признать точку зрения тех ученых, которые

полагают, что **ě* в поздний праславянский период представлял собой обычный долгий *ě*.

В то же время не может не привлечь внимания и ситуация в говорах Каринтии (п. 148), где и сегодня мы наблюдаем уникальный процесс трансформации качества **ě*, который полностью укладывается в схему его эволюции, предложенную в свое время Ф. Рамовшем [Ramovš, 1936] для словенских, а Д. Брозовичем и П. Ивичем [Brozović, Ivić, 1988] для сербохорватских говоров: *ea* > через ряд дифтонгических ступеней переходит в долгий узкий *ę*. Отмеченный в этих говорах рефлекс *ea*, как показывают материалы Атласа, здесь не удерживается, а претерпевает изменения в направлении монофтонгизации, вследствие чего появляется узкий *ę* (*tęstia*), который, однако, снова дифтонгизируется, о чем свидетельствуют образования типа *lięs*, *smięx* и др.

Узкий *ę* встречается и в других зонах Славии, где **ě* сохранил свою фонологическую индивидуальность в виде самостоятельного рефлекса, причем в основном это точечные (островные) ареалы (ср., например, п. 424, 425 в украинских полесских говорах или п. 52, 62, 151, 168 в сербских штокавских говорах, п. 20, 149 в словенских). Между тем островное явление как лингвоареальное понятие обладает специфическим содержанием: «если „остров“ небольшой, то он может иметь две противоположные характеристики — либо архаизм, либо неологизм. Чем меньше остров, чем дальше он распространен на периферии ареала, тем архаичнее явление... Если речь идет о неологизме, то он имеет иное распределение — встречается единично и может быть расположен в любом месте ареала» [Бородина, 1980, с. 32]. Этот вывод представляется важным для квалификации узкого напряженного *ę* как одного из архаичных континуантов **ě*.

Характер ареала узкого *ę*, однако, меняется в сторону его расширения и менее четкой локализации, когда ему сопутствуют иные рефлексы и прежде всего открытый *e* (ср., например, ситуацию в севернорусских архангельских, вологодских, костромских говорах, а также в островных ареалах среднерусских новгородских (п. 635, 636), владимирско-поволжских (п. 706, 716, 744, 756) и южнорусских верхнеднепровских (п. 761, 762) и рязанских (п. 828, 846) говорах, кроме того, в юго-западных и северо-восточных (полоцко-минских и витебско-могилевских) белорусских говорах, а также в отдельных словенских (п. 9) и лужицких (п. 234) говорах). Иногда эта двучленная модель рефлексации **ě* (*e/ę*) дополняется еще одним континуантом — дифтонгом *ie* (*e/ę/ie*): эта модель встречается в основном в севернорусских говорах (п. 550,

586, 648) и граничащих с ними северноновгородских (п. 637) или *i* (*e|e|i*): эта модель имеет уже более широкое распространение — севернорусские говоры (п. 563, 567, 569, 578, 590, 592, 593, 597, 669) и единичные пункты в среднерусских новгородских (п. 608); юго-западные белорусские (п. 362, 376, 382, 384–386) и отдельные словенские (п. 20), в лужицких диалектах после *s*, *z*, *c* появляется континуант *y* (п. 235–237). Наконец, следует отметить еще одну модель, получившую распространение только в севернорусских вологодских говорах (п. 617–619, 621, 639, 644, 646) — *e|e|i|e|i*.

Что касается дифтонгического рефлекса **ě* типа *ie*, то в качестве самостоятельного он выступает лишь в украинских полесских говорах. Причем ареал его является контактирующим: на севере с ареалом *e* узкого, на юге — с ареалом *i*: ареал узкого *e* (юго-западные белорусские говоры) как бы «перетекает» в ареал континуанта *ie* (украинские полесские говоры), который переходит далее в ареал *i* (украинские говоры), являя собой пример цепочечного развития диалектной зоны.

Интересно в связи с этим отметить, что именно в этих говорах континуантом **o* является рефлекс *uo* (*nyos*), а континуантом **e* — рефлекс *ie* (*s'iet*), факт, который в свое время привлек внимание Н. Н. Дурново и А. М. Селищева, связавших его с удлинением этимологических **ě*, **e* и **o* перед слогом с утраченным редуцированным и последующим выделением более высокого артикуляционного элемента, приведшего к образованию дифтонга [Дурново, 1969, с. 192; Селищев, 1951, 130–131].

Косвенным подтверждением вторичности континуанта *ie* в качестве субститута праславянского **ě* являются и выводы, к которым пришли историки русского языка, а именно: «в распоряжении историков русского языка нет никаких оснований для реконструкции непосредственного фонетического изменения *lě* в *lu*... непосредственного фонетического изменения *l'ě* в *lu* не было, этот переход совершился через стадию дифтонга *ie*» [Горшкова, 1968, с. 131]. Этот вывод подтвердили и последние исследования древнерусских памятников, относящихся к одному синхронному срезу XII–XIII вв. [Древнерусская грамматика, с. 57].

О вторичности континуанта *ie* свидетельствуют и данные экспериментальной фонетики, в частности наблюдения фонетистов, касающиеся трансформации узкого напряженного *e* в *ie* и различного распределения длительности и интенсивности между начальной и конечной фазой дифтонга *ie* [Пауфошима, 1961, с. 12], что создает условия для акустического сближения дифтонга *ie* как с монофтонгом *i*, так и с монофтонгом *e*.

Вторичность рефлекса *ie* подтверждается и процессом дифтонгизации долгих гласных (в том числе и **ě*), охватившим некоторые южно- и западнославянские языки, следствием которого были рефлексы типа (*ie*, *iẽ*, *iĕ* и др.): в сербскохорватских диалектах, например, по наблюдениям П. Ивича, он проходил не ранее XIV в. [Ивич, 1958, 1, с. 9–11], в словацких — не ранее XIII в. [Krajčovič, 1981, s. 54], ср. также процесс дифтонгизации долгого *ě* в древненовгородском диалекте в XV в. [Горшкова, 1972, с. 109]. Следующей стадией этого процесса является континуант *i*, встречающийся, как правило, в долгих слогах в чешских, западно- и восточнословацких диалектах, а также в некоторых словенских и сербскохорватских говорах.

Эта ограниченность распространения континуанта *ie*, а также его производность (как в физиолого-акустическом, так и в ареальном плане) от узкого напряженного рефлекса **ě*, само его появление на карте (как правило, при условии наличия узкого *e*, см., например, ситуацию в некоторых севернорусских говорах и противоположную ей в южнорусских, где на карте зафиксированы лишь континуанты *e/ẽ*, но отсутствуют *e/iẽ*) не позволяет принять этот континуант в качестве исходной праславянской субституции **ě*.

Думается, что на фоне этих синхронных показателей выглядит более убедительной эволюционная диалектальная теория **ě*, когда в качестве исходной для одних диалектов признается широкая открытая артикуляция типа *ea* (*ea*, *eä*, *'ä*), а для других узкая напряженная типа *ĕ* с последующим преобразованием их либо в сторону дальнейшего сужения (ср. модель *ea* > *ĕ* > *iĕ* > *i* (*iĕ̃*), характерную для многих сербскохорватских, словенских, а также, возможно, для некоторых севернорусских говоров (см. об этом ниже) или *ĕ* > *iĕ* > *i* — для украинских и некоторых севернорусских, *ea* > *e* — для македонских, северо-восточных штокавских и западноболгарских), либо в сторону расширения (ср. модель *ea* > *'ä*, характерную для ряда восточноболгарских говоров или *ĕ* > *e* — для многих русских говоров).

В завершение этого сюжета хотелось бы привести интересные факты, изложенные в статьях В. В. Колесова [Колесов, 1975, с. 53] и Р. Ф. Касаткиной [Касаткина, 1991, с. 65]. Описывая случаи реализации **ě* в широком открытом гласном пониженного подъема в некоторых севернорусских говорах, авторы высказывают предположение, что в северо-западных диалектах древнерусского языка праславянскому **ě* соответствовали широкие открытые гласные (один из ряда *æ*, *æ̃*, *ea*, *eæ*, *eae*) [Касаткина, 1991, с. 68, 73]. Основанием для такого заключения явились как собственные диалект-

ные материалы авторов (анализ спонтанной речи диалектоносителей); так и отдельные сведения, почерпнутые из разных источников. К сожалению, материалы 1-го тома ОЛА бесспорных примеров, подтверждающих это предположение, практически не дают. Исключение составляют лишь п. 528 (Койда Архангельской обл.), где зафиксирован ответ *'c'aloj* (карта 49 **cěľь*), и п. 596 (Елинская Архангельской обл.) *'c'ap/c'er* (карта 10 **cěрь*), при том, что во всех остальных случаях континуантом **ě* здесь является *e*; п. 586 (Паш-озеро Ленинградской обл.) *'cad'it/iced'it* (карта 62 **cěditь*), при наличии континуантов *e*, *e*, *je* во всех остальных случаях, но все эти примеры остались без комментария авторов карт. На обобщающей карте эти факты элиминированы.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что во всех трех примерах континуант *a* представлен в позиции после *c* (твердого или мягкого). Интересно, что именно в этой же позиции в восточно-болгарских говорах раньше всего засвидетельствован переход *ǎ* > *'a*, ср. *пецате*, *цало* [Мирчев, 1958, с. 109]. Аналогия с болгарскими говорами нами приведена не случайно, поскольку материалы старославянского и болгарского языков являются, как известно, главным аргументом в пользу широкой, открытой артикуляции **ě* (ср. в связи с этим достаточно категорическое утверждение С. Младенова: «в староболгарском всякая гласная *ǎ* имела звуковое значение *'a*, resp. *'ä*, все остальные произношения, которые встречаются в западных и восточных болгарских говорах, являются ни чем иным, как результатом различных процессов ассимиляции и редукции» [Младенов, 1979, с. 97]). По наблюдениям историков болгарского языка, тенденция к позиционным изменениям **ě* в болгарском языке проявляется достаточно поздно, причем в одних диалектах эти изменения шли в направлении дальнейшего расширения ятевой артикуляции (**ě* > *'a* особенно в ударной позиции перед слогом с твердым согласным), а в других — в направлении ее сужения (**ě* > *e* особенно в позиции без ударения или перед слогом с мягким согласным). Однако оба процесса прошли не последовательно, вследствие чего и сегодня в болгарских диалектах наблюдается большое разнообразие континуантов **ě*. Это разнообразие свидетельствует о том, что изменение ятевой артикуляции не было спонтанным, а во многом зависело от характера фонетического окружения и ударения [Мирчев, 1958, с. 107]. В этой связи хотелось бы еще раз обратить внимание на ситуацию в западноболгарских говорах, где развитие **ě* шло по линии сужения его артикуляции (т. е. так же, как и в некоторых восточнославянских диалектах), что, однако, нисколько не поко-

лебало мнения болгарских историков языка о первоначально широкой артикуляции праславянского **ě*. Попутно отметим, что именно из этой артикуляции исходят и авторы обобщающей карты «Фонетические рефлексy **ě* в позиции дифференциации»: «Исходя из того, что **ě* был гласным долгим в сравнении с **e* и передним в сравнении с **a*, следует признать, что развитие **ě* в наиболее независимой позиции шло в направлении передвижения его артикуляции вверх или вперед» [ОЛА, 1, с. 15]. Таким образом, сама типология эволюции **ě* (в особенности в южнославянском языковом континууме) во многом, как представляется, проясняет ситуацию с его необычным континуантом в виде широкого открытого гласного пониженного подъема в некоторых севернорусских говорах. Думается, что разрешение «загадки **ě*» лежит на путях дальнейшей каталогизации и систематизации материала с последующей строгой его интерпретацией, основанной на дифференцированном подходе к фактам различных славянских языков и диалектов.

Таким образом, карты Общеславянского лингвистического атласа, особенно его обобщающие, интерпретационные карты, которые строятся на основе сравнительно-исторических и лингвогеографических методов исследования, делают возможным развитие «лингвистической геологии» (как остроумно заметил румынский исследователь З. Михаил, 1995, с. 214). Эксплицируя и генерализируя материалы целого тома, они позволяют выявить лингвистическую сущность ареалов, т. е. установить стратиграфию диалектных фактов во времени и пространстве.

Атлас является собранием уникальных материалов, которые еще только начинают изучаться, но которые уже сейчас помогают расширить и уточнить существующие гипотезы о характере тех или иных праславянских элементов. Привлечение данных истории славянских языков позволит внести коррективы в показания лингвистических карт (и прежде всего в плане прояснения рефлексов, перекрытых более поздними изменениями).

Мы не исключаем также, что национальные (а тем более региональные) атласы, имеющие, как известно, более густую сетку населенных пунктов, могут внести дополнения в список рефлексов картографируемого праславянского феномена, причем не только в качественном и количественном выражении, но и в территориальном, в плане расширения ареала того или иного континуанта. Однако все эти уточнения, в том числе их диагностический потенциал, должны рассматриваться только сквозь призму общеславянского контекста, и в этом смысле материалы Атласа бесценны.

В заключение хотелось бы отметить, что информация, содержащаяся на картах Атласа, опровергает скептическое отношение ряда ученых к возможностям лингвистической географии (ср., например, высказывание Н. С. Трубецкого о том, что «всякое отдельно взятое слово, которое обнаруживает какое-то звуковое изменение, распространяется в своих собственных границах и поэтому границы географического распространения звуковых изменений никогда не могут быть установлены надежно и точно» [Трубецкой, 1987, с. 32]). Более того, она, бесспорно, является прочным фундаментом для сравнительно-исторических и синхронно-типологических штудий. Благодаря Атласу современная лингвистическая география переходит на лингвоареальную парадигму исследования, поскольку разрозненная фиксация диалектно-языковых фактов на картах Атласа выстраивается в логически последовательные цепи, отражающие реальную связь изучаемых явлений в пространстве и времени.

Литература

- Бернштейн, 1961 — С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Бородина, 1980 — М. А. Бородина. Развитие ареальных исследований и основные типы ареалов // Взаимодействие лингвистических ареалов. Л., 1980.
- Brozović, Ivić, 1988 — D. Brozović, P. Ivić. Jezik, srpskohrvatski, hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb, 1988.
- Горшкова, 1968 — К. В. Горшкова. Очерк исторической диалектологии русского языка. М., 1968.
- Горшкова, 1972 — К. В. Горшкова. Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
- Дурново, 1969 — Н. Н. Дурново. Введение в историю русского языка. М., 1969.
- Древнерусская грамматика — Древнерусская грамматика XII–XIII вв. М., 1995.
- Ивич, 1958 — П. Ивич. Основные пути развития сербскохорватского вокализма // ВЯ, 1958, № 1.
- Касаткина, 1992 — Р. Ф. Касаткина. Рефлексы *ѣ в некоторых современных севернорусских говорах // ВЯ, 1991, № 2.
- Колесов, 1975 — В. В. Колесов. Фонетические условия заонежского «яканья» // Русские говоры. М., 1975.

- Krajčovič, 1981 — R. Krajčovič. Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava, 1981.
- Мирчев, 1958 — К. Мирчев. Историческа граматика на българския език. София, 1958.
- Михаил, 1995 — З. Михаил. Методология лингвистической географии в сравнительном изучении языков юго-восточной Европы // *Dialectologia slavica*. М., 1995.
- Младенов, 1979 — С. Младенов. История на българския език. София, 1979.
- Пауфошима, 1961 — Р. Ф. Пауфошима. Согласные неполного смягчения перед гласными переднего образования в говорах Харовского района Вологодской области // *Материалы и исследования по русской диалектологии*. М., 1961, вып. 2.
- Ramovš, 1936 — F. Ramovš. Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana, 1936.
- Селищев, 1951 — А. М. Селищев. Старославянский язык. М., 1951.
- Толстой, 1983 — Н. И. Толстой. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // *Ареальные исследования в языкознании и этнографии*. Л., 1983.
- Трубецкой, 1987 — Н. С. Трубецкой. Фонология и лингвистическая география // Н. С. Трубецкой. *Избранные труды по филологии*. М., 1987.
- Флоринский, 1895 — Т. Флоринский. Лекции по славянскому языкознанию. Киев, 1895.

Кр. Илиевска
(Скопле)

Единство староцерковнославянского языка в диалектном многообразии

«Будем едины и станем свободны»

Н. Глубоковский

Для своей миссионерской деятельности славянские первоапостолы Кирилл и Мефодий, точнее младший из братьев, Кирилл, прежде всего создали необходимый инструмент — славянское письмо, названное глаголицей, так как мелкие письменные значки умели «говорить». Эта азбука была составлена из сакральных христианских символов: *крест* — основной знак христианства; *треугольник* — Святая Троица; *круг* — бесконечность; *чаша* — причастие и т. д., так что буквы могли проповедовать наглядно.

Кирилл и Мефодий создавали литературный церковнославянский язык по образцу греческого. Известно, что в основу этого языка был положен славянский говор окрестностей Салоники, который был знаком братьям еще с детства, а также был близок языку, на котором говорили все славяне до того, как разделились на отдельные народы.

По словам Романа Якобсона, разница даже между самыми отдаленными славянскими диалектами в IX в. была минимальной. Славянский говор окрестностей Солоники был ближе языку моравских славян, чем современный британский американскому английскому сегодня¹. Поэтому книги, написанные Кириллом и Мефодием на солунском диалекте, могли быть поняты без труда и славянами в Моравии, и в Киевской Руси. Князь Ростислав с нетерпением ожидал и с радостью встретил святых братьев, так как благодаря им мог слушать слово Божие на своем языке.

Первый литературный славянский язык был богослужебный, письменно оформленный для литургических целей. По средневековым представлениям, язык, на котором совершается литургия, освящается, так как с помощью слов на этом языке происходит чудо: хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа. Причащаясь ими, христиане мистически присоединяются к Христовой церкви, которая также считается телом Христа, составленным из бесчисленного множества частей.

Создание письменности поднимает языки и народы на более высокий уровень, способствуя созданию народной культуры.

Первенцем славянской литературы был выборочный перевод с греческого языка для богослужебных целей Четвероевангелия. Сразу за этим было создано и первое оригинальное поэтическое произведение с дидактическим содержанием. Это «Проглас к святому Евангелию» Константина Философа, написанное как предисловие к переводу Евангелия и объясняющее, какое значение оно имеет для всех славян. Одновременно с этим «Проглас» представляет собой программу апостольской миссии солунских братьев, а также призыв к овладению грамотой всех «безбуквенных народов», которые в то время были лишены возможности восхвалять Бога и читать Евангелие на своем языке. Содержание «Прогласа» — открытая борьба против такого положения дел, благодаря которому большая часть европейских народов держалась в невежестве. Думается, не надо особо подчеркивать, сколько храбрости и дальновзоркости понадобилось Кириллу и Мефодию, чтобы пропагандировать и претворять в жизнь такие идеи.

Идеи Константина Философа о равенстве всех народов и равноправии всех языков, которые были высказаны в «Прогласе», а также на диспуте с латинскими священниками в Венеции, получили всеобщее признание через 1000 лет, когда Мировое библейское общество со своими многочисленными комиссиями и подкомиссиями занялось грандиозным проектом, имеющим в своей основе именно эту идею, — перевести Библию на все языки мира. Константин Философ со своим «Прогласом», о котором В. Н. Топоров² говорит, что это «один из самых ранних памятников славянской книжной поэзии» и «среди оригинальных старославянских текстов самый значительный по объему»³, за 1100 лет определил принципы европейской культурной и языковой общности, согласно которым нет привилегированных народов и языков, а все одинаковы и равноправны. Возглас «Народы словенъсты, слышите слово!» наконец-то был понят и принят в своем универсальном, общечеловеческом значении.

Говоря на эту тему, Николай Глубоковский в своей работе «Славянская Библия»⁴ делает вывод, что мораль Славянской Библии заключена в словах: «Будем едины и станем свободны». Эти же мысли о всеславянском единстве подчеркиваются и в «Прогласе» св. Кирилла:

Хръстьгъ градеть / съвьрати языки,
свьтъгъ во кстьгъ / въсемоу мироу семоу (4–5)

Бога же оубо / познати достонтъ. (8)

К славянским народам он обращается и особо:

Того же дѣла / слышите словѣне, сн. (9)

Слышите оубо / народи словѣньсти
 Слышите слово / отъ бога во приде.
 слово же крѣма / чловѣчьскыа доуша;
 слово же крѣпа / и срѣдце и оумъ,
 слово готова / вьса бога познати.
 яко бесѣта / радость не бждеть
 окоу видаштоу / божныа тварь вьсѣ
 нѣ без лѣпота / не видимок ксть,
 тако и доуша / вьсѣка безъ боукъвъ
 не съвѣдѣшти / ни закона божна... (23–32)

Как уже было сказано выше, св. Кирилл и Мефодий, принимая Моравскую миссию, организовали обширную переводческую деятельность, которая в Моравии еще больше усилилась. Если говорить о качествах этих переводов, то необходимо отметить, что независимо от строгих рамок, нормированных византийским стилем, а также требований, предъявляемых переводчикам церковных текстов, эти переводы в большинстве случаев были творческими, с активным участием переводчиков как редакторов, которые некоторые части сокращали, некоторые изменяли, подробнее объясняли или расширяли⁵.

Ученики св. Кирилла и Мефодия продолжили начатую их учителями переводческую и творческую деятельность. Они так же, как их учителя, в рамках своих возможностей, составляли оригинальные стихиры, тропари, каноны и даже целые службы. Тут прежде всего надо упомянуть имена самых выдающихся их учеников: святых Климента и Наума Охридских, а также св. Константина Преславского, которые, по свидетельствам их Житий, были со славянскими первоучителями с детского возраста, и с самого начала входили в группу седмочисленников⁶. Вероятнее всего, они были монахами в монастыре Полихрон, в котором было более 70 монахов⁷, игуменом которого был св. Мефодий.

Можно только предполагать, с какими проблемами сталкивались великие апостолы культуры и их не менее великие ученики в процессе этой благородной работы. Кроме проблем церковнополитического плана, о которых особо не будем говорить, были и проблемы, связанные с нехваткой богослужебных книг, с поиском нужных слов и форм для передачи именно тех значений или нюансов, которые были необходимы. Даже и сегодня, имея всевозможные

словари и пособия, переводить литературу такого рода довольно сложно. Кроме того, вместе с переводом создавалась и соответствующая славянская терминология, относящаяся к различным областям знаний. Необходимо было также внести и ряд изменений⁸, так как уже в это время складывались определенные расхождения между восточной и западной церквями, а местоположение Моравской епархии обязывало найти какое-нибудь среднее решение, так как она подчинялась непосредственно Риму. Принимая все это во внимание, восхищает быстрота и высокий профессиональный уровень, с которыми делались переводы. Для иллюстрации этого можно привести данные, которые находим в житии Мефодия, о том, что за восемь месяцев были переведены Номоканон и Отческие книги⁹.

Книги, написанные на славянском языке, отвергались приверженцами так называемой «трехязычной ереси». Но на диспуте в Венеции Константин Философ («Житие Константина», гл. 16) вышел победителем. Напоминая, что существуют больше двенадцати¹⁰ различных народов, у которых уже есть своя письменность и которые проповедают слово Божие на своем языке, он упрекает латинских священников в том, что они «закрывают царствие небесное перед людьми; что ни сами туда не входят, ни позволяют войти в него тем, которые хотели бы» (Мат. 23, 13) и что лучше «в церкви сказать пять слов, которые будут понятными, чем тысячу слов на незнакомом языке». «Если я буду говорить на чужом языке и чужим ртом этому народу, он не будет слушать меня», — цитирует он слова Господа Бога (Ис., 28, 11–12), подчеркивая, что проповедь на понятном языке особенно важна «для тех, кто сомневается, для того чтобы перестали сомневаться». «Таковыми и другими, более сильными словами он их пристыдил, оставил и ушел» (Мат., 16. 4), — заканчивает эту главу евангелист.

Как известно, письменный язык, в особенности, когда он предназначен для богослужебного употребления, остается долго без изменений, живой язык подвергается непрерывным переменам. Староцерковнославянский язык имел тенденцию сохраняться в таком виде, в каком был создан, тогда как живая речь в различных славянских диалектных областях все больше и больше удалялась от него. Приспособление церковного официального языка к различным языковым средам (сначала неосознанно, а с XV в. как сознательный процесс) привело к тому, что уже в раннем Средневековье создавались разные редакции. Но в своей основе церковнославянский остался почти таким же. Замена глаголицы кириллицей имела скорее орфографический характер и не внесла сколько-нибудь серьезных изменений в кирилло-мефодиевский язык.

Сегодня русская редакция староцерковнославянского используется всеми славянскими православными народами. Это единство возникло в результате непрерывного, взаимного циркулирования рукописей и старопечатных книг между Балканскими землями и Киевом, Новгородом и другими центрами в России.

Следует также отметить, что благодаря именно Кириллу и Мефодию, между нашими и славянскими народами сложились теплые, дружеские связи. Об этом свидетельствует и такое обращение, которое до сих пор встречается во всех современных славянских языках, как *брате, бате, братец, бра±о, браќа, бай, братя, братец, браток, братья, братушки, братки, братця* и др. С такими словами обращаются как к хорошему другу (соседу, единове́рцу), чтобы подчеркнуть свое доброе, родственное отношение к нему, так и к соседнему, братскому по вере и языку народу.

Все то, что делали и сделали св. Кирилл и Мефодий, было пропитано глубоким чувством любви к Богу, но, может быть, в большей степени — любовью к человечеству (и конкретнее, к славянству вообще). Это ясно видно и из разговора Коснтантина-Кирилла Философа с императором Михаилом III, еще до моравской миссии. Понимая огромное значение предложенной ему миссии, св. Кирилл говорит: «И троуднь сын и вольнь тѣлом, съ радостію ндоу тамо, аще имеютъ боуквы въ языкъ свои» (III, 104/136). Хотя великий учитель, несомненно, очень хорошо понимал, какие трудности его ожидают, желание помочь братскому славянскому народу, чтобы слово Божие не было больше для него «только звуками без смысла», было сильнее и собственной слабости, и болезни, и желания отдохнуть. «Доуша безбоукъвьна / гав'ааетъ сѧ / въ чловѣцѣхъ мрътва», — объясняет он в своем «Прогласе». Эта любовь чувствуется и в каждой написанной или переведенной строке, в каждой хорошо продуманной модификации подлинного текста в переводах, в каждом стихе. Эта любовь чувствуется и в каждом совете или поучении. И эта любовь не осталась без ответа. В сердце каждого славянина Кирилл и Мефодий занимают свое место уже более 1100 лет. Веками славяне и прежде всего балканские славяне на примере своих первоучителей находили силы выдерживать рабство, страдания, несчастья, постигавшие их в жизни. Во имя веры они шли в бой, за веру боролись, за веру умирали. И эта вера сохраняла их как народ, как этнос и тогда, когда условия жизни были невыносимы. Без этой веры, без светлых воспоминаний, которые испокон веков лелеялись в сознании народа, и сегодня, вероятнее всего, мы не могли бы говорить о таком количестве современных, развитых, оформленных славянских язы-

ков. Пример с полабским и лужицкими языками только может подтвердить эти слова. Эта любовь, эта вера, это дело, независимо от различий более одиннадцати веков объединяет славян и составляет ту силу, которая называется славянство.

Поэтому скажем то, что говорят в таких случаях:

Слава им!

Примечания

- ¹ R. Jakobson. The Beginning of National Self-Determination // Selected Writings. VI, 1. Berlin; New York; Amsterdam, 1985, p. 120.
- ² В. Н. Топоров. «Проглас» Константина Философа как образец старославянской поэзии // Славянское и балканское языкознание. М., 1979, с. 28.
- ³ «Проглас» содержит 10 стихов с двенадцатисложной структурой (5 + 7 или 7 + 5), что соответствует и стиху в «Азбучной молитве», и соотносим с ямбическим двенадцатисложником в древнегреческой классической традиции, которая продолжается и в византийскую эпоху. Подробнее см.: В. Н. Топоров. «Проглас» Константина Философа..., с. 32.
- ⁴ Н. Глубоковский. Славянская Библия // Сборник в чест на проф. Любомир Милетич за 70 год. от рождението му. София, 1933, с. 349.
- ⁵ См.: К. Илиевска. По трагите на Методиевиот номоканон // Кирилло-методиевскиот период и кирило-методиевската традиција во Македонија. Скопје, 1988 (там и другая литература по этому вопросу).
- ⁶ A. Zaradija. Sedam učenika sv. Klimenta Rimskog I sedmočislenici // Климент Охридски и улогата на охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета. Скопје, 1989, с. 261–266; П. Хр. Илиевски. Терминот (греч) и состав на групата «св. слов. седмочисленици» // Прилози МАНУ. Одделение за лингвистичка и литературна наука, 18.2. 1993, с. 5–31.
- ⁷ Житие Методиево. Гл. III и IV; Житие Кирилово. Гл. VII; См. также: П. Илиевски. Просветителската мисија на св. Методија // Зборник кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методиевската традиција во Македонија. Скопје, 1988, с. 256.
- ⁸ О некоторых изменениях этого типа (например, сокращение сборника Иоанна Схоластика на одну треть) Вашица (J. Vasica. Metodejuv preklad pomokanonu // Slavia, 1955, № 1, p. 15) справедливо отмечает, что «такая грубая интервенция в традиционном церковно-юридическом памятнике была бы немыслима на территории Восточной церкви. Такое мог разрешить себе только тот, кто не подлежал непосред-

ственному византийскому контролю, а обладал особыми полномочиями». См. также: *Я. Н. Щапов*. Номоканон Мефодия в Великой Моравии и на Руси // Великая Моравия и ее историческое и культурное значение. М., 1985, с. 238–248.

⁹ Подробнее об этом: *К. Илиевска*. По трагите на Методиевиот..., с. 43–49.

¹⁰ Армяне, персы, абазги, ивары, сутды, готы, авары, тирсы, хазары, арабы, египтяне, сирийцы и др. Хотя возможны и некоторые преувеличения, основная мысль ясна — эти народы использовали свой или близкий своему язык, а не греческий, латинский или еврейский, чтобы проповедовать Слово Божие. См.: *Б. Ангелов, Х. Кодов*. Климент Охридский. Събр. съч. София, 1973, т. 3, с. 137–158.

Хроника

«От мифа к истории»: 15-я конференция цикла «Славяне и их соседи»

27–28 мая 1996 г. в Институте славяноведения и балканистики РАН (далее — ИСБ) состоялась очередная, пятнадцатая по счету конференция из цикла «Славяне и их соседи». Данная сессия носила несколько громоздкий подзаголовок: «От мифа к истории. Происхождение и ранняя история славян в общественном сознании позднего Средневековья и раннего Нового времени». Невозможно отрицать, что выбор этой темы был отчасти спровоцирован современной политической ситуацией в странах изучаемого региона, где в исторической науке расцветает новое мифологизирование. Организаторы конференции хотели подвергнуть рассмотрению другой исторический период, когда набирающая силу позитивная наука история соседствовала и причудливо переплеталась с мифологией, но не сознательно конструируемой, как сейчас, а еще неотрефлексированной. Временные рамки, заданные организаторами, охватывали период от позднего Средневековья до Барокко, однако в реальности представленные на конференцию доклады выходили за эти рамки.

Конференцию открыл вступительным словом академик Г. Г. Литаврин. В докладе Д. В. Карнаухова (Новосибирск) «Средневековые интерпретации легенды о славянских прародителях как культурный определитель» сравнивалось бытование легенды о Чехе, Лехе и Русе в польской и чешской раннеисторических традициях. Если автор Великопольской хроники трактует этот миф в родовых и кровнородственных терминах, то чешский хронист Пулкава переосмысливает его в имперско-провиденциальных понятиях. Польский Лех имеет преимущество перед братьями по праву старшинства, а Чехия — центр мира потому, что это «Божья страна». Эта «продвинутая» версия, по мнению докладчика, обязана своим появлением деятельностью Карла IV.

Е. В. Пчелов (Москва) в докладе «Легенда о славянских предках у Длутоша» пытался объяснить, откуда у этого польского хрониста возникла версия, будто русские произошли от поляков. По его мнению, это могло быть связано как с наличием в русской летописи упоминаний о племени полян, так и с использованием арабских источников, где говорилось о родстве русов, западных славян и хазар.

Б. Н. Флоря сделал доклад на тему «Отражение политической мысли польского Средневековья в описаниях древнейшего периода в истории поляков (Кадлубек и Длутош)». Он проследил, как борьба королевской власти и магнатов проецировалась хронистами в древность. При этом, по наблюдению докладчика, построения Кадлубека больше напоминают художественную прозу, а Длутоша — политический трактат.

А. Н. Хлибовская (Луцк) в докладе «Влияние польско-германских отношений на генезис Древнепольского государства: историографический аспект» суммировала взгляды современных польских исследователей на роль германских влияний в истории польской государственности.

Вечернее заседание 27 мая открыл А. С. Мильников (Санкт-Петербург) докладом «Славянские этногенетические легенды: место и роль в эволюции исторического познания». Он анализировал эпонимические легенды славян в сопоставлении с другими видами мифологического самоутверждения, в частности, поисками библейских первопредков славян, а также ссылками на авторитет Александра Македонского. В докладе специально рассматривалась история любопытного фальсификата: так называемой грамоты Александра славянам, в которой он якобы легитимизировал границы славянства.

С. А. Иванов представил доклад на тему «Начальная стадия изучения Прокопия Кесарийского как источника по славянской истории». В нем прослеживалось, как в Италии, Германии и Франции начиналось изучение византийских авторов и постепенно формировался тот корпус источников, в частности, по истории славян, который находится в научном обороте и поныне. Докладчик далее перешел к далматинской историографии той же эпохи и показал, как в ней западные позитивистские влияния смешивались с традиционными мифологизированными преданиями. Курьезный гибрид того и другого — фальсифицированное И. Марнавичем «Житие Юстиниана».

В докладе О. А. Родионова «Житие как легенда и как история: несколько слов о проблеме историзма житийных повествований (на примере византийских и славянских памятников)» сравнивались греческие агиографические сочинения XIV в. и жития Саввы Сербского и Сергия Радонежского. По мнению докладчика, в риторизованном стиле византийцев находится место для конкретно-исторических деталей, тогда как на славянской почве даже рассказ о реальных событиях переносится в символическую плоскость.

А. А. Турилов выступил с докладом «Древнейшая история славян и Руси в „Книге степенной царского родословия“ (хронология, круг источников, их отбор и использование)». Он проследил, как работает с источниками составитель Степенной книги (XVI в.) и как это характеризует уровень эрудированности и тенденциозность московского книжника. Докладчик сделал также ряд тонких замечаний о том, как осуществлялся в XV–XVI вв. переход от летописания к историописанию.

Доклад О. И. Князького и Г. С. Рыкиной «Киевская Русь глазами москвиты» был зачитан Князьким. В нем проводилась мысль, что киевское прошлое хотя и не было забыто в период Московской Руси, но осмыслялось в «московском» духе. Так, Илья Муромец из знатного рыцаря, каким он реконструируется по скандинавским сагам, становится «крестьянским сыном» и ведет себя, как «голь кабацкая».

Заседание 28 мая открыл Г. П. Мельников докладом «Кирилло-мефодиевская проблематика в „Чешской хронике“ Вацлава Гаека: от легенды к легенде». Рассмотрев это сочинение XVI в., докладчик предложил характеризовать его как исторический роман. Обстоятельства кирилло-мефодиевской миссии изложены Гаеком таким образом, чтобы подчеркнуть общехристианский характер этого наследия, равно принадлежащего обеим конфессиям Чешского государства.

Доклад А. В. Лаврентьева и А. А. Турилова «„Повесть о Словене и Русе“ („Сказание о Великом Словенске“) о происхождении и ранней истории славян Руси» был зачитан А. А. Туриловым. Рассматриваемый докладчиками памятник был создан в XVII в. в Новгороде. В нем на основе разнохарактерных и разноязычных источников делалась попытка сконструировать древнейшую славянскую историю от Иафета до переселения народов. В отличие от Русского Хронографа, автор памятника стремился поставить русскую историю в общеславянский и общемировой контекст. Сочинение носит откровенно антикиевский характер. Его автором докладчики видят Киприана, архимандрита Хутынского монастыря.

Доклад Т. А. Опариной (Новосибирск) назывался «Тема наследия св. Владимира в трактовке московской „Книги о вере“ (1648)». Она анализировала украинско-белорусское сочинение Захария Копыстенского «Палинодия», в котором отвергалась московская мифология истории, а Киевская митрополия наследовала всю благодать Римского святого престола. Последующее церковное и политическое развитие в восточнославянских землях привело, однако, к тому, что московская «Книга о вере», воплотившая мессианские и панславистские чаяния Алексея Михайловича, опиралась как раз на «Палинодию». Резкий переход от полного отвержения украинцев-белорусов к их интеграции стал одной из причин раскола.

С. П. Щавелев (Курск) сделал доклад о «Феномене кладоискательства на юге России в предыстории славянской археологии», на материале источников проследив, как из практической заинтересованности в поиске богатств постепенно выкристаллизовывается «абстрактная» научная любознательность.

Д. И. Польшвинный (Иваново) рассказал о «Средневековых культурных традициях в болгарской историографии XVIII в.». С точки зрения докладчика, Паисий Хилендарский, Зографский аноним и Спиридон опирались на афонскую историческую традицию, которая пережила болгарскую государственность.

И. Ф. Макарова представила доклад на тему «Болгарский субстрат в России: мифы Нового времени». Рассмотрев фольклорный материал, принадлежавший болгарам в XIX в., докладчица сделала вывод, что тенденцией устного мифотворчества была «болгаризация» русской истории и царской династии.

Последним был заслушан доклад А. В. Свирновской «Представления о Востоке и Западе в России (петровская и допетровская эпоха)». Она также опиралась на фольклорный и сказочный материал, в котором Восток фигурировал как счастливый и благочестивый край, а Запад — как край зла и нечестия. Специальное внимание было уделено фольклорному образу Петра Великого.

Каждое заседание завершалось оживленным обсуждением, особенно плодотворной, когда друг за другом следовали доклады на схожие темы. В заключительной дискуссии были подведены итоги конференции. Участники конференции были едины во мнении, что с современным околоисторическим мифотворчеством невозможно бороться на его поле, путем

полемики и опровержений. Единственный эффективный метод — это грамотная популяризация и честная наука.

С. А. Иванов

«Путь из варяг в греки»: проблемы этнокультурного взаимодействия в средневековом мире

27–29 мая 1996 г. в Москве проходила Международная научная конференция «Путь из варяг в греки», организованная Государственным историческим музеем, Институтом славяноведения и балканистики РАН (далее — ИСБ) и кафедрой археологии исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова при благожелательной поддержке Посольства Греции и Посольства Швеции в России.

Начало конференции было приурочено к открытию выставки «Путь из варяг в греки и из грек...» в филиале Исторического музея в Новодевичьем монастыре. Экспозиция выставки стала неотъемлемой частью рабочей программы конференции, во всем разнообразии представив предметный мир эпохи (IX–XI вв.), отразившийся в образцах материальной культуры, произведениях прикладного искусства, памятниках книжности. Значительную часть экспонатов составили археологические находки из Гнездова, одного из самых значительных культурных центров Руси, расположенных на «пути из варяг в греки». В период X–XI вв. Гнездово играло роль своеобразного перекрестка торговых и культурных путей Восточной Европы. Материалы выставки нашли отражение в красочном каталоге, изданном при финансовой поддержке Посольств Греции и Швеции в Москве.

Участники конференции — историки, археологи, филологи из России, Швеции, Норвегии, Великобритании, Латвии, Литвы, Украины обсудили широкий круг вопросов, касающихся самого феномена «пути из варяг в греки», трансформировавшегося в ходе истории из дороги войны в дорогу культуры и цивилизации, ставшего связующим звеном между государствами Северной Европы, Русью и Византией, открывшего движение народов к новым духовным ценностям. На конференции был представлен целый блок сообщений, посвященных историческим центрам, находившимся в рассматриваемый период на «Пути из варяг в греки» — от Скандинавии до Царьграда (Константинополя). Ряд докладов отразил проблему диалога культур в сфере формирования государственности, христианизации народов Руси и Скандинавии. Материалы конференции были представлены участникам и гостям в виде предварительной публикации.

С вступительным словом, открывающим конференцию, выступил Г. Г. Литаврин. Он подчеркнул непреходящую актуальность межэтнического и культурного взаимодействия на международном пути: главной зоной этого взаимодействия стала Восточная Европа — Русь. Византия сама проявляла немалую заинтересованность в союзнических отноше-

ях с Русью и варягами — недаром русь и варяги, служившие в Византии, именовались не наемниками, а союзниками.

Вводный доклад «„Путь из варяг в греки“ и становление древнерусской государственности» Е. А. Мельниковой (Институт Российской истории, Москва) и В. Я. Петрухина прочел В. Я. Петрухин. Начало функционирования пути связано, по мнению докладчиков, с процессами становления Русского государства — призванием «по ряду» варяжских князей в Ладогу и Новгород, утверждением Олега в Киеве и Среднем Поднепровье, основных базах последующих экспедиций в Византию. Общегосударственные предприятия, связанные с путем из варяг в греки, были невозможны без государственной структуры, опирающейся на целую сеть населенных пунктов, где кормилась и собирала суда для похода княжеская дружина: недаром раннескандинавское название Руси — «Гарды» (*Gardar*) — означало, видимо, сеть таких пунктов. Тот же компонент — *gardr* включали и наименования основных центров на пути из варяг в греки — Новгород (*Хольмгард*), Киев (*Кенугард*), сам Константинополь (*Миклагард*).

Одному из главных археологических памятников на пути из варяг в греки — Гнездовскому поселению — был посвящен доклад Т. А. Пушкиной (кафедра археологии исторического факультета МГУ), руководящей раскопками в Гнездове. Поселение, в свете данных раскопок, возникло на рубеже IX–X вв. и к середине X в. стало крупнейшим торгово-ремесленным центром (общая площадь — 15 га) со смешанным славянским и скандинавским населением. Находки на поселении свидетельствуют о развитии гончарного, кузнечного, бронзолитейного, косторезного и других ремесел, клады и находки весов и гирек — о развитии торговли. В крупнейшем в раннесредневековой Европе некрополе (до 4000 курганов) помимо погребений, принадлежавших дружинным верхам, обнаружены и первые христианские могилы. Все это позволяет относить Гнездово X в. к крупнейшим поселениям на пути из варяг в греки, сопоставимым с Биркой в Швеции, Ладогой, Новгородом и Киевом на Руси.

Е. Н. Носов (Институт истории материальной культуры, Санкт-Петербург) в докладе «Проблемы урбанизации Древней Руси и Скандинавии в эпоху раннего Средневековья» напомнил о предложенной еще в начале века В. О. Ключевским концепции становления русских городов под влиянием и в связи с развитием внешней торговли. Подкрепляя данное положение новыми археологическими находками, докладчик предложил свою схему развития первых городов на севере Руси (Ладога, Рюриково городище, Гнездово), которое было обусловлено проходившим через эти районы торговым путем между Балтикой и исламским Востоком. С самого начала своего существования эти городские центры были ориентированы на обслуживание торгового пути, отличались развитой ремесленной деятельностью, торговлей, судостроением. В дискуссии (В. Я. Петрухин) было отмечено, что без прочной базы для «кормления» дружинников и торговцев никакие регулярные торговые предприятия были бы невозможны.

И. Янссон (Стокгольмский университет), один из инициаторов сотрудничества российских и шведских археологов, принимающий участие в исследовании Гнездова и Новгородского Городища, посвятил свой доклад проблеме полиэтничных сообществ в раннесредневековых Скандинавии и Руси. Несмотря на видимую полиэтничность материальной культуры Хедебю и Бирки, Гнездова и Тимерева, население таких центров, по мнению И. Янссона, было достаточно консолидированным, чтобы относить себя к единой этнокультурной группе: в Восточной Европе такая группа, возглавляемая скандинавскими представителями, восприняла от выходцев из Скандинавии название «русь». Полная славянизация этой общности была связана с распространением христианства на Руси.

Далее участники конференции проследовали по «Пути из варяг в греки», почти так, как он описан в «Повести временных лет». «Скандинавской» тематике были посвящены доклады коллег из Швеции, Норвегии, Великобритании. В. Дучко (Упсальский университет) выступил с докладом о символах власти в Древнерусском государстве. Он рассмотрел монеты и привески с древнейшими княжескими знаками — двузубцами и трезубцами — и сопровождающие их символы: изображения языческих символов (молот Тора), предметов вооружения и т. п. атрибутов воинского (дружинного) быта. Эти символы свойственны и древнерусской, и скандинавской раннегосударственным традициям: но главный из них — княжеский «знак Рюриковичей» — имеет, по мнению В. Дучко, хазарские истоки: восходит к тамгообразным знакам Северного Причерноморья. Это выступление было удачно дополнено докладом Н. Прайса (Великобритания, стажер Упсальского университета) о соответствующих символах в Англии англо-саксонского периода и эпохи викингов (предметы вооружения на монетах, надгробиях и т. п.). В прениях по докладам (В. Я. Петрухин) было обращено внимание на то, что сходство раннегосударственной символики на севере и востоке Европы — в Англии, Скандинавии и на Руси — соответствует этнокультурным представлениям этой эпохи, донесенным «Повестью временных лет»: Нестор относил начальную русь, свеев и англов к варяжским народам.

А.-С. Грэслунд (Упсальский университет) в докладе «Рунические надписи и восточное влияние на процесс христианизации в Швеции» отметила, что, несмотря на достаточно частые находки предметов христианского культа, происходящих с Востока — из Руси и Византии, церковная организация была создана западноевропейскими миссионерами. Рунические надписи свидетельствуют, что и в XI в. восточный путь — вплоть до Иерусалима — был хорошо известен в Швеции.

В докладе Л. Тунмарк-Нюлен (Исторический музей, Стокгольм) «Готланд и Русь в эпоху викингов и в XII в.» были выявлены принципиальные различия в характере связей между разными регионами Скандинавии и Русью. На Руси почти нет находок с Готланда — абсолютно преобладают находки из Средней Швеции: готландцы не селились на Руси, а по преимуществу участвовали в торговых экспедициях, из которых привозили на родину не только серебро, но и «сувениры», относящиеся в основном к мужскому костюму (пояса и т. п.).

Доклад Л.-К.Кенигссона (Уппсальский университет) «Славянские племена и викинги. Развитие культурного ландшафта в Новгородской земле» был посвящен результатам палеоботанических исследований, проводившихся в 1993 и 1995 гг. в Новгороде и отчасти в Гнездове. Эти исследования позволяют совершенно по-новому представить развитие агрикультуры в Восточной Европе: становление производящего хозяйства относится уже к эпохе неолита, новое развитие сельское хозяйство получило в VIII–IX вв., в эпоху славянской колонизации.

Доклады коллег из стран Балтии подробно осветили историю и развитие одного из важнейших ответвлений «пути из варяг в греки» — Западнотвинского или Даугавского пути. А. Радиньш (Исторический музей, Рига) в докладе «Центры X— начала XIII вв. на Даугавском пути — общее и различное» рассказал о Даугаве как о важной составной части пути из варяг в греки, на которой находились поселения ливов, латгалов, земгалов, селов, кривичей. В X в. в низовьях Даугавы образовалась определенная система хорошо укрепленных городищ, причем каждая из этнических единиц старалась создать свой центр для контроля Даугавского пути. Ситуация в верховьях Даугавы была иной вследствие славянизации этой территории в X в. Докладчик отметил, что река Даугава под названием *Дуна* встречается в скандинавских письменных источниках — в рунических надписях, сагах, географических описаниях. Это свидетельство того, что скандинавам хорошо был известен подход к Даугавскому пути в Рижском заливе. Доклад Г.Земитиса (Исторический музей, Рига) «Даугмале — поселение городского типа в нижнем течении Даугавы (X–XII вв.)» был посвящен археологическому комплексу (городище, два грунтовых могильника, древний порт), расположенному при впадении Даугавы в Балтийское море. Многие признаки позволяют характеризовать Даугмальский комплекс как ранний город — «вик» с интенсивными торговыми связями. В.Казакявичюс (Вильнюс) в докладе «Вооружение балтов в эпоху викингов: между Востоком и Западом» сообщил о стилевых особенностях оружия балтийских племен (мечи, топоры, копья, ножи, щиты и т. д.), которые сложились в результате контактов со славянами и германцами и сформировали в конечном итоге уникальный стиль, характерный только для Балтийского региона.

Доклад В.Н.Зоценко и А.П.Моци (Киев) «Среднее Поднепровье в системе прибалтийских связей конца I — первой половины II тысячелетия» был посвящен роли важнейшего участка международного пути — Днепровского. Авторы выделяют три этапа во взаимоотношениях Среднего Поднепровья, Южной Прибалтики и Скандинавии, совпадающих в основном со стадиями развития государственных институтов в среде южных группировок восточного славянства. В IX в. происходит становление связей между регионами; в продвижении на юг норманны использовали путь по речным системам Немана, Вислы, Днепра. В конце IX — середине X вв. расширяется варяжское присутствие в Киеве, а также появляется финно-угорская прослойка, о чем свидетельствуют материалы киевских погребений этого периода. К этому времени приурочен расцвет «пути из

варяг в греки», когда Днепровская система превратилась в единый тракт водных сообщений между Балтийским и Черным морями (со связующим пунктом в Гнездове). Третий этап прибалтийско-среднеднепровских связей приходится на вторую половину XI — начало XIII вв.; в конце этого периода конфедерацией Южной Руси и Смоленском были заключены договора с Литвой, а рядом северорусских городов — с Готским берегом и Ригой.

Заключительный день конференции был посвящен тематике, отражающей влияние исторического «пути из варяг в греки» на изобразительное искусство, книжность и духовную культуру. Л. А. Беляев (Москва) в докладе «Международные пути и художественные импульсы (проблемы взаимодействия художественных стилей на территории древнерусских княжеств в X–XIV вв.)» охарактеризовал перемены в направлении художественных контактов на протяжении первых трех веков истории Древней Руси, а также зависимость этих перемен от развития макросистемы коммуникаций Европы. Меридиональная направленность художественных контактов вдоль Днепровского пути к середине XI в. постепенно преобразуется, и движение с Запада на Восток начинает ощущаться в гораздо большей степени. В качестве подтверждения концепции в докладе была приведена картография некоторых артефактов (каменных саркофагов). Доклад В. В. Мурашовой (Москва) «Особенности бытования скандинавских ремennых накладок на территории Древней Руси» был посвящен специфике декора, технологии изготовления, распространения в археологических памятниках различных украшений воинского наборного пояса и конской узда. Отмечалось, что среди всех древнерусских памятников по количеству и разнообразию находок скандинавских ремennых накладок первое место занимает Гнездово, что свидетельствует о масштабности варяжского присутствия в этом регионе. Оживленную дискуссию вызвала высказанная в докладе точка зрения о происхождении так называемых «вещей-гибридов», сочетающих черты разных традиций (например, скандинавской и хазарской). Специальный интерес вызвал доклад С. А. Ивановой о церкви Ильи в Киеве, упомянутой в ПВЛ в связи с заключением договора руси с греками в 944 г. Автор с полным основанием поставил под сомнение ставшее общим местом представление о том, что Илья стал популярен на Руси в силу сходства функций библейского пророка и языческого Перуна. Культ Ильи и посвященные ему церкви были характерны для Византии конца IX — начала X в., крещеная русь следовала греческой традиции. В. Зоценко, выступая по докладу, отметил, что церковь Ильи вообще трудно локализовать в Киеве, если опираться на данные раскопок и микротопонимии. Возможно, христианская русь клялась соблюдать договор не в Киеве, а в самом Царьграде.

В заключительной дискуссии по итогам конференции выступавшие (Т. Пушкина, В. Дучко, А. Радиньш, В. Петрухин) были едины в оценке конференции как весьма продуктивной и наметили перспективу дальнейшей совместной работы по исследованию этнокультурного взаимодействия трех регионов — Восточной Европы, Прибалтики и Скан-

динавии. Намечено провести следующую конференцию, посвященную, в частности, изучению крупного торгово-ремесленного центра раннесредневековой Прибалтики — городища Даугмале — в Латвии.

О. В. Белова, В. Я. Петрухин

Славянская идея в портретах ее идеологов и интерпретаторов

Под таким названием 28 мая 1996 г. в Институте славяноведения и балканистики РАН состоялся Круглый стол в рамках Дней славянской письменности и культуры. Это уже четвертая конференция по проблемам славянской идеологии. Идеиным вдохновителем данных конференций был покойный профессор В. А. Дьяков.

Если предметом рассмотрения предыдущих конференций были проявления славянской идеологии внутри общественно-политических движений и течений славянских стран на различных славянских съездах, то теперь славянская идея анализировалась через призму мировоззрения отдельных личностей — ее главных идеологов и интерпретаторов — как в России, так и в славянских странах. Всего было прочитано 19 докладов.

С вводным словом о значении проблематики конференции выступил ее ведущий — канд. ист. наук М. А. Робинсон. Доклад д-ра ист. наук И. И. Лещиловской был посвящен Захарии Орфелену, сербскому ученому и общественно-культурному деятелю XVIII в., в мировоззрении и практической деятельности которого славянская тема еще не была достаточно выражена и проявлялась в его интересе к проблеме происхождения славян и интересе к русской культуре.

В докладе канд. филол. наук В. В. Усачевой о «русской тройке» в Галиции рассматривалась практическая деятельность М. Шашкевича, И. Вагилевича, Я. Головацкого по воплощению романтических идеалов славянской взаимности Я. Коллара, опиравшаяся во многом на труды их предшественников (так называемой «перемышльской группы»).

Канд. ист. наук О. В. Павленко (РГГУ) в докладе о чешском публицисте и общественно-политическом деятеле К. Гавличке-Боровском проследила эволюцию его взглядов по славянскому вопросу от ревнителя славянской идеи и поклонника славянофилов до превращения в идеолога чешской национальной идеи, разрабатывающего различные проекты славянской федерации, вплоть до австрофедерализма.

Д-р филол. наук Л. Н. Смирнов посвятил свой доклад мировоззрению словацкого культурного и общественного деятеля Яна Паларика, развивавшего колларовские идеи славянской взаимности в условиях политической реакции в Австрийской империи 50-х годов XIX в. в сторону все большей их национальной идентификации.

В докладе д-ра ист. наук С. М. Фалькович говорилось о польском политическом деятеле, экономисте Г. Катеньском (1813–1865), который в

рамках своего умеренно-демократического мировоззрения разрабатывал проекты союза Польши с Украиной и другими славянскими землями, развивал идеи «цивилизированной миссии» поляков по отношению к России.

О славянской идее в мировоззрении черногорского владыки Петра Негоша шла речь в докладе канд. ист. наук Ю. П. Аншакова (Саратовский пединститут) и Н. И. Хитровой (ИРИРАН). В докладе д-ра ист. наук И. В. Чуркиной рассматривалась славянская направленность деятельности словенского общественно-политического деятеля Матии Маяра. Как идеолог и практик концепции объединенного сербского народа характеризовался сербский политический деятель Илия Гарашанин в докладе канд. ист. наук А. В. Карасева.

Разные аспекты славянской идеологии в мировоззрении и практической деятельности политиков, ученых, публицистов второй половины XIX — начала XX в. рассматривались в докладах канд. ист. наук А. Л. Шемякина (о сербском радикале Николе Пашиче), канд. ист. наук Г. В. Роккиной (Пединститут, Йошкар-Ола) (о панславизме в творчестве русина А. Добрянского), канд. ист. наук Е. Ф. Фирсова (МГУ) (о панславистских тенденциях в деятельности в России хорвата К. Геруца).

В остальных докладах анализировались разные аспекты славянской идеологии в мировоззрении российских ученых и общественно-политических деятелей как преимущественно славянофильской и панславистской ориентации: А. Ф. Гильфердинга (д-р ист. наук Л. П. Лаптева, МГУ), Н. А. Попова (канд. ист. наук И. Г. Воробьева, Тверской ГУ), А. А. Киреева (д-р ист. наук В. М. Хевролина, ИРИРАН), В. И. Ламанского (канд. ист. наук М. А. Робинсон); так и либерально-демократической ориентации: А. Н. Пыпина (канд. ист. наук Е. П. Аксенова).

Несколько неожиданно тема славянского единства и сотрудничества применительно к творчеству известного русского естествоиспытателя, академика В. И. Вернадского, была поднята в докладе канд. ист. наук А. Н. Горяинова, рассмотревшего его размышления по славянскому вопросу.

Наконец, канд. ист. наук М. Ю. Досталь коснулась в своем докладе темы интерпретации славянской идеи в среде российской эмиграции в межвоенной Чехословакии на примере публицистики Е. Ю. Перфецкого, известного ученого-карпатоведа.

В дискуссии обсуждались проблемы интерпретации понятия «панславизм», «украинофильство» и др. Ответственный секретарь международного общества «Славяне» Ю. Т. Дрожжин призвал участников конференции продолжать изучение вопросов славянской идеологии, приобретших в настоящее время особую актуальность. По его словам, наше общество нуждается в работах, объективно и научно взвешенно освещающих разные аспекты развития славянской идеи. Для этого необходимо издание сборников статей, хрестоматий, монографий, организация выставок и пр.

По материалам данной конференции (как и предыдущих), предполагается подготовить сборник статей. Предметом рассмотрения следующих конференций может стать тема интерпретации славянской идеи в

периодических изданиях XIX—XX вв. и ее воплощение в деятельности различных славянских организаций и обществ.

М. Ю. Досталь

Конференция «Автопортрет славянина»

28–29 мая 1966 г. в рамках Дней славянской письменности и культуры в Институте славяноведения и балканистики РАН прошла международная конференция «Автопортрет славянина», организованная отделом истории культуры. В ней приняли участие ученые России, Украины, Чехии, Венгрии. Было заслушано 25 докладов.

Открывая научное заседание, Л. А. Софронова отметила, что конференция продолжает и развивает проблематику предыдущих научных конференций отдела: «Человек в контексте культуры» (1990 г.) и «Миф в культуре: человек — не-человек» (1994). Основной целью нынешней конференции призвана стать реконструкция представлений славянских народов о самих себе, или их «автопортретов». Эти представления, по форме самоописания или самоистолкования, присутствуют в различных текстах: в народной славянской мифологии (прежде всего в этиологических мифах), в мифологии национальной; в литературе и искусстве разных историко-культурных эпох, в философских построениях и текстах официальной пропаганды, в бытовых анекдотах и т. д. Вычленение из этих текстов культуры представлений человека о самом себе как носителя национального начала, представителе определенного этноса, оказывается чрезвычайно важным для исследователя.

Докладом, придавшим тематике конференции проблемную глубину, стал доклад Г. Д. Гачева «Ипостаси болгарина: Алеко и Бай Ганю, или: как портрет убил художника». В выступлении затрагивалась тема механизма процесса самопознания, в котором наиболее действенным, по мнению ученого, оказывался принцип противопоставления, основанный на действии оппозиции «свой — чужой». Этот принцип был использован Г. Д. Гачевым на болгарском материале и, в частности, при анализе творчества Алеко Константинова. Центральный персонаж его произведений, Бай Ганю, оказывается не только «результатом наружных наблюдений писателя над типами эпохи», но извлечен из глубин души автора как «свое другое». Проводя сравнение этих двух образов: классического образа болгарина в лице Бай Ганю и самого А. Константинова, ставшего в глазах современников образом-мифом, — ученый последовательно проводит мысль о том, что, взаимно дополняя друг друга, они образуют некий тандем, позволяющий представить широкий спектр характерных черт болгарина.

В докладе Л. А. Софроновой «Автопортрет славянина» на материале «Лекций по славянской литературе» и других произведений А. Мицкевича, где он выступал и как историк, и как поэт, были прослежены его воззрения на славян, выявлены особенности романтического подхода к ранней сла-

вянской истории. В выступлении была не только проанализирована предложенная автором «Лекций» этимология этнонима *славяне*, но и сделана попытка выявить собирательный антропологический и психологический портреты славян с учетом значительных материалов по этнографии и истории, принципов расселения народов и созданных ими идеологических мифов. Мифологическая история славянства в духе романтизма, созданная А. Мицкевичем, становится, по убеждению автора выступления, основой для формирования идеального портрета поляка, который строится на основе оппозиции «свой — чужой»: поляки — русские, поляки — литовцы, поляки — татары и т. д.

О двух тенденциях в истории культуры, связанных с процессом самопознания и самосознания, а именно: противопоставлении и отождествлении образа и идеала на примере идеализации образа русского по античным канонам — говорила в своем выступлении «Росс римлянином» И. И. Свирида. По ее мнению, в разные эпохи соотношение этих тенденций складывалось по-разному. И если в одни эпохи критическая струя в самоописании превалирует, то в другие доминирует завышенная самооценка.

Некоторые особенности архаического литературного творчества, а именно «подразумеваемость и неопределенность качеств» на примере описания внешности человека в древнерусской летописи начала XIII в. были рассмотрены в докладе А. С. Демина (ИМЛИ). В качестве основы творчества летописца выделялось то, что в своих характеристиках он гораздо больше подразумевал, чем прямо сообщал: с другой стороны, летописец, по мнению докладчика, не имел специальной «философии внешности», поэтому четкой границы между внешним и внутренним не проводилось, а иногда упоминание внешности оказывалось в действительности обозначением черты характера летописного героя.

Доклад Л. А. Тульцевой (Институт этнологии и антропологии РАН) «Ритуальная грамотность как основа личностной характеристики русского крестьянина» обозначил не только социально-культурный аспект самой категории «ритуальная грамотность», а именно ее функцию своеобразной копилки духовных ресурсов крестьянского социума, но и важность ритуалов и обрядов, сохранение которых способствовало сложности этнической духовности.

Большой блок докладов был посвящен «русской» теме. Доклад Ю. И. Ритчика «Физиономия русского в „Хрестоматии для взрослых“ К. Скальковского (1904 г.)» представил собранные в тематические блоки высказывания русских о самих себе: о русской душе и характере, о стране и народе, правительстве и славянском вопросе, просвещении и науке и т. д. Перебрасывая мостик от рубежа XIX–XX вв. к настоящему времени, автор выступления добавляет «новые старые штрихи к русскому портрету», используя высказывания наших современников, известных деятелей науки и культуры. Доклад Л. Немети (Будапешт) «Забавно и больно» посвящен анализу II тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, текст которого позволяет, по мнению ученого, выделить несколько ярких развернутых

портретов русского национального характера. О месте в истории русской культуры Гр. С. Петрова, известного на рубеже XIX–XX вв. проповедника и публициста, говорила в своем докладе «Русские о русских» Н. М. Куренная. В своих трудах он отводил много внимания реконструкции историко-психологического образа русского человека, проблеме славянства и характеристике сходств и различий русских с другими славянскими и неславянскими народами: сербами, болгарами, китайцами, немцами, французами и т. д. При этом важно, что портрет русского характера у Петрова развивается, постепенно приобретая новые черты. Так, в работах 1910-х гг. отдельные характеристики становятся подчеркнуто жесткими с преобладанием черно-серых тонов, что, по мнению ученого, свидетельствует о стремлении Петрова инициировать процесс национального самосознания.

К этой группе докладов примыкают выступления, в которых тема конференции получила развитие на материале искусства разных историко-культурных эпох. В докладе Е. Б. Громовой «Росписи на исторические темы в здании Исторического музея Москвы» на примере работ художников рубежа XIX–XX вв. (В. Серова, В. Васнецова и др.) предпринята попытка выявить основные аспекты становления русского национального стиля. Доклад Т. В. Юденковой (Институт искусствознания) «Духовный автопортрет русского общества в русской живописи 70-х — 80-х гг. XIX в.» затронул не только проблему особенностей художественной культуры XIX в. как культуры «высокого напряжения», за которой прочно укрепилось понятие «самоговорящей», самосознающей культуры, но и обозначил некоторые вопросы художественного самосознания в основном на материале ключевых картин русской живописи второй половины века («Христос в пустыне» И. Н. Крамского, «Не ждали» И. Е. Репина, «Что есть истина?» Н. Н. Ге), избранных автором не по формально-стилевому признаку, а по духовно-нравственной ориентации. О том, как в границах национальных культур (прежде всего русской) реализуются общеевропейские тенденции развития костюма и как соединение национальной и общеевропейской традиций в одежде и бытовом поведении воспринималось европейцем и человеком русской культуры в XVIII–XIX вв., шла речь в докладе Р. М. Кирсановой (Институт искусствознания) «Костюм как средство национальной идентификации».

Доклад Л. И. Тананаевой (Институт искусствознания) «Сармат и смерть. К семантике надгробного портрета» был посвящен месту сарматского портрета как автопортрета поляка эпохи сарматизма в истории культуры. Из всего комплекса подобных произведений автор выделяет уникальные, не имеющие аналогов в европейском искусстве надгробные портреты, получившие широкое распространение в XVII–XVIII вв. Сравнение со светским сарматским портретом той эпохи позволило докладчице выделить специфические особенности надгробного портрета. Возникший в самой сердцевине сакрального действия и ограниченный условиями церковного ритуала, он оказался более свободным в передаче живого характера, более демократичным и психологическим, лишенным

тех черт идеализации, которые были свойственны светскому сарматскому портрету. Польскую тему на материале живописи продолжила О. В. Турбаевская (Институт искусствознания). На примере эволюции автопортретов Ст. Выспанского 1901–1907-х гг. она рассмотрела эволюцию характерных черт личности и психологического состояния польского интеллигента рубежа XIX—XX вв. от лирически-созерцательного к трагически-индивидуальному.

Доклад Л. Е. Горизонтова «Вопрос о национальной природе „разрушительных начал“ в русско-польской полемике XIX в.» касался анализа сложившихся представлений в русской и польской общественной мысли об источнике и носителе революции в Российской империи в период после восстания 1830 г. Эти представления, обусловленные национальной традицией и различными мировоззренческими системами, легли, по мнению автора, в основу национальных стереотипов, в том числе автостереотипов, определили специфику межнациональных отношений в рамках одного государства и оказали воздействие на формирование европейской общественной мысли о России. Попытка типологического сравнения национальной политики многонациональных империй России и Австро-Венгрии была предпринята в докладе Е. Н. Масленниковой «Российские оценки положения славян в Австро-Венгрии». Оценив национальную политику России как флективную, а политику Австро-Венгрии как агглютинативную, автор основное внимание сосредоточила на отражении проблемы положения славян на территории Австро-Венгрии в работах К. Я. Грота, Е. Витте, а также в русской периодической печати. Жесткую позицию авторов публикаций докладчица склонна рассматривать как отражение процесса развития национального самосознания.

На конференции была широко представлена также чешская и словацкая проблематика. В выступлении Л. Н. Титовой «Ян Коллар о славянах» на материале произведений знаменитого словака последовательно выявлены основные черты созданного им идеального образа славянина, а также подчеркнута огромная значимость его работ не только для изучения движения славянской взаимности, но и для исследования проблемы «автопортрета» славянина. В центре доклада Я. Панека (Прага) «Автопортрет чешского дворянина на пороге Нового времени (Ян Заиц из Газмбурка между сарматизмом и Западной Европой)» — анализ сочинений чешского аристократа первой половины XVI в., которые дают представления о самосознании той части чешской шляхты, которая «колебалась между средневековыми рыцарскими идеалами и маньеристическим крушением принципов, между предреформационным католицизмом и его барочной инновацией». Все это, по мнению ученого, определяет портрет чешского дворянина на рубеже Средневековья и Нового времени, сочетающего специфику восточноевропейской дворянской ментальности с элементами западноевропейского сознания. Комплекс проблем, также связанных с национальной чешской аутоидентификацией, с представлениями о специфике чешского характера, его основных чертах, общественно-исторических и религиозных идеалах нашел отра-

жение в докладе Г. П. Мельникова «Представления о национальных особенностях у поздних чешских гуманистов». Анализ сочинений Даниэля Адама из Валеславина, Сикста из Оттердорфа, Яна Кампануса позволил автору создать весьма четкое представление о «комплексе чешскости», связанном со спецификой патриотического сознания конца XVI в., о реальном состоянии и нормативном идеале носителей этого сознания.

«Болгарская» тема, помимо выступления Г. Д. Гачева, получила развитие в докладах В. И. Злыднева и В. В. Николаенко. В. И. Злыднев, обратившись к теме «Портрет болгарина-славянина в восприятии И. Вазова», на материале произведений болгарского писателя 1870-х—1880-х гг. предпринял попытку реконструировать созданный им национальный портрет болгарина и выделить новые черты национального характера, проявившиеся в то время, когда «наряду с родовым и патриархальным все сильнее начинает проявляться патриотическое сознание». В. В. Николаенко сосредоточил свое внимание на анализе вышедшей в 1918 г. «Книги за болгарите» А. Страшимирова, которая сочетает в себе агитационный памфлет, этнографический очерк и попытку национальной автохарактеристики.

Роль «низовой», народной культуры как выразительницы формирующегося национального самосознания и как особой формы самоописания у так называемых «малых» славянских народов была рассмотрена в докладе А. А. Гугнина, посвященном сравнительному анализу деятельности крупнейших деятелей серболужицкого национального возрождения: Г. Зейлера, Я. А. Смолера и Я. П. Йордана. В выступлении Т. И. Чепелевской «Творчество словенских „буковников“: представления о мире и о себе» на конкретном анализе текстов словенских народных сказителей была предпринята попытка выявления доминант национального характера. При этом отмечалось, что явное тематическое соприкосновение и пересечение двух пластов словенской культуры конца XVIII — первой половины XIX в. (высокой и «низовой») дает исследователю богатый материал для серьезного обобщения многообразных форм самоописания в процессе самопознания.

Тему судьбы культуры «малых» народов и, в частности, новых тенденций в развитии литературы и театра у народов бывшей Югославии в 1990-е гг. затронула в своем выступлении Н. М. Вагапова (Институт искусствознания). Охарактеризовав разнонаправленные тенденции в культурном процессе последних лет, она сосредоточила основное внимание на особенностях развития современной исторической драмы, испытывающей сильное воздействие сиюминутной политической ситуации, а также на творчестве М. Паича, в центре многих произведений которого оказываются вопросы самоидентификации славянских народов в сложные периоды истории.

В докладе профессора В. Ю. Царева (МАДИ) «Самовыражение в пору смут» была предпринята попытка проанализировать события современной российской истории и рассмотреть вопрос о том, как «смутное» время оказывает влияние на душу народа. При этом в центре внимания ученого оказалось явление самозванства (как типичное для «смутных»

периодов истории) с характерным для него изменением личной биографии, сменой ценностей и ориентиров, ведущих к потере самоидентичности, и подчеркнутой тягой к узурпаторству.

Доклад епископа Харьковского и Полтавского о.Игоря (Харьков) «„Религия старожитна“ в системе парадигм барочного самосознания украинца» поднял важную проблему о механизме формирования национального автопортрета, отдельных периодах этого сложного и длительного, по мнению автора, процесса. С учетом ситуации на Украине одним из важнейших его составляющих исследователь определяет бытование мифа о «религии старожитной», который претерпевает различные воздействия на протяжении длительного периода вплоть до настоящего времени. При этом, начиная с XVII в., «верность „религии старожитной“ входит важным ферментом в шляхетский этос, выступая в геральдической и панегирической поэзии одним из важнейших знаков в модели идеального героя», отражается в исторической песенной поэзии, «казацких летописях», как константа самоописания в казачьей субкультуре. В последнее время, подчеркнул автор, процесс реактивации мифа «религии старожитной» (особенно в Галиции) свидетельствует о его сохранении в коде национальной памяти.

В докладе М.В.Соколовой «Некоторые штрихи антропологического портрета украинцев» с учетом материалов научных исследований рубежа XIX–XX вв. и работ по данной проблематике последних лет (как украинских, так и русских ученых) делается попытка, исключив все политические акценты, рассмотреть вопрос о возможности существования нескольких антропологических типов на территории современной Украины уже в древнейший период истории (начиная с неолита). Украинскую тему на материале полемических антикатолических произведений рубежа XVI–XVII вв. продолжила М.В.Лескинен, доклад которой «Образ инока в творчестве украинских полемистов» представил творчество И. Вышенского как интересный источник образа жизни, менталитета и самосознания православного монашества того времени. Воспринимая православного монаха как выразителя истинной праведности, автор полемических сочинений рисует не только идеальный, но и реальный образ, выстраивая его по принципу обратной пропорции, на противопоставлении внутреннего и внешнего.

Конференция показала большой научный интерес к теме реконструкции национальных славянских «автопортретов». Практически всеми участниками дискуссии было поддержано мнение о том, что настоящая встреча определила лишь первоначальные подходы к предложенной проблематике, дальнейшее обсуждение и изучение которой может пойти в разных направлениях. В частности, было поддержано предложение в ближайшее время обсудить тему, связанную с изучением механизма формирования национальных стереотипов, обратиться к исследованию типологии развития «низовой» культуры у славянских народов Австро-Венгрии в XVIII–XIX вв., больше внимания уделить анализу экзистенциальных представлений о жизни и смерти у славянских народов и др.

Тема «Автопортрет славянина» получила финансовую поддержку Российского государственного научного фонда за 1996 г., что позволяет надеяться на издание материалов конференции и проведение новых круглых столов в ближайшее время.

Т. И. Чепелевская

Дни славянской письменности на филологическом факультете МГУ

Кафедра славянской филологии МГУ ежегодно приурочивает одно из своих собраний к национальному празднику — Дню славянской письменности и культуры, отмечаемому 24 мая. В преддверии торжественной даты устраиваются научные чтения. В 1996 г. к филологам-славистам присоединились слависты-историки, что существенно расширило тематический диапазон чтений. На состоявшемся 20 мая совместном заседании кафедры славянской филологии филологического факультета (заведующий доц. В. П. Гудков) и кафедры истории южных и западных славян исторического факультета (заведующий проф. Г. Ф. Матвеев) были представлены четыре доклада.

Чтения начались докладом В. П. Гудкова «Вклад филологов-славистов Московского университета в кирилло-мефодиану». Отметив, что история славянской письменности традиционно является важнейшим компонентом славяноведения, докладчик подчеркнул, что московские ученые, просвещая студентов, одновременно стремились расширить, углубить и уточнить научные знания о жизни и деятельности византийских миссионеров Константина (Кирилла) и Мефодия и судьбе их творений. Среди изданных в прошлом веке фундаментальных трудов особенно выделяются докторская диссертация О. М. Бодянского и его публикации разновременных источников кирилло-мефодианы.

Непреодолимую ценность имеет «Опыт систематической кирилло-мефодиевской библиографии» Г. А. Ильинского (1934), создатель которого известен и оригинальной трактовкой некоторых темных эпизодов истории письма у славян. В наше время патриарх отечественной славянской филологии С. Б. Бернштейн дал оценку современного состояния кирилло-мефодианы в обширном предисловии к составленной И. Е. Можяевой библиографии (1980), а в посвященной памяти Г. А. Ильинского книге «Константин-философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности» (1984) обобщил накопленные наукой сведения о солунских братьях и их деяниях и обрисовал свое видение дискуссионных моментов.

В. П. Гудков завершил выступление суждениями о монографии Г. А. Хабургаева «Первые столетия славянской письменности и культуры» (1994) — книги, еще, к сожалению, не осмысленной специалистами достойным образом. Докладчик выразил уверенность, что труд Г. А. Хабургаева даст

новый позитивный импульс дальнейшему сосредоточенному изучению и обсуждению узловых вопросов истории славянской письменности и старославянского языка.

В докладе П. Е. Лукина (кафедра истории южных и западных славян) «История стран Юго-Восточной Европы (Средние века) в школьных учебниках» был дан критический обзор учебников истории для средней школы, изданных в 1992–1995 гг. Докладчик проанализировал освещение истории стран Юго-Восточной Европы в учебнике Г. М. Донского и Е. В. Агибаловой «История средних веков» (1994), М. Бойцова и Р. М. Шукурова «История средних веков» (1995) и ряде других пособий. Отметив, что в предлагаемой школе новой учебной литературе в целом отражены основные факты средневековой истории славян, докладчик подчеркнул, что в ряде случаев изложение носит весьма поверхностный характер.

Проблемам изучения истории школьниками был посвящен и доклад доцента кафедры истории южных и западных славян Л. И. Жилы «Преподавание новой и новейшей истории стран Юго-Восточной Европы в школе», где было отмечено, что авторы школьных учебников, в частности учебника «Новая история» под ред. Хвостова, ограничиваются описанием исторических событий, недостаточно внимания уделяя содержательному анализу. Л. И. Жила рассказала о результатах опроса, проведенного ею в школе, который показал, что большинство школьников зачастую не могут установить связь между прошлым и настоящим славянских стран, найти исторические корни их нынешних проблем. В докладе было обращено внимание на наличие существенной разницы между школьным и университетским образованием.

Возможность выступить на заседании была предоставлена и студентам. Студент III курса филологического факультета Ф. Людоговский предложил вниманию собравшихся доклад «Московский памятник св. Кириллу и Мефодию глазами студента-слависта». Основное внимание докладчик сосредоточил на подробном анализе надписей, отметив, что, в силу особенностей данного памятника, текст его надписей имеет огромное значение. Попытка стилизации текста под церковнославянский, принятая создателями памятника, по мнению Ф. Людоговского, не может быть признана удачной, так как смешение в тексте различных традиций, наличие случаев гиперкоррекции мешают его восприятию.

По мнению всех участников, совместные научные чтения были интересны и полезны как филологам, так и историкам.

О. А. Ржанникова

25000

Утверждено к печати
Институтом славяноведения и балканистики РАН

СЛАВЯНСКИЙ АЛЬМАНАХ
1996

Foreign customers may order the above titles
by E-mail: root@indrik.msk.ru
or by fax: (095) 290-68-91

ЛР № 070644, выдан 26 октября 1992 г.
Формат 60×90 ¹/₁₆. Гарнитура «Миньон». Печать офсетная.
15,5 п. л. Тираж 500 экз. Заказ № 1594
Отпечатано с оригинал-макета
в Типографии № 2 РАН
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6

Славянский Альманах

Уже много лет в России ежегодно 24 мая отмечается «День славянской письменности и культуры». Начиная с 1991 г. этот день является национальным праздником Российской Федерации. Наряду со многими другими мероприятиями к этой дате приурочено проведение ежегодной научной конференции «Славянский мир: единство и многообразие» и сопутствующих ей «Круглых столов» по актуальным проблемам славяноведения.

В 1996 г. основные мероприятия праздника прошли в Костроме. Там же состоялась и научная конференция, организованная Институтом славяноведения и балканистики Российской Академии Наук, Московской патриархией, Костромским государственным педагогическим университетом имени Н. А. Некрасова. Основные материалы этой конференции, а также «Круглых столов», проведенных в Костроме и в Москве, предлагаются вниманию читателей в настоящей книге».

Альманах открывается разделом, в котором помещены основные доклады, прозвучавшие на пленарном заседании Костромской конференции. Материалы других конференций, симпозиумов и круглых столов, проведенных в дни праздников, помещены в соответствующих тематических разделах.

Тематическое разнообразие и разнохарактерность статей первого номера «Славянского альманаха» отражает широту и многогранность темы «Славянский мир: единство и многообразие», уровень исследования тех или иных ее аспектов, разные задачи (исследовательские и популяризаторские), которые ставили перед собой авторы. Тем не менее, мы надеемся, что сборник будет полезен для дальнейшего изучения славянского мира и представит интерес для широкого круга читателей.

Мы предполагаем, что в дальнейшем «Славянский альманах» превратится в традиционное издание, станет ежегодным и будет способствовать распространению научных знаний о славянских народах и их культуре.